грэм свифт

земля воды



Земля воды

Грэм Свифт

Аннотация
Грэм Свифт. Земля воды
1. О ЗВЕЗДАХ И О ЗАСЛОНКЕ
2. О КОНЦЕ ИСТОРИИ
3. О ФЕНАХ
4. У ДИРЕКТОРА
5. СИНЯК НА СИНЯК
6. ПУСТОЙ СОСУД
7. О ДЫРОЧКАХ И ШТУКАХ
8. О ЖИВОТНОМ-СКАЗИТЕЛЕ
9. О ВОЗВЫШЕНИИ ДОМА АТКИНСОНОВ
10. О ВОПРОСЕ «ПОЧЕМУ»
11. О СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
12. О ПЕРЕМЕНАХ В ЖИЗНИ
13. ЛИЦЕДЕЙСТВО
14. DE LA REVOLUTION
15. ОБ УЗЕ
16. НУЛЕВАЯ ДОЛГОТА
17. О СМОТРИТЕЛЕ ШЛЮЗА
18. IN LOGO PARENTIS
19. О МОЕМ ДЕДЕ

20. ОБЪЯСНЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ
21. AUX ARMES
22. ОБ ЭЛЕ «КОРОНАЦИЯ»
23. QUATORZE JUILLET
24. ДЕТСКАЯ ИГРА
25. ДА НУ ЕЕ, БАСТИЛИЮ
26. ОБ УГРЕ
27. ОБ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
28. И ОБ ИСТОРИИ ИСКУССТВЕННОЙ
29. СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЗУД
30. О СПАСИТЕЛЕ МИРА
31. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ
32. О КРАСАВИЦЕ И О ЧУДОВИЩЕ
33. КТО СКАЗАЛ?
34. СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ
35. НЕВЕДОМАЯ СТРАНА
36. О НИЧТО
37. LE JOUR DE GLOIRE
38. О ВОСТОЧНОМ ВЕТРЕ
39. ГЛУПЫЙ
40. О НОЧНЫХ КОШМАРАХ СОВРЕМЕННОСТИ
41. ВНУТРИ ТАКОЕ ЧУВСТВО
42. О ВЕДЬМЕ
43. ВЫШЕ ГОЛОВУ
44. НАЧАТЬ СНАЧАЛА
45. О ЩУКЕ

46. О ДЕДУШКИНОМ СУНДУКЕ
47. ДОБРОЙ НОЧИ
48. И ADIEU
49. О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИМПЕРИЙ
50. ВСЯ ЭТА ИСТОРИЯ
51. О ФЛЕГМЕ
52. О «РОЗЕ II»

Аннотация

Роман «букеровского» лауреата, сочетает элементы готической семейной саги, детектива, философского размышления о смысле истории и природе. Причем история у Свифта предстает в многообразии ипостасей: «большая» история, которую преподает школьникам герой романа, «малая» местная история Фенленда – «Земли воды», история человеческих отношений, романтических и жестоких. Биография учителя, которому грозит сокращение и «отходная» речь которого составляет внешний уровень романа, на многих уровнях перекликается с двухвековой историей его рода, также полной драматизма и кровавого безумия поистине фолкнеровских масштабов…

Грэм Свифт
Земля воды

1
О ЗВЕЗДАХ И О ЗАСЛОНКЕ

«И не забывай, — говорил мне отец, как если бы ждал в любой момент, что вот сейчас я встану и пойду искать по свету счастья, — что бы ни пришлось тебе узнать о людях, какими бы дурными они ни оказались на поверку, у каждого из них есть сердце и каждый был когда-то крошечным младенцем и сосал материнскую грудь...»

Слова из волшебной сказки, и совет из волшебной сказки. Но мы и жили в сказочных местах. В доме сторожа при шлюзе, у реки, в самой середине Фенов. Вдали от большого мира. И отец, а он был человек суеверный, во всякую вещь, во всякое дело любил привносить привкус тайны.

И волшебства. Даже верши на угрей он всегда ставил ночью. Не потому, что их нельзя ставить днем, а потому, что ночная темнота отзывалась в нем, в темноте была тайна. И как-то ночью, в тридцать седьмом, в середине лета, мы пошли с ним, Дик и я, ставить верши к Стоттову мосту. Ночь была безветренной и душной. Покончив с вершами, мы легли на берегу. Дику было че-

тырнадцать, мне десять. Мерно перестукивали помпы, как обычно, без остановки, так что ты едва их замечаешь, по всей округе, по всем Фенам, и в канавах квакали лягушки. Небо наверху кишело звездами, и звезд как будто становилось больше, когда ты на них смотрел. И пока мы там лежали, отец сказал: «Знаете, что такое звезды? Серебряная пыль благословения Божьего. Маленькие, стертые в порошок крошки неба. Господь их бросил вниз, чтобы они на нас упали. А потом и увидал, какие мы дурные, и передумал, и велел звездам остановиться. Вот потому-то они и висят себе на небе, и вид у них такой, как будто вот-вот упадут, вот-вот…»

Потому как у отца, кроме того, что он был человек суеверный, был еще и талант рассказывать истории. Придуманные и правдивые; чтобы успокоить и чтобы упредить; истории с моралью и истории вообще безо всякого смысла; истории правдоподобные и неправдоподобные; и еще такие, которые вообще никакому определению не поддавались. У них в семье все были рассказчики. Хотя — ведь и у мамы был точно такой же дар, и очень может быть, что от нее-то он его и перенял. Потому что, когда я был маленький, истории мне рассказывала мама, на сон грядущий. Вот только

она их и сама выдумывала, и вычитывала из книг, отец же выдумывал все до одной.

А с тех пор как мама умерла, то есть за шесть месяцев до звезд и вершей, пунктик у отца насчет темноты, все это его полуночничество, как раз вошло в полную силу. Как будто он прокручивал, из ночи в ночь, какую-то историю, которую хотел и никак не мог рассказать. И время от времени я видел, как он бродит при свете луны по грядкам с овощами, или беседует со спящими на насесте курами, или ходит туда-сюда по-над затвором шлюза, с блуждающим угольком сигареты вместо топового фонаря.

Наш дом был — дом смотрителя при шлюзе, на речке Лим, которая берет свое начало в Норфолке и впадает в Большую Узу. И нет нужды объяснять, что земля в этой части света плоская. Настолько плоская, настолько монотонная и лишенная всяческого даже намека на рельеф, что, можно сказать, одной только этой монотонности достанет, чтобы лишить человека покоя и чтобы в голову ему по ночам вместо сна лезли всякие мысли. От забранных в дамбы, а потому приподнятых над нею берегов Лима она тянулась вплоть до горизонта и разнообразила главный свой цвет, торфяно-черный, исключительно за счет сельско-

хозяйственных культур — серо-зеленые листья картофеля, зелено-голубые листья свеклы, желто-зеленая пшеница; ее униформная плоскостность была рассечена одними лишь глубокими, прямыми как стрела морщинами каналов и дренажных канав, которые, в зависимости от погоды и от угла падения солнечных лучей, бежали сквозь поля подобно сети то серебряных, то медных, а то и золотых тонких проволочек и которые, стоило вам только встать и приглядеться, неизбежно погружали вас в пучину бесплодных размышлений о законах перспективы.

И все же эта самая земля, такая расчисленная, такая распростертая, такая приведенная к порядку и возделанная человеком, в моей не то пяти, не то шестилетней душе преображалась в зачарованную пустошь. По вечерам, когда маме приходилось рассказывать мне на ночь истории, мне казалось, что мы в смотрительском нашем доме затерялись в самой середине великого Нигде; а клекот поездов, бежавших где-то вдалеке по рельсам в Кингз Линн, в Гилдси или в Или, становился хриплым лаем чудища, которое, вынюхивая нас, рыщет в черной ночной пустоте.

Сказочная страна, если уж на то пошло.

Отец был смотрителем шлюза на речке Лим, в

двух милях от места, где Лим впадает в Узу. Но поскольку работа на шлюзе была нерегулярной, а жалованье у него, если, конечно, не считать бесплатного жилья, — более чем скромным и еще потому, что, так или иначе, но к тридцатым годам речные перевозки на Лиме сошли почти на нет, отец помимо основной своей работы выращивал овощи, разводил кур и ловил угрей. И оставлял эти свои побочные занятия разве что во времена обильных ливней или, скажем, если выпадет и тут же растает сильный снег. Тогда ему приходилось отслеживать и регулировать уровень воды. И поднимать заслонку, дыбившуюся в дальнем рукаве подобием гигантской гильотины.

Потому что река у нашего дома делилась на два коротких рукава: на ближнем навигационный шлюз, на дальнем заслонка, а посредине мощный, выложенный по кромке кирпичом мол, целый остров, где стояла будка, а в будке был подъемник. И заранее, задолго до того, как река успевала набухнуть, и даже до того, как вода меняла цвет и начинала отдавать молочно-бурым тоном норфолкских меловых холмов, откуда она и текла, отец уже знал, когда ему нужно будет пройти над шлюзовым затвором к будке и — сквозь скрежет металла и мощную пульсацию

воды — поднять заслонку.

В обычное же время заслонка была опущена едва ли не до самого речного дна, в обычное время ее негнущееся лезвие сдерживало воды вялотекущего Лима, делая реку судоходной. Тогда вода в затоне, в дальнем рукаве, совсем как в шлюзе, стояла спокойная и гладкая и издавала характерный запах мест, где сходятся свежая речная вода и простейшие формы человеческого существования, запах, которым веет над Фенами из края в край. Свежий, илистый, но и въедливый до крайности, до ностальгии запах. Запах, где от человека и от рыбы пополам. В такие времена у отца была масса свободного времени — на овощи и на верши — и работы у заслонки было не так уж и много, разве только воевать со ржавчиной, смазывать зубчатые колеса подъемника и выбирать из воды плавучий всякий хлам.

Потому что, в половодье или в самую сухую сушь, Лим тихо влек с собой свою добычу, разнокалиберную, разношерстную, и не видать ей ни конца ни края. Ивовые ветви; ветки ольхи; камыш; дреколье; планки; старую одежду; дохлых овец; бутылки; мешки из-под картошки; тюки соломы; ящики из-под фруктов; и еще другие мешки, от удобрений. И это все, плывущее по

течению с востока и прибитое к дамбе, приходилось выбирать из воды — багром и граблями.

И таким же точно образом, однажды ночью в середине лета, когда рассыпанная щедрою рукой и застывшая на полпути пыльца благословения божьего сияла в поднебесье — впрочем, с тех пор, как отец рассказал нам о звездах, прошло уже несколько лет, и он уже года два или три как начал говорить о человеческих сердцах и материнском молоке — а перестук насосов потонул, ближе к вечеру, в слитном реве заходящих на посадку бомбардировщиков — стоял, для большей точности, июль сорок третьего года — нечто, принесенное течением сверху, ударилось о металлическое лезвие заслонки, а потом, по прихоти водоворотов и вихревых подводных токов, продолжало биться и скрестись об него до утра. Нечто необычное и доселе невиданное, от чего не отделаться, как от ветки, от мешка или даже от дохлой овцы. Потому как это нечто было мертвым телом. А тело вчера еще принадлежало Фредди Парру, который жил всего лишь в миле выше по течению и был мой ровесник, плюс-минус месяц.

2
О КОНЦЕ ИСТОРИИ

Дети. Дети, которые наследуют мир. Дети (потому что всегда, сколько бы вам, кандидатам на утешительное звание «молодых людей», ни было лет — пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, я про себя называл вас только «дети») — дети, перед кем я тридцать два года стоял, раскрывая тайны прошлого, и перед кем мне больше не стоять, послушайте в последний раз вашего учителя истории.

Прежде всего, вы обязаны понять, что я ухожу от вас не по собственной воле. Вы обязаны понять, сколь бездарен, сколь безжалостен в поверхностной беглости своей был этот оборот, «по личным обстоятельствам», оборот, который наш премногоуважаемый директор Льюис Скотт употребил на утреннем общем собрании. И вы обязаны понять, насколько неуместны и несвоевременны были принятые этим самым Льюисом во имя так называемой оптимизации учебного процесса меры и как все это било мимо цели. («Ты не подумай, что мне это нравится, Том, но

нам приходится на чем-то экономить. Вот мы и экономим на истории. Ты ведь можешь раньше срока выйти на пенсию…»)

Вы обязаны понять, вы же сами свидетели: старый Крики, ваш учитель истории, в каком-то смысле давно уже перестал учить вас истории, и по своей, заметьте, воле. В самой середине монолога о том, как парижская резня ознаменовала собой рождение Современности, он оборвал себя на полуфразе и начал вам рассказывать — эти вот самые истории. О том, как жили у реки, и об отце, который ставил верши, и о мертвом теле, найденном в реке годы и годы тому назад. И тут на вас снизошло озарение: да ведь никак наш Крики пытается вписать себя в историю; ваш старый Крики пытался дать вам понять, что он сам — всего лишь часть того, чему он вас учил. Иначе говоря, он сдвинулся, он повредился головой…

Или, как предпочел бы выразиться Льюис: «Наверное, тебе стоило бы отдохнуть. Возьмешь академ. А, как насчет академического отпуска? Неплохая возможность поработать над этой твоей книгой — как бишь ее? — *История Фенов* ?»

Но я предложения не принял. Потому что, когда это случилось, вы слушали, о, как вы слушали этот мой новоявленный курс истории. Вы

внимали этим бредням, байкам старого Крики (взаправдашним? или он все это выдумал?) с таким интересом, какого престранным, ни-в-сказке-сказать-ни-пером-описать чудесам времен Французской революции не дождаться вовек.

И все же до определенной точки, до события даже более вывихнутого, чем новый стиль преподавания вашего учителя истории, до события, в котором основную роль сыграла его жена, миссис Крик, и из которого — с неизбежной иронией насчет профессии мужа — местная пресса, сами знаете, раздула невесть что, моя отставка не была еще, не стала, наконец, такой уж абсолютной необходимостью.

Жена учителя созналась в похищении ребенка. Мотив: «Я сделала это по велению Божьему».

Дети, ведь это именно один из вас, кудрявый парень с фамилией Прайс, имеющий обыкновение (противу всяких правил, но я закрываю глаза) накладывать себе на скулы слой тускло-белого грима, отчего вид у него делается совершенно мертвецкий, прервал однажды ход Французской революции и, огласив обычный ученический протест, которого всякий учитель истории ждет с урока на урок (какова цель, польза, смысл и т.

д. Истории), заявил, просто и прямо, что история есть просто «сказка».

(Доставала. Провокатор. Бузотер. В каждом классе непременно есть такой. Впрочем, этот — особенный…)

«Смысл имеет только то, — продолжил он свою мысль, еще не зная, персонажами какой такой сказки окажутся вскоре его учитель истории и жена учителя истории, — что существует здесь и сейчас. Не прошлое. То, что здесь и сейчас, — и, конечно, то, что будет». *(Те же чувства, Прайс, — только ты этого не понимаешь, — что в 1789-м.)* А затем — коснувшись вкратце двух-трех главных тем дня (афганский кризис, заложники в Тегеране, опасная и, судя по всему, неудержимая гонка ядерных вооружений) и давши вам, своим одноклассникам, повод для внезапного и пугающего выплеска общих ваших ночных кошмаров — он провозгласил, и губа у него дрожала не только оттого, что он старался тщательно артикулировать заранее *(ведь правда же, Прайс?)* обдуманные слова: «Единственное, что по-настоящему имеет смысл…»

«Да, Прайс, — единственное, что по-настоящему имеет смысл?..»

«Единственное, что по-настоящему имеет

смысл в Этой вашей истории, сэр, — простите, это мое личное мнение, — что она дошла до точки, после которой, может так случиться, никакой истории больше не будет».

Итак, мы закрыли учебники. Отложили в сторону Французскую революцию. Мы сказали «прости» старой заезженной сказке со всеми положенными по сюжету Правами Человека, фригийскими колпаками, кокардами, триколорами, не говоря уже о свистящем шепотке гильотин и об этой странной причуде, представлении о том, что она осчастливила мир неким Новым Началом.

И я начал, ощутивши, как по юному, но уж никак не беззаботному классу пробежал заразный сквознячок страха: «Давным-давно жили-были…»

Дети, которые наследуют мир. Дети, которым от начала веков рассказывали и рассказывают истории, по большей части на ночь, хотя и не обязательно, чтоб остудить горячие головы; чья потребность в историях сравнима разве что с потребностью взрослых иметь детей, чтоб было кому рассказывать истории, с потребностью в слушателях для каждого конкретного собрания сказок, во внимающих ушах, в которые можно

было бы лить, одну за другой, самые невероятные и самые притом любимые из всех волшебных сказок, истории их собственных жизней; дети — они хотят нас разлучить. Льюис проследит за этим. Простите, что-то я расчувствовался. Нет, протестовать не нужно, я этого не хочу. (Верните нам нашего Крики и весь его любимый нами треп.) Вы ведь все равно не поймете, что за тридцать два года все вы стали для меня единым целым и что теперь я познал муки матери, у которой украли ребенка. … Но послушайте, послушайте меня. Ваш учитель истории хочет рассказать вам полную и окончательную версию…

А раз уж сказка, по законам жанра, начинается с зачина, каковые во всех лучших сказках должны быть разом весьма достоверны и совершенно нереальны, позвольте рассказать вам

3
О ФЕНАХ

Каковые суть низинная область на востоке Англии площадью более 1200 квадратных миль; с запада их замыкают мидлендские известняковые холмы, с юга и востока — меловые холмы графств Кембриджшир, Саффолк и Норфолк. С севера Фены выходят фронтом шириною в двадцать пять миль к Северному морю, в заливе Уош. Или, вернее сказать, это Уош, призвав на помощь силы Северного моря, из года в год пытается отвоевать бывшую свою территорию. Ибо первое и главное, что нужно знать о Фенах, — что это земля осушенная, земля, которая когда-то была водой и которая до сих пор не вполне затвердела.

Когда-то мелкие норовистые воды Уоша не кончались подле Бостона и Кингз Линна, но уходили дальше на юг, до самого Кембриджа, Хантингдона, Питерборо и Бедфорда. Что заставило их отступить? Ответить можно одним слогом: ил. Фены родились из ила. Ил: в медленном этом звуке есть что-то ненадежное, двусмысленное, зыбкое. Ил: он формирует и подтачивает конти-

ненты; он разрушает, возводя; он разом и наносы, и эрозия; он ни прогресс, ни упадок.

Сперва его намыли с йоркширского и линкольнширского прибрежья береговые течения, шедшие на юг, в тогдашний, древний Уош. В черно-синей глине, которая составляет подоснову кембриджширских почв, есть илистые отложения, а в тех, в свою очередь, следы ракушек, характерных для песчаных пляжей и береговых скал северо-восточной Англии. Но к этим, первым, морским пластам добавились пласты земные, намытые реками Уза, Кем и Уэлланд, которые впадали, да и сейчас впадают, в усыхающий век от века Уош.

Ил скапливался, на нем пускали корни растения, обычные для соленых болот, потом другие растения. А с приходом растений начал образовываться торф. А торф есть вторая составляющая Фенов и источник замечательного их плодородия. Когда-то он питал обширные леса, которые исчезли, ушли на дно моря, когда переменился климат и вода опять затопила всю здешнюю низменность. Сегодня он — основа жирной, черной, благодатной для картофеля и свеклы местной почвы, и другой такой почвы нет во всей стране. Но без ила не было бы торфа.

А было это все давным-давно, и просто давно, и даже совсем недавно. В 870-м флотилии викингов легко дошли под парусами до самого Или, и в округе в основном была вода. Двумя веками позже Хереворд [1], накрепко засевший все в том же самом Или, наблюдал, как осаждавшие его норманны барахтаются и идут себе с богом ко дну в коварных торфяных болотах. Ландшафт был все еще в значительной мере жидкий.

И — примите во внимание, ил, он и нашим, и вашим. Намывая сушу, оттесняя море вспять и давая вызреть торфу, он в то же время замедляет ток рек, снижает сброс воды, создает на вновь намытых землях постоянную угрозу затопления и мешает разлившейся воде уйти обратно в русла рек и в море. Из века в век Фены были — густая сеть болот и соленых лиманов. И главною проблемой здесь всегда была проблема дренажа.

Что начал ил, продолжил человек. Осушение. Дренаж. Но вам не осушить земли за ночь. Вам не осушить земли без трудностей, без постоянного упорного труда и неусыпного за ней надзора. Фены осушают до сих пор. Строго говоря, их так

---

[1] Примечания: 1

Легендарный англосаксонский разбойник, возглавивший в Восточной Англии восстание соплеменников против норманнских завоевателей. Окончательно разбит норманнами после осады Или.

и не осушили, их только осушают. Без насосов, без дренажных канав и без дамб, без специальных долгосрочных программ… И вам не нужно объяснять местным жителям, чем могут для них обернуться обильные ливни где-нибудь в центральных графствах или, скажем, весеннее половодье в сочетании с сильным северо-восточным ветром.

Так что забудьте вы о революциях, о поворотных точках и о великих метаморфозах истории. Займитесь лучше медленным, упорно-поступательным процессом; бесконечным и расплывчатым процессом, где ил и человек вживаются друг в друга, — процессом рекламации земель.

А хорошо ли это, зададим себе главный вопрос, когда осушаются земли? Никоим образом — для тех, кто живет у воды и водой; для тех, кому не нужна под ногами твердая почва. Для рыбаков, для охотников на болотную дичь, для резателей камыша, что строили свои насквозь просыревшие лачуги в самой болотной глуши, в разлив ходили на ходулях и жили ни дать ни взять как водяные крысы. Для тех людей, что еще в Средние века подкапывали дамбы и — если попадались — находили свой последний приют, зарытые живьем в ими же проделанных брешах.

Для тех людей, что резали глотки голландским землеустроителям его величества короля Карла, а тела бросали плавать в той самой воде, которую выписанные из-за границы специалисты были призваны изгнать.

Речь идет о моих предках; о праотцах моего отца. Потому что мою фамилию Крик, которая при Карле писалась иногда Корике или Крике, можно обнаружить (посидев денек-другой в местных архивах) в списках приговоренных за саботаж дренажных работ. Мои предки были водными людьми. Они ставили силки на уток и били рыбу острогой. Когда я был маленький, у меня перед глазами был живой образчик этих моих предков в лице Билла Клея, сморщенного, обтянутого дубленой кожей ходячего скелета, чей возраст был не известен ровным счетом никому, хотя на вид ему, сколько я себя помню, давали за восемьдесят, который был когда-то охотником и резал торф и на чьей памяти в наших краях постепенно сошли на нет, если не считать жалких ненароком забытых клочков, прежние дикие Фены; от которого за милю несло, даже в те времена, когда его привычные способы зарабатывать свой хлеб насущный канули в Лету, гусиным жиром и рыбьей слизью, илом и торфяным дымом; который

носил шапку из меха выдры и гетры из угревой кожи и в чьей голове постоянно царил кавардак от чая из маковых коробочек, который он пил постоянно, а в особенности зимой, когда ему не давали покоя приступы болотной лихорадки. Старый Билл обитал вдвоем со своей женой по имени Марта в сырой, с растрескавшимися стенами хибаре невдалеке от Узы, на самом краю заросшей камышом, усыхающей понемногу мокрой пустоши, которую до сих пор в память о расстилавшемся здесь когда-то огромном болоте называли Уошфенской топью. А некоторые говорили, что Марта Клей, которая была лет на двадцать моложе Билла, вовсе и не была никогда за ним замужем. А некоторые говорили, что Марта Клей была ведьма…

Но давайте обойдемся без сказок.

Пришли голландцы под руководством инженера Корнелиуса Вермуйдена, нанятые сперва королем Карлом, а затем его светлостью лордом Фрэнсисом, графом Бедфордом. И вот они вырыли реку и назвали ее в честь нанимателя своего — река Бедфорд, а потом еще и реку Новый Бедфорд вдоль первой, чтобы отвести основной ток Узы из старого, капризного и вяло-покатого русла в районе Или в прямой канал до самого

моря. Они построили Денверский шлюз у северного сочленения новой реки со старой Узой, а у южного сочленения шлюз Эрмитаж. Они рыли параллельные каналы, дренажи, отводы, стоки, отстойники и канавы и превратили 95000 акров земли в летние — зимой все было несколько сложнее — пастбища. Практичный и дальновидный они народ, голландцы. А предки моего отца им всячески мешали; за что двое из них и попали на виселицу.

Вермуйден уехал (он мог бы стать богатым человеком, но Голландские войны избавили его от заработанных в Англии денег) в 1655 году. И природа тут же принялась саботировать, подрывать его славное дело, и получалось это у нее куда эффективнее, нежели у людей. Потому что ил не только строит берег, он закупоривает русла; и разрушает, созидая. Вермуйден не учел, что, прорывая новые русла, он никак не ускоряет, а, напротив, замедляет течение; поскольку разделенная на рукава река в каждое русло направляет меньший объем воды, а чем меньше в реке воды, тем меньше скорость ее течения и, следовательно, способность к самоочищению. Славные речные рукава графа Бедфорда забились постепенно грязью. Ил скопился в устьях, где

течению реки трудно было тягаться с морскими приливами, и застаивался в шлюзах.

И еще одного обстоятельства не учел Вермуйден. Что осушенная земля проседает — как все на свете проседает, съеживается, если из него выжать воду. А торф, который впитывает воду как губка, съеживается пуще прочего, когда высыхает. Фены проседают. Проседают — и опускаются все ниже. Земля, которая во времена Вермуйдена лежала выше уровня моря, теперь лежит ниже. Не на один десяток футов. Стоит ли говорить, насколько это может быть опасно. Постоянная угроза наводнений; уменьшение угла речного русла; давление на растущие по берегам дамбы; более быстрый сход воды из внутренних районов во все углубляющийся низинный бассейн. Все это плюс ил.

В 1690-х река Бедфорд пробила в береговой дамбе шестидесятифутовую брешь. В 1713-м вышел из строя Денверский шлюз, и с нижней его стороны, как выяснилось, набилось столько ила, что вода из реки Бедфорд пошла вспять, вверх по течению, по старой Узе вплоть до Или, вместо того чтобы уйти себе в море. Крестьяне до своих кроватей добирались вброд.

И примерно в это самое время, как ни стран-

но, мои предки по отцовской линии встали по большей части на сторону осушителей и землеустроителей.

Возможно, у них просто не было выбора. Возможно, другого способа зарабатывать себе на жизнь для них попросту не существовало. А может быть, по чистой доброте душевной, им стало жалко загубленных посевов и залитых водой домов. В 1748 году в ведомости выплат за работы по восстановлению Денверского шлюза значатся имена братьев Джеймса и Сэмьюела Крике. И в приходских анналах родового гнездилища Криков, которое располагалось в ту пору чуть севернее маленького городка под названием Гилдси и к востоку от реки Новый Бедфорд, имя Крик на протяжении полутора сотен лет встречается в одном и том же навязчивом контексте. «Джон Крик: за починку западного берега…»; «Питер Крик: за очистку дрены Джекуотер и за то, что прорыл новую Среднюю дрену…»; «Джейкоб Крик, для работы на ветряках в Стамп-Корнере и поддержания оных ветряков в рабочем состоянии…»

Они перестали быть водными людьми и сделались людьми сухопутными; они перестали ловить рыбу и охотиться на болотную дичь и

превратились в сельских водопроводчиков. Они разделили общую судьбу Фенов и стали воевать не за воду, а против нее. Полтора века они копали и осушали землю и откачивали воду между рекой Бедфорд и Большой Узой, в тяжелых своих с постоянно налипшими комьями глины башмаках, даже и понятия не имея о том, как их стараниями мало-помалу меняется карта Англии.

А может, они и не перестали быть водными людьми. А сделались людьми земноводными. Потому что, если уж ты осушаешь землю, тебе придется свести самое близкое знакомство с водой; ты должен будешь знать ее привычки. Возможно, в глубине души они всегда подозревали, что, невзирая на все свои землеустроительные будни, принадлежат всецело древнему, доисторическому ходу вод. Вот и отец, тот самый, что держал на Лиме шлюз, так и ловил себе угрей и стоял по ночам, облокотившись на перила над шлюзовым затвором, и молча глядел в воду — не зря же говорят, что, мол, вода и мысли утекают вместе. А еще мой отец, а он ведь был человек суеверный, всегда считал, что Билл Клей, болотный житель, у которого мозги набекрень, на самом-то деле, если покопаться как следует, был чем-то вроде Волхва. Вот так, с большой буквы.

Когда работаешь с водой, воду нужно знать и уважать. Когда работаешь над тем, чтобы ее подчинить, нужно помнить, что в один прекрасный день она может вскинуться и все твои труды пойдут прахом. Ибо что есть вода, которая все на свете пытается свести на общий уровень, у которой нет ни собственного вкуса, ни цвета, как не жидкая форма великого Ничто? А что есть Фены, которые в плоскостности своей так старательно подлаживаются под общую политику воды, как не ландшафт, который среди всех ландшафтов более всего приблизился к Ничто? Каждый житель Фенов смутно об этом догадывается; каждому жителю Фенов приходит время от времени чувство, что земли, по которой он сейчас идет, *на самом-то деле* и нет, что она плывет под ногами… И каждый здешний ребенок, когда ему дают читать книжки с картинками, а в книжках солнышко выходит из-за гор и дорога жизни вьется меж зелеными подушками холмов, или учат его детским стишкам, где непременно кто-нибудь идет под горку или, наоборот, на нее взбирается, обязательно спросит у взрослых: а почему Фены плоские?

На что отец мне ответил, и лицо его на минуту сделалось тревожным и задумчивым, а губы

сложились буквой «О»: «Почему Фены плоские? А чтобы Богу лучше было видно…»

Когда земля опускается ниже уровня воды, приходится воду откачивать. Другого способа нет: вода не привыкла течь вверх. Насосы впервые появились в Фенах в восемнадцатом веке, в виде ветряков с большими черными крыльями, коих больше семи сотен когда-то скрипело, колготело и постукивало на ветру между Линкольном и Кембриджем. И дальний мой предок, Джейкоб Крик, обихаживал в Стамп-Корнере две такие мельницы. Когда солдаты в красных мундирах штурмовали Квебек, а жители Новой Англии подняли восстание против своих британских хозяев (дав тем самым образец для подражания недовольным гражданам Парижа), Джейкоб Крик подставлял ветру щеку и ухо, чтобы точней определить его направление и его силу. Он наваливался всей массой тела на опоры мельничных крыльев, он толкал руками, выставляя паруса своих близняшек-ветряков под правильным углом. Он проверял колеса и ковши на колесах. Но если ветра не было вовсе, или, скажем, он дул в одну и ту же сторону, так что переставлять паруса на крыльях не было необходимости, он отправлялся добывать угрей (поскольку в глубине души

все равно оставался человеком водным), причем не только плетеными вершами, но и длинной, с множеством зубьев острогой, которая называлась глейвом; а еще он резал камыш и ставил силки.

Джейкоб Крик работал на ветряках в Стамп-Корнере с 1748-го по 1789-й. Он никогда не был женат. За все эти годы он, наверное, ни разу не отошел от своих требующих постоянной заботы и внимания ветряков дальше, чем на пару миль. С Джейкобом Криком приходит еще одна характерная особенность моей родни по отцовской линии. Они люди оседлые. Они надели себе на ноги невидимые путы, а на путы наложили зарок неусыпного бдения. Величайшее в истории переселение Криков — до того, как я, современный Крик, переселился в Лондон — была миграция с земель западнее на земли восточное Узы — на расстояние около шести миль.

Итак, Джейкоб Крик, мельник и отшельник-любитель, за всю свою жизнь даже и носа не высунул в огромный внешний мир. Хотя кое-кто мог бы, наверное, сказать, что небо над Фенами и без того не маленькое. Он так никогда и не узнал, что там случилось в Квебеке и в Бостоне. Он вглядывается в горизонт, он нюхает ветер, он окидывает глазом плоскую окрестность. У него

есть время посидеть и подумать, взлелеять в себе склонность к самоубийству или спокойную тихую мудрость. В нем восходит и дает семена добродетель, если она, конечно, таковой является, которой у Криков всегда будет хоть отбавляй: флегма. Вязкое, илистое состояние души.

А в эпохальное и весьма далекое от флегматичности лето 1789-е от Рождества Христова, всемирно-историческое значение которого вам, дети, хорошо известно, хотя Джейкоб Крик ничего об этом так и не узнал, Джейкоб Крик умер.

Умер бездетным бобылем. Но Крики не перевелись. В 1820-м десятником в команду, назначенную рыть южную часть канала Бринк, нового глубокого канала, который призван отвести воды из низовьев Узы по кратчайшему пути на Кингз Линн, назначен внучатый племянник Джейкоба Крика — Уильям. Ибо они тогда еще не оставили надежды выпрямить скользкую, верткую, на угря похожую Узу. В 1822-м Френсис Крик, который также вполне мог приходиться Джейкобу внучатым племянником, получил под начало новый паровой насос на Стоттовой дрене, неподалеку от деревни Хоквелл. Потому что ветряные насосы уже устарели. У ветряка есть большой недостаток. Его нельзя использовать ни в штиль, ни в шторм;

а паровичок знай пыхтит в любую погоду.

Итак, сила пара заменяет в Фенах силу ветра, и Крики, можно сказать, привыкают к технике. К технике и к честолюбию. Потому что в этой тихой когда-то заводи, в этой сточной канаве всей Восточной Англии появляется вдруг возможность сделать себе имя. Не только Смитоны, Телфорды, Ренни и многие другие известные инженеры, которые обнаружили, что проблема дренажа сулит необычайно широкие перспективы полету инженерной мысли, но и сонмище деляг и спекулянтов, тут же принявших во внимание богатую темную почву на осушенных землях, уже увидели резон вкладывать в рекламацию земель мозги и деньги.

Фамилия одного из них пишется Аткинсон. И он не феномен. Он преуспевающий норфолкский фермер и производитель солода с тех самых холмов, на которых берет свое начало и откуда течет потом на запад, в Узу, Лим. Но в 1780-х, в силу причин, связанных как с собственной выгодой, так и с заботой о благе окружающих, он вынашивает планы открыть навигацию на реке Лим, чтобы наладить транспортное сообщение между Норфолком и растущими рынками сбыта собственной продукции в Фенах. Покуда

Джейкоб Крик бьет острогою последних в своей жизни угрей и прислушивается уже не столько к скрипу мельничных крыльев, сколько к скрипу собственных стареющих костей, Томас Аткинсон скупает потихоньку по бросовым ценам акр за акром топь и торфяные болота по обоим берегам Лима. Он нанимает геодезистов, он нанимает специалистов по осушению и по углублению русла рек. Знающий и дальновидный человек, темперамента скорее сангвинического, настоянного на горячей артериальной крови, нежели на флегме, лимфе, он дает работу и дает будущее целому региону.

И Крики идут работать к Аткинсону. Они совершают великое свое переселение на другой берег Узы, оставив в арьергарде на посту одинокого Джейкоба; и один побег семейного ствола идет на север, рыть канал О'Бринк, а другой идет на юг, где агенты Томаса Аткинсона нанимают рабочую силу.

Вот так и вышло, дети, что мои предки поселились на берегах реки Лим. И покуда великий котел революций шипел и пенился в Париже, чтобы вам в один прекрасный день было о чем поговорить на уроке, они, как всегда, работали на драгах, насосах и на строительстве дамб. Вот так,

когда во Франции народ сотрясал основы, возвращалась из небытия та самая земля, что будет вскорости давать по пятнадцать тонн картофеля и по девятнадцать мешков зерна с каждого акра и на которой появится однажды на свет ваш учитель истории.

Именно Аткинсон и приставил Френсиса Крика к новому паровому насосу на Стоттовой дрене. Когда я был маленьким, насос все еще работал, хотя двигатель был уже другой, не паровой, а дизельный, и обслуживал его не Крик, а Харри Булмен, на жаловании у Товарищества по дренажу бассейна Большой Узы, — и добавлял пульсирующий свой перестук к множеству других таких же в ту самую ночь, когда я узнал, что такое на самом деле звезды. Именно Аткинсон выстроил в 1815 году шлюз и заслонку в двух милях от места впадения Лима в Узу и окрестил его — шлюз Аткинсон. И был еще другой Аткинсон, Томасу доводившийся внуком, который в 1874-м, после того как мощное наводнение разрушило и шлюз, и заслонку, и домик смотрителя, отстроил шлюз заново и назвал его Нью-Аткинсон. Смотрителем тогда был не Крик — но Крик еще смотрителем станет.

Но почему же, спросите вы меня, Крики не

пошли выше? Почему они довольствовались в лучшем случае местом оператора насосной станции или смотрителя при шлюзе, скромные слуги своих господ? Почему они ни разу не произвели на свет известного инженера или не занялись, скажем, фермерством на той самой богатой земле, которая возникла не без их участия?

Может быть, из-за старой водянистой флегмы, которая охлаждала их души и вселяла в них вялость, несмотря на изрядное количество оной влаги, которую они на рабочий манер сплевывали на лопаты и на поршни насосов. Из-за того что они, в глинистых и в илистых своих трудах, не забывали о том болоте, из которого вышли; из-за того что, как ты с ней ни борись, вода все равно вернется; что земля проседает; ил накапливается; что природа всегда не прочь потребовать свое обратно.

Реализм; фатализм; флегма. Жить в Фенах — значит получать реальность в сильных дозах. Великая плоская монотонность; бескрайняя пустота реальности. Меланхолией и самоубийствами в Фенах никого не удивишь. Запои, сумасшествие и внезапные вспышки жестокости здесь не то чтобы редкость. Как же совладать с реальностью, а, дети? Как же добывают, в плос-

кой-то стране, бодрящий напиток приподнятых чувств? Если вы Аткинсон, это не так трудно. Если вы сделали состояние на продаже элитных сортов ячменя, если вы в состоянии выглянуть со своих норфолкских холмов и увидеть в плоских этих Фенах — в этой территории-ничто — Идею, чертежную доску для ваших планов, вы в состоянии перехитрить реальность. Но если вы родились посреди этой плоскости, прикованные к ней, приклеенные к ней хотя бы даже грязью, которой здесь не занимать?..

Как же Крикам удавалось обхитрить реальность? Рассказывая сказки. До самого последнего колена в них жила не только флегма, но и склонность к суевериям — и к легковерью. Истории были им вместо материнского молока. И покуда Аткинсоны двигали историю, Крики травили байки.

И я поражаюсь — хотя, чему тут, собственно, поражаться, ничего удивительного нет, чистая логика, с какой готовностью пустые и голые Фены провоцируют всяческие фантазии — и веру в сверхъестественное. Как густо деревни по обе стороны Лима населены призраками и легендами, которые переходят из уст в уста — за чистую правду. Поющие Лебеди с Уошфенской топи; Монах из

Садчерча; Безголовый Паромщик из Стейта — не говоря уже о Пивоваровой Дочке из Гилдси. Как в далеком прошлом Фены влекли к себе фанатиков и духовидцев: вроде св. Гуннхильды, нашей местной святой, которая в 695 году, или около того, сплела себе на кочке посреди болота камышовую хижину и, не поддаваясь ни на уговоры, ни на прямые попытки насилия со стороны болотных демонов и поддерживая плоть исключительно силой молитвы, дождалась-таки гласа Божьего, основала церковь и дала свое имя (Гуннхильдсей — Гилдси: Гуннхильдин Остров) городу. Как даже в просвещенном и прагматическом двадцатом веке вот этот самый будущий школьный учитель трясся у себя в постели от страха перед чем-то — чем-то пустым и огромным, и приходилось всякий раз рассказывать ему на ночь истории, а потом еще и еще, совсем другие, чтобы заглушить разгулявшееся воображение. Как истово он соблюдал, поскольку прочие их соблюдали тоже, целый свод неписаных, но очень важных правил. Увидел молодой месяц, переверни в кармане денежку; не соли чужой еды, не будешь расхлебывать чужого горя; никогда не ставь башмаки на стол и не стриги ногтей по воскресеньям. Угревая кожа помогает от ревматизма; жареная мышь

— от коклюша; если женщине на лоно упадет живая рыба, быть ей бесплодной.

Сказочная страна.

И Крики, при всем изобилии в них тусклой и вялой флегмы, верили в сказки. Они видели болотных духов; они видели блуждающие огоньки. Мой собственный отец видел — в 1922 году. А когда до Криков начали доходить отголоски большого мира, когда до них стали доходить новости, хотя не то чтобы они особо этих новостей ждали, — что восстали Колонии, что при Ватерлоо была битва, а потом был Крым, они и слушали, и пересказывали их потом с широко раскрытыми, как будто в ужасе, глазами, так, словно это были не голые факты, а новый строительный материал для новых сказок.

Долгие века большой внешний мир никак не мог дотянуться до Криков. Честолюбивые помыслы не звали их переселиться в города. Ни вербовщики сладкоречивые, ни вербовщики, которые силой угоняли крестьянских парней из родных деревень, не плавали от устья Лима вверх по Узе и так и не отправили ни единого из Криков драться за короля или за королеву. Покуда история не дошла до той точки — до нашей эпохи, дети мои, до общего нашего наследия, — когда

большой внешний мир научился лезть в ваши дела, хотите вы того или нет. Когда история сделала сальто назад и увлеклась разрушением. Воды, они возвращаются. В 1916-м, 17-м и 18-м было затоплено небывалое количество полей, прорвано огромное количество дамб, а уж таких скоплений ила в устьях не случалось, наверное, века и века — просто потому, что рабочих рук, занятых в обычное мирное время на дренаже и осушении, стало категорически не хватать. В 1917-м напечатанные на бумаге повестки призвали Джорджа и Хенри Криков, из Хоквелла, Кембриджшир, работников Лимского товарищества по дренажу и судоходству, надеть на себя мундиры и получить довольствие и личное оружие.

И где же они оказались той осенью, порознь, но рядовыми одной и той же осаждаемой противником армии? В стране такой же плоской, размытой дождями и насквозь пропитанной водой. В стране, весьма напоминающей их родные Фены. В стране, очень даже похожей на ту, где великий Вермуйден создал себе репутацию и разработал свои нехитрые методы, оказавшиеся тем не менее абсолютно негодными в условиях Восточной Англии. В стране, где в семнадцатом году хватало работы по рытью канав, отводов и

траншей и где необычайно остро стояла проблема дренажа, не говоря уже о прочих разного рода проблемах. Братья Крик увидели большой мир — и он не был похож на волшебную сказку. Братья Крик увидели — а может быть, это был просто дурной сон, кошмарное видение, въевшееся в память? — что большой мир погружается в пучину, воды идут вспять, и большой мир тонет в грязи. Разве не все мы знаем о грязных дорогах Фландрии? Разве не чувствует каждый из нас, в нашем двадцатом столетии, когда подросток, школьник вполне в состоянии предложить в качестве темы для урока истории Конец этой самой Истории, как фландрская грязь липнет и засасывает ноги?

В январе 1918-го Хенри Крика отправляют на корабле домой — спасибо шрапнели, ударившей его в колено. К тому времени в Хоквелле уже зреет решение воздвигнуть в память о жертвах войны мемориал и выбить на нем, среди прочих имен, имя его брата. Хенри Крик становится медицинским случаем. Хенри Крик хромает, и моргает, и падает плашмя, если рядом раздастся вдруг громкий звук. Еще долгое время у него путаются в голове знакомые-но-чужие поля Фенов и чужие-но-знакомые грязепейзажи, с которых ему удалось вернуться. Он все ждет, когда земля

качнется и вздыбится у него под ногами и станет трясиной. Он отправляется в приют для хронических неврастеников. Ему кажется: осталась одна только реальность, для историй места больше нет. О войне он говорит: «Я ничего не помню». Он и представить себе не может, что настанет такое время, когда он будет рассказывать соленые Окопные Байки: «Были такие воронки, старые, из тех, что побольше, и, представляете, в них водились угри…» Он и представить себе не может, что будет говорить с собственным сыном о материнском молоке и человеческих сердцах.

Но у Хенри Крика все еще впереди. Он выздоровеет. Он встретит будущую свою жену — хотя это уже совсем другая история. В 1922 году он женится. И в том же самом году Эрнест Аткинсон оказывает косвенное влияние на его будущее трудоустройство. Косвенное, поскольку слово Аткинсона в здешних местах уже не закон; империя Аткинсонов, как и многие другие империи, приходит в упадок, а еще по той причине, что с довоенных времен, когда Эрнест Аткинсон продал большую часть своих паев Лимского товарищества, он живет затворником, и притом, по мнению некоторых, повредился в уме. Но, как бы то ни было, в 1922 году мой отец назначен

смотрителем шлюза Нью-Аткинсон.

4
У ДИРЕКТОРА

Вот Льюис и говорит: «Мы урезаем историю…» Только и всего. Как будто нет нужды вдаваться в действительные, весьма неприятные причины моей отставки, о коих прекрасно знаем (хоть и не обсуждаем их) мы оба. Как будто мы можем преспокойно играть в игру, что учителя Крика увольняют вовсе не из-за того, что он впал в немилость, а по обычному, и даже рутинному, поводу — пересмотрели учебный план.

Но погоди-ка, Льюис. Урезаете историю? Урезаете *Историю* ? Если ты даешь мне пинка, давай пинка *мне* , а не тому, что за мной стоит. И не трогай мою историю…

Дети для нашего директора, надежи нашей и опоры — разрешите на пару минут забыть о профессиональной этике — и я сам, и возглавляемое мною отделение (что бы он там ни говорил) — что жало в плоть. Он уверен, что образование должно учить о будущем и во имя будущего — прекрасная теория, восхитительная точка зрения. И предмет, сколь ни будь он уважаем в академической

традиции, но предмет, который главной своей задачей считает копание в прошлом, должен, *ipso facto*[2], уйти первым…

Вот вам, дети, и человек по фамилии Льюис — более известный вам и, если уж на то пошло, то и мне, как Лулу, — который пытается сделать вид, будто я уже ни на что не годен и даже будто я слегка не в себе. Вот вам и неизбежный результат моих слишком долгих заныров в фокусы-покусы этой самой истории.

«Досрочно выйдешь в отставку, Том. И полная пенсия. Да половина преподавательского состава просто мертвой хваткой бы вцепилась в такую возможность».

«И ты прикроешь мое отделение».

«Не говори глупостей. Речь не идет о закрытии. Я не *исключаю* историю из числа школьных предметов. Но пойми, сокращение штатов. Должности заведующего отделением истории больше не будет. История пойдет по разряду общих курсов».

«Разницы, по большому счету, никакой».

«Том, давай начистоту. Не я принял это решение. Я, по правде говоря, к твоему предмету особой симпатии не питаю. И никогда этих своих

---

[2] Примечания: 2
Здесь: тем самым, следовательно (лат.).

взглядов не скрывал. Тебе же плевать на физику. И на должность директора школы, насколько я тебя понял, тебе тоже начхать. Мы много лет работали в спарринге, Том, — (слабая улыбка), — и наша дружба от этого была только крепче. Академическое, так сказать, соперничество в малых дозах повышает тонус. Так что речь сейчас не о сведении счетов. Ты же знаешь, нам придется всерьез затянуть поясок. И ты понимаешь, какое на меня оказывают давление — „практическая соотнесенность с реалиями нынешнего дня“ — вот чего они все добиваются. И черт возьми, ты же не станешь отрицать, что с каждым годом на историческое записывается все меньшее и меньшее число учащихся».

«Но теперь-то все по-другому, а, Лу? Как насчет последних нескольких недель? Ты знаешь не хуже меня, что было по крайней мере шесть заявок от учащихся с других отделений на перевод в мою группу уровня „А“. Может быть, я все-таки нашел какой-то выход».

«Если ты называешь полный отказ от учебной программы „выходом“, если ты называешь эти твои выходы коверного в антракте, эти фокусы — „выходом“.

Он фыркает, он начинает терять терпение.

«Я ведь дал тебе совет, Том, и это был совет друга. Я говорил, отдохни, уйди в отпуск…»

(А когда вернешься, не будет никакого, к черту, отделения истории.)

«Но если ты намерен упорствовать…»

Он поднимается из-за стола, он дышит глубоко и отрывисто. Он стоит у окна, руки в карманах, приткнувшись плечом в угол между оконной рамой и картотечным шкафчиком. Четыре тридцать. Уроки кончились. Школьную площадку заволакивают сумерки.

«Н-да, Том, так уж вышло, что я на стороне прогресса. Я за то, чтобы они были готовы к встрече с реальным миром. Так вышло, и таково мое мнение — что мы здесь именно для этой цели и сидим». Перст указующий, широкий жест руки в сторону школьной площадки. «Выпустить хотя бы одного из всех этих детишек в мир так, чтобы он или она чувствовали свою полезность, с набором практических знаний, а не полными карманами ненужной и совершенно бессмысленной информации…»

(Ну вот и добрались наконец до сути.)

Хороший человек, прилежный, настойчивый. Честно. Я вижу иногда, уходя из школы, что у Льюиса на втором этаже свет все еще горит,

этакий фонарик, висит и светит между темных классов. Ему до всего есть дело; он старается; он прилагает усилия. А если обстоятельства оказываются сильнее его, он начинает нервничать, он терзается, это у него такой крест. Нервничает из-за своих учеников. Нервничает из-за того, что в восьмидесятые годы не может пообещать им радужных перспектив. От нервов у него язва, и он ее пользует виски, а виски держит в картотечном шкафчике (и об этом я тоже знаю).

Что ж, приглядимся поближе к нашему славному Директору.

Давным-давно, в блистательной середине шестидесятых… Да, но вы же не помните блистательной середины шестидесятых. Революционеры тогда были в моде, им не так уж плохо тогда и жилось, революционерам. Результат (рассмотрим вопрос в исторической перспективе) недолгого периода изобилия, повышения уровня образованности и краткосрочных, но крайне радужных прогнозов. Своего рода революция молодых… А кроме того, эра холодной войны, кубинского кризиса и межконтинентальных баллистических ракет…

Давным-давно, в блистательной середине шестидесятых, когда вас производили на свет, а

Льюис, кроме того, что его назначили директором школы (единственным соперником был учитель истории, тот был старше, но, однако, не пожелал менять классной комнаты на директорский кабинет), был занят производством собственных детей, будущего в предложении было хоть отбавляй. Славное время для директоров средних школ. Наша школа — новенький корабль и держит курс в Страну Обетованную. А Льюис, наш Отважный капитан, учитель физики и химии (технология тогда решала все), уверенно мерит палубу шагами.

Это судно все еще его судно. Вот только он уже не капитан. Он сделался носовой фигурой. Стойкой и непоколебимой, но все же носовой фигурой. Постучите пальчиком. Под слоем лака цельный кусок дерева (и червячки тревоги). Носовая фигура нашего корабля — точная копия директора школы, каким он был пятнадцать лет назад.

Поглядите на него на утреннем собрании. (Видите? И слышите? Да-да, он умеет произвести впечатление.) Вам не поймать старика Лулу на мрачном выражении лица. Вам не увидеть его на капитанском мостике без того, чтобы челюсть торчала вперед уверенно и твердо, и наготове улыбка и добрая шутка. Такая у него отныне роль:

стой твердо и держи улыбку на лице. Но, знаете, скрывать следы тревог такая тяжкая работа. От нее бывают язвы.

И к детям он со всей душой. Своих трое. Прижмет тебя со всеми с ними в учительской к стенке (мой Дэвид, моя Кэти…). За семейным ужином в тесном кругу (гости: Том и Мэри Крик) он заявляет, что, впрочем, отнюдь не мешает выпить, он, мол, подумывает устроить дома бомбоубежище, если вдруг радиоактивные осадки: «Все для детей, вы же понимаете, только для детей и стараюсь…» Если он уже не может быть щедрым Санта-Клаусом, если хрустких этих, в подарочной упаковке обещаний на круг уже явно не хватит, у него всегда в запасе теплая рука на плече и отеческое наставление. Просто учитесь получше и ведите себя хорошо. Образование даст вам фору. Школа — это микрокосм, и если школа работает нормально… К детям со всей душой.

Вот только взрослые дела, вот только испорченный, недетский мир, здесь он пасует. Он хочет быть ближе к ученикам: и держит педколлектив на дистанции. Если у *этих* есть какие-то проблемы, суд у него короткий…

Он, должно быть, все заранее обговорил с начальством. На него давят сверху, какой удобный

повод. От этого человека нужно избавиться. Без вариантов. Но как уйти от всех от этих взрослых дрязг? Структурная реорганизация. Бюджетные приоритеты… И соотнесенность предмета с запросами реального мира…

(А с каких это пор ты сам-то, Лу, начал жить в реальном мире?)

Вот он и говорит: «Мы урезаем историю…»

Он не говорит: «Если бы что-то другое… Но похитить ребенка. Похитить *ребенка* . Жена учителя школы. Последствия, сам понимаешь… И эти чертовы газетчики…»

Он не говорит: «Я бы постоял за тебя, Том, я бы тебя защитил. Но в нынешних обстоятельствах — эти твои уроки — эти цирковые фокусы…»

Он не говорит: «Как она, Том?»

(Как она; в былые времена это называлось сойти с ума. А находится она в заведении, которое в былые времена именовалось желтым домом.)

Он не спрашивает: «Почему?»

Он говорит — но он не может даже и сказать того, что сказать собирался: он открывает шкафчик с картотекой, он намерен предложить мне виски. Ни причин, ни объяснений, и нечего копаться, дело прошлое. Давай-ка лучше притворимся, что ничего не было. Реальность — вещь такая стран-

ная, странная и чреватая неожиданностями. Он не хочет ничего обсуждать.

Обеспокоенные родители осаждают школьную администрацию.

Мистер Льюис Скотт, директор школы, «отказывается от комментариев».

Он хочет, чтобы с глаз долой, из сердца вон. Ранняя отставка. Полная пенсия. Урезаем историю.

5
СИНЯК НА СИНЯК

Оно потихоньку покачивалось. Оно подрагивало, шевелилось в легких водных токах, руки подняты и согнуты в локтях, как будто человек лежит ничком и тихо спит. Вот только он не спал, он был мертв. Потому что тела, лежащие в воде лицом вниз, не имеют обыкновения спать, тем более если они пролежали таким образом, никем не замеченные в ночной темноте, по меньшей мере несколько часов.

Ибо в ту ночь (двадцать пятого июля 1943 года) отца, противу всякого обыкновения, отпустила его ночная напасть — так уж вышло. В ту ночь отец спал как убитый, пока его не разбудила заря, и только тогда он встал — вместе с Диком, которого бессонница не мучила никогда и который каждое утро поднимался в полшестого, чтобы в половину седьмого уже отправиться на мотоцикле в сторону Линна, в пригород, он там работал, на драге, на Узе. Я же из-за суеты перед домом, из-за хриплого выкрика отца, из-за топота — кто-то пробежал по настилу над заслонкой — недоспал

положенное мне как прилежному школьнику (школьник был в то время на каникулах, да и по части прилежания далеко не образец) и проснулся не как обычно, от кулдыканья и чихов Дикова драндулета.

А когда я пошел в комнату к Дику посмотреть, что там творится на реке, отец и Дик стояли на настиле, перегнувшись вперед, и смотрели вниз, а отец все тыкал во что-то, плавающее в воде, багром, осторожно, опасливо, как будто он был сторож при каком-нибудь опасном, но до крайности ленивом водоплавающем звере и пытался его расшевелить.

Я мигом натянул одежду; сбежал по лестнице, и сердце подпрыгивало не в такт ступенькам.

В это время года вода обычно стоит низкая. Сама заслонка, вертикальный, выложенный кирпичом участок прилегающего берега и мол между заслонкой и шлюзом создавали глубокий — в три стены — открытый колодец, из коего человеческое тело, будь то живое или мертвое, без труда не выловить никак. Отец, должно быть, как раз успел об этом подумать и побежал неловко, боком, по узкому настилу к дому, чтоб поискать там инструмент получше, чем длинный лодочный багор, — мы столкнулись с ним у будки, я как

раз бежал навстречу. На лице у него было выражение, которое бывает, наверное, у преступника, когда его ловят с поличным.

«Фредди Парр», — сказал он.

Но я уже узнал клетчатую летнюю рубашку, серые бумажные брюки, торчащие лопатки и темные волосы, которые, даже отмокнув в речной воде, все равно торчали у Фредди на затылке вечным его вихром.

«Фредди Парр».

Он протиснулся мимо меня. Я подошел и встал рядом с Диком. Багор был теперь у него, и он, задумчиво и тихо, тыкал им в тело.

«Фредди Парр», — сказал я.

Имя навязло у нас на зубах, и мы никак не могли от него отделаться.

«Фредди Парр, — сказал Дик. — Фредди Парр-Парр».

Потому что только так Дик и говорил, на детском этаком языке.

Он повернулся ко мне; длинное, картофельного цвета лицо с тяжелой челюстью и вялым ртом, всегда приоткрытым, всегда издающим тихий полуголос-полудыхание. Веки у него ходили быстро-быстро. Если Дик испытывал какое-то сильное чувство, понять это можно было только по векам.

Кожа грязновато-белого оттенка ни краснела, ни бледнела; рот все такой же вялый; глаза глядели тускло и куда-то в пространство. И только веки фиксировали высокий градус чувства. Но хоть они и фиксировали высокий градус чувства, из одного только их быстрого вверх-вниз движения никак нельзя было сказать, какое именно чувство они пытаются выразить.

«Фредди Парр. Помер. П-помер Фредди. Фредди Поммерр-Парр».

Он пошевелил покойника багром. Он пытался перевернуть его прямо в воде лицом кверху.

Отец исчез в пристройке, в притулившемся к дому сарае, где мы держали багры, веревки, спасательные пояса, а также грабли и кошки, чтобы вылавливать плавучий хлам. Наша плоскодонка, которая была бы сейчас как нельзя более кстати, стояла кверху дном на козлах возле бечевника с аккуратно вынутым для ремонта куском днища.

Вышел он с пустыми руками. Было совершенно ясно: вот он смотрел на все эти веревки и крючья, и, хотя вытаскивать ими из воды большие ветки или даже дохлых овец было дело привычное, ему не захотелось поганить ими отмокшую плоть мертвого мальчика.

Он постоял, лицом к нам, на бечевнике. Потом

совершенно сознательно, на несколько долгих секунд, отвернулся и глядел в другую сторону. Я знал, что он такое делает. Он еще надеялся, что ничего этого нет и не было. Он надеялся, что ярким летним утром никакого мертвого тела в действительности не приволокло течением к заслонке. Он надеялся, что, если он сейчас отвернется, досчитает до десяти и очень, очень попросит, оно исчезнет. Оно, однако, не исчезло.

Солнце не успело еще подняться высоко над горизонтом и отблескивало от воды. Над полями заливались жаворонки под молочно-голубыми небесами. По всему земному шару в этот самый час шла война. Наши войска с тяжелыми, боями продвигались вперед, по крайней мере нам так говорили, на Сицилии; русские тоже наступали. А в это время в Атлантике…

Но если не считать «Ланкастеров» и Б-24, которые облюбовали себе на гнезда плоскую и выгодную в стратегическом отношении местность в Восточной Англии, ни намека, ни отзвука от этой великой драки не долетало до фенлендского нашего захолустья.

Отец, то и дело запинаясь на ходу, прошел обратно по-над шлюзом, потом по настилу и взял у Дика из рук багор. Ничего не оставалось делать,

кроме как проволочь тело багром по воде в такое место, где его можно будет вытащить на берег. Что означало: нужно обвести его вокруг центрального мола, потом протащить мимо входных ворот шлюза, потом еще несколько ярдов вверх по течению, за бечевник, где к воде были брошены сходни и где, не будь она сейчас перевернута и с дыркой в брюхе, стояла бы на мертвом якоре наша плоскодонка.

Я видел, как отец выбирает между воротником рубашки и поясом у Фредди на брюках. Он остановился на воротнике. Как выяснилось позже, лучше бы он выбрал пояс. Просунув крюк между воротником и белой полоской шеи, он крутанул багор, и крюк зацепился. Потом он медленно двинулся с места, ведя багор на вытянутых руках, осторожно и — в буквальном смысле слова — трепетно; по настилу, потом на мол. Мы шли следом.

Торчащие вперед руки Фредди делу нисколько не помогали. А еще было похоже, как будто он сам, каким-то нелепым способом, запинаясь, барахтаясь, дергаясь, движется вперед по воде — но только мешала явственная стылость рук и ног и еще тот хорошо известный, утренним нашим открытием лишний раз подтвержденный факт,

что Фредди Парр не умеет плавать.

Когда отец пытался обвести тело Фредди вокруг центрального мола, у верхнего конца, начались трудности. Как только тело встало поперек реки, ноги занесло течением. А правая ладонь с предплечьем зацепились за стену, и тело закрутилось еще сильней. Отец налег на багор и попытался перебороть течение, отцепить руку Фредди — которая отцепляться, однако, не пожелала — от стенки мола.

В результате всех этих движений и контрдвижений воротник рубашки, за которую отец буксировал тело, закрутился еще больше и еще, покуда не достиг той точки, когда крутиться он мог только вместе с Фредди. Все тело разом, левой стороной вперед, перевернулось лицом вверх, и тут уже возникло совершенно иное впечатление, ничего общего не имевшее с плаванием и очень достоверное, что Фредди вдруг проснулся от тяжелого, вниз головою, сна и как-то сразу, разозлившись на багор, который тер ему шею и едва-едва не задушил, ожил и сердито поднял руки.

Не то уверовав отчаянно в эту иллюзию, не то и в самом деле решив оставить свой первоначальный план и вытащить Фредди из воды прямо

здесь и сейчас, отец принялся изо всех сил тянуть багор вверх. Фредди вышел из воды по пояс и повис — локти в стороны, руки подняты, как у сдающегося в плен, — все еще в нескольких футах ниже отца. Голова упала назад и ударилась о стену мола. Изо рта потекла вода. Воротник рубашки не мог, конечно, удержать все тело на весу и порвался. Багорный крюк попал сначала Фредди под челюсть, а потом, когда тело рухнуло обратно в воду, пробил ему скулу, глазницу и висок.

И вот только после этого, дети мои, — после того, как Фредди Парр упал и снова всплыл и стало ясно, что из этой неумышленной раны в голову идет кровь, только не обычная, ярко-красная, готовая тут же смешаться с водой, а темная, клейкая, густая субстанция цвета черной смородины, — я вдруг очнулся. Я понял. Я понял, что смотрю на мертвого. На что-то такое, чего я еще ни разу не видел. (Я видел, как мама умирала, а мертвой уже не видел.) И это не просто мертвое тело, а тело друга (друга, если честно, весьма ненадежного, который не раз и не два показывал себя не с лучшей стороны — но все-таки друга). Фредди Парра. С которым болтал позавчера. С которым совсем недавно сиживал на высоких берегах Хоквелл-Лоуда, там, где он впадает в Лим,

недалеко от места, где сам Лим впадает в Узу, и мы шутили с ним и пересмеивались. Вместе с Диком, и с Мэри Меткаф, и с Ширли Элфорд, и с Питером Бейном, и с Дэвидом Коу, по большей части полуголыми, и руки-ноги в тине, потому что там было наше любимое место, чтобы плавать.

Если, конечно, не брать в расчет, что Фредди Парр плавать не умел.

Веки у Дика ходили часто-часто. Отец выругался — тихое присловье богобоязненного человека, который никогда не помянет имени Божьего в гневе, вот разве только с отчаяния, — и опять зашурудил багром, пытаясь уцепиться за одежду.

Мы вытащили Фредди из воды. Все втроем (набухшие водой тела — ноша нелегкая) мы втянули его по сходням и отнесли на бетонированную площадку, туда, где бечевник выходил прямо к дому. Там, поскольку для возвращения недоутопших к жизни именно эта позиция считается наилучшей, отец положил его наземь, лицом вниз. А затем, поскольку отец проходил во время оно некие существовавшие под покровительством Товарищества по дренажу бассейна Большой Узы (в которую Лимское товарищество по дренажу и судоходству входило на правах составной части) символические курсы искусственного дыхания

по методу Хольгера-Нильсена, он стал надавливать Фредди между торчащими его лопатками, поднимать и опускать его закоченевшие руки, и занимался он этим не меньше четверти часа. Не потому, что он не знал, так же как Дик и я, что Фредди мертв, но потому, что был он человек суеверный и никогда не сбрасывал со счетов возможность чуда, а еще потому, что эта ритуальная последовательность телодвижений оттягивала момент, когда он будет вынужден смириться с приговором. Что тело мальчика было найдено у него на шлюзе, мальчика, которого — прояви смотритель должную бдительность — можно было бы спасти; что поскольку шлюз на нем, так и вся ответственность на нем; что это был труп соседского сынишки, а они сто лет знакомы; что, вытягивая тело из оды, он по дурацкой своей неловкости нанес ему багром глубокую рану в голову, а поранить мертвого есть грех, наверное, даже больший, чем поранить живого; что нужно поставить в известность и вызвать на место происшествия соответствующие службы; и что, в который раз, в его тихую речную жизнь вторглась Беда.

Потому что, когда на шлюз приносит течением мертвое тело, а у смотрителя такой характер, как

у моего отца, то это не случайность, а проклятие.

У Фредди Парра изо рта текла вода, но кровь из тутового цвета раны у него на виске больше не шла. Вода выплескивалась у Фредди Парра изо рта ритмически, в такт Хольгеру-Нильсену. Потому что есть и такая вещь, как дренаж человеческого тела и откачивание вод. Чем еще занимался отец в то июльское утро, как не привычным — из поколения в поколение — делом предков: изгонял воду вон? Но они-то вернули землю в мир, а он жизни вернуть не смог…

Таким это утро мне и запомнилось: молчаливая группа людей на голой бетонной площадке, отец трудится в поте лица, против реальности, против закона природы — что мертвое живым опять не сделать; щебечут жаворонки — на фоне утреннего неба, в маслянисто-желтом токе солнечного света, который льется не спеша вдоль Лима и подрумянивает желтый кирпичный фасад нашего дома, где над дверью каменная резная вставка с датой — 1875, а над датой вырезаны еще подобием герба два скрещенных пшеничных колоса, которые при ближайшем рассмотрении оказываются вовсе и не пшеничными, а длинноостыми колосьями ячменя.

Вода выплескивается из Фредди в удивитель-

ных количествах. Но сколько отец ни бейся, сколь упрямо он ни применяй ритмическое надавливание и растяжку по методу Хольгера-Нильсена, ему не скрыть того факта, что он в отчаянии. Что, хоть губы у него и не движутся, он молится про себя и что он думает о Джеке и о Флоре Паррах, которые до сих пор ничего не знают о смерти сына. И я тоже, я тоже молюсь — не знаю, за Фредди ли Парра или за собственного отца — и надеюсь, что Фредди Парр волшебным образом воскреснет. Потому что мне кажется: отчаянный этот дренаж имеет целью выкачать, изгнать не только воду из тела Фредди, не только сверхштатное это, невесть откуда свалившееся несчастье, но все несчастья за всю его незадавшуюся жизнь: несчастье, которое шесть лет тому назад лишило его жены; несчастье, из-за которого его первенец родился уродом с картофельной башкой (потому что именно таков наш Дик и есть). И другие, другие прочие проклятия и несчастья, до сей поры неизвестные.

И только Дик, единственный из нас, не проявляет признаков смятения (хотя кто может сказать, что там происходит в этой картофельной башке?). Может быть, для него извлечение тела — пусть даже знакомого тела — из реки не многим

отличается от будничной его работы (на которую он сегодня точно опоздает) по извлечению, через посредство большой самоходной землечерпалки, ила со дна реки Уза. Потому что Дик, несмотря на картофельную башку, работник отменный, никаких сомнений. Никаких сомнений в силе его рук, в крепко сбитом теле и в том ослином упрямстве, с которым он исполняет дневные работы свои. От Дика пахнет илом. Он подходит теперь к самому краю бечевника. В руках у него багор. Он подается вперед и сплевывает — изрядный сгусток старой доброй Криковой флегмы, которая, несмотря на вязкость и на переизбыток в каждом Крике, подвела, не сумела вовремя остудить отчаянный порыв отца, — в шлюз. Смотрит, как плевок плывет, пузырится, тонет. Над рыбьими глазами трепет век.

И один только Дик уже заметил, сквозь частое мельтешение век, покуда мы заняты воскрешением мертвых, как снизу, со стороны Узы, к нам идут два лихтера, пока еще далеких, но они ведь непременно пойдут через шлюз. Потому что, есть на шлюзе утопленники или нет, ворота должны открываться и закрываться в срок. И скоро об этой речной трагедии, которая до поры до времени известна только нам, узнают все, кто

идет вверх по Лиму, через посредство разговорчивых лихтерменов из компании «Минеральные удобрения Гилдси». Скоро отчаянная тишина у бечевника будет нарушена голосами тех, для кого утонувший мальчик есть некая периферия, а вовсе не центр, не зеница ока сегодняшних забот. «Кой хрен воду-то качать из покойника» (первый лихтермен). «Ба-агром? А какого ты ба-гор-т' схватил? Не мог, ш'ль, нырнуть, та и вытянуть пацана оттедова?» (В самом деле, почему бы нет? Потому что плавать в одной воде с утопленником — к несчастью.) Голосами полицейских и врачей со «скорой помощи» — все с вопросами и с записными книжками, — для которых такие вещи случаются пусть не каждый день, но и не в диковинку.

В самом деле, зачем поднимать шум из-за единственного утонувшего мальчика, когда и за горизонтом, и в этом вот летнем небе идет война; и матери каждый день теряют сыновей, и каждую ночь бомбардировщики уходят на боевое задание, а возвращаются с задания не все? Большой мир, он всегда на первом плане. И даже отец, который когда-то увидел этот самый большой мир и сам чуть не утоп во фландрской грязи, но все-таки выжил, вернулся, чтобы рассказывать

нам сказки, не случится ли так, что когда-нибудь и он, мотнув головой и затянувшись лишний раз угольком сигареты, станет рассказывать, как он выловил этого бедолагу из Нью-Аткинсон.

Потому что ощущение реальности происходящего — и за это нужно быть благодарным — приходит к нам только на очень короткие промежутки времени.

Однако — на короткий промежуток времени — эта сцена тянется и тянется бесконечно: бечевник; переблескивает Лим; снизу подходят лихтеры; Дик у шлюза; отец терзает и терзает, безо всякой надежды на успех, мертвое тело Фредди Парра и не знает, как остановиться.

И отец еще не заметил (он слишком возбужден) одного обстоятельства, которое сделает эту сцену еще более тягучей, и тягостной, и неизгладимой из памяти. Темного, овального кровоподтека у Фредди на виске, над раной от багра и вокруг нее. Или, может быть, отец его давно уже заметил и именно поэтому продолжает поднимать и опускать негнущиеся руки Фредди, потому что не хочет еще одной Беды. А может быть, и Дик его тоже углядел и именно поэтому отошел и сплюнул в шлюзовую камеру. Может быть, мы все его заметили; но только я один прикинул в

уме (несмотря на полное мое невежество в том, насколько быстро проявляются на трупах пятна), что синяк у Фредди на виске, который уже успел приобрести по краям характерный тускло-желтый оттенок, никак не мог появиться от удара багром.

А лихтеры тем временем подходят. Дик отворяет нижние ворота, а лихтермены в то же самое время замечают на берегу нечто такое, чем можно объяснить незапланированную остановку на пути вверх по течению Лима. Они выбираются на берег, чтобы сообщить нам новость, о которой мы давно уже знаем, но признаваться в том не хотим, что сынишка Джека Парра мертв, и это верняк, чтоб им самим сдохнуть; и чтобы оторвать наконец отца от безостановочного надави-расправь руки. Лихтермены разводят треп. Отец стоит тихо; потом вдруг вспоминает, что он смотритель и в чрезвычайных ситуациях у него есть официальные обязанности.

С того момента, как Фредди вытащили из воды, прошло уже двадцать пять минут (лужа, в которой он лежит, начала подсыхать по периметру). Пока полицейский из Эптона и «скорая» из Гилдси доберутся до нас, пройдет еще тридцать пять. К тому времени (потому что покойники,

как сорванные фрукты, и в самом деле склонны покрываться пятнами) новый синяк, от удара багром, начнет набухать над старым, который к багру никакого отношения иметь не может, благодаря чему оба синяка сольются и, ежели особо не приглядываться, сойдут за один. И по этой самой причине; потому что, когда полицейский снимал с него показания, отец не раз и не два повторял, сокрушенно, настойчиво, что именно по его дурацкой неловкости, которой, конечно же, нет никакого оправдания, багор сорвался и ударил Фредди по голове (чему в свидетели были призваны ваш будущий учитель и его ворчащий что-то неразборчивое брат); потому что полицейский не стал копать глубже; потому что прошло время, пока поставили в известность и привез родителей (еще одна бесконечная и неизгладимая из памяти сцена), а тело отправили в Гилдси, в тамошний морг, а время размывает подробности; потому что дежурный патологоанатом, которому уже рассказали про багор, и в самом деле не стал особо приглядываться и отметил только наличие в легких Фредди существенного количества воды и тот решающий факт, что в свернувшейся крови покойного было обнаружено значительное процентное содержание алкоголя, — предвари-

тельное заключение по факту смерти Фредди Парра гласило, что он скончался (был пьян, а плавать не умел), утонув в реке Лим, между одиннадцатью и часом в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое июля 1943 года.

И все же по какой такой причине меня буквально пронзил страх, как только багорный крюк закогтил полуподатливое-полууклончивое тело Фредди Парра? Потому что я увидел смерть? Или другой, еще более страшный образ? Потому что это не была обыкновенная, будничная, жуткая, сама-по-себе смерть, а было нечто большее?

Дети, зло — это не то, что происходит где-то за семью морями, — оно внезапно трогает вас сзади за локоть. Да, я испугался, когда увидел, как из раны на виске у Фредди выступила и не стала течь кровь, Но там не было и половины того страха, который пробил меня, когда в тот же самый день, только чуть позже, Мэри Меткаф сказала мне: «Я ему сказала, что это был Фредди. Дик убил Фредди Парра, потому что думал, что это он. Значит, мы с тобой тоже виноваты».

И в тот же самый вечер, когда я прикатил на велосипеде домой со свидания с Мэри (потому что между нами был один из тех сюжетов, которые,

хоть они и случаются в юности, далеко не всегда безобидны и которые, хоть они и случаются в юности, могут повлиять на всю дальнейшую вашу жизнь), еще один предмет пронесло течением вниз по Лиму, и видел его и выловил я один.

Ласточки скользят над водой чуть выше шлюза. Дело к ночи, но на дворе июль, и сумерки едва только начали сгущаться. Комары над камышом танцуют джаз. А я лежу себе в маленькой выемке на речном берегу, под ивой, чуть выше дома по течению, по дальнему берегу; место, где я частенько лежал или сидел и утолял свой книжный голод. Где я в одно касание расправился с «Хереводом Бдительным» [3], «Черной стрелой» [4] и «С Клайвом в Индии». [5] А если не забираться так далеко в дела прошлые, то штудировал здесь

---

[3] Примечания: 3

Романтический историко-приключенческий роман (1866) Чарльза Кингсли (1819–1875), известного английского литератора, священника по профессии, писавшего как на исторические, так и на современные темы. Последний законченный им роман основан на легендах о восстании англосаксов под предводительством Хереворда против Вильгельма Завоевателя, подавленном в 1070 году.

[4] Примечания: 4

Романтический же историко-приключенческий роман (1888) Р.Л.Стивенсона (1850–1894) на сюжет из истории войны Алой и Белой Розы.

[5] Примечания: 5

Роберт Клайв (1725–1774) — видный британский политический деятель, активно занимавшийся во второй половине XVIII века строи-

тельством Британской империи в Индии. В начале XX века появляется серия приключенческих романов для мальчиков типа «С Нельсоном в открытом море». «С Родсом в Черной Африке» или «С Клайвом в Индии», главный герой которых, подросток 12–14 лет, оказывается волей случая рядом с Нельсоном, Родсом, Клайвом и т.д. и переживает ряд невероятных приключений, имеющих к реальной исторической канве событий самое отдаленное отношение. Книги эти носили откровенно ура-патриотический характер («Красные дьяволята») — герои делились на «наших» и «негодяев» исключительно по национальному признаку: англичане являли собой образец за образцом чести, смелости и достоинства, в то время как иностранцы воплощали все мыслимые и немыслимые пороки. Серия дожила до второй половины века, хотя к этому времени даже и дети уже воспринимали романы подобного рода как сугубо ходульные, старомодные и нелепые. Однако будущий учитель истории Крик именно в таком виде получает свой первый урок истории.

школьные учебники, пусть слегка отрешенно, зато вдумчиво (ведь правда же нет ничего удивительного в том, что ваш нудный старый учитель и в детстве был занудой и зубрилой?) или же стряпал высокопарные (подмигнем еще раз) эссе о якобитских восстаниях или о последствиях Семилетней войны. Но в этот вечер я не принес с собой учебника истории (история в вытертой тонкой обложке, которую так легко проткнуть острием перочинного ножика по имени Сейчас). Я принес с собой свой страх.

Я наблюдаю за отцом сквозь ивовые ветви. Он ходит туда-сюда, как часовой, у дальней оконечности бечевника. Порой бросает взгляд на плавно льющуюся реку, порою — вверх, на небо. И время от времени потирает правое колено, старую рану времен семнадцатого года. Потирает потому, что утром допустил ошибку, опустившись на колени (худшее, что можно сделать, если ты не хочешь, чтоб разболелись старые раны) на твердую поверхность (бетон) на несколько минут. Но разве было у него время подумать… Вот он и ходит теперь взад-вперед — а сумерки ретушируют его фигуру в профиль, — нянчит, сгибает с опаской больной сустав, но думает-то он не о колене. Он не пойдет сегодня ставить верши; хотя и спать

он тоже не пойдет. Когда совсем уже стемнеет и ранним, светлым сумеркам придут на смену сумерки поздние, он все так же будет бродить у шлюза и тереть колено. Потому что прошлой ночью по недостатку бдительности…

Дик в это время находится возле пристройки, слева от дома, и занят он тем, чем обычно занят, когда больше нечего делать, — «чинит» свой мотоцикл. А именно: он отвинчивает от него какую-нибудь железку (потому что, хотя мотоцикл и старый, с мотором у него все в порядке), смазывает ее маслом, рассматривает внимательно на просвет, дует на нее, протирает ветошкой, а потом привинчивает на место. С машинами у Дика особая любовь. Каждый день он уговаривает не ломаться, он приводит в рабочее состояние и в действие допотопный двигатель землечерпалки, которую, если бы не война, давно бы уже списали в металлолом. И очень может быть, что, не будь у него с чердаком нелады, при его — взаимной — нежной склонности ко всякой технике, каковую склонность в случае с Диком даже и умением, даже и талантом не назовешь, а скорее редкостным сродством, Дик мог бы далеко пойти в какой-нибудь соответствующей области — вроде, скажем, гидроинженерного дела, а в такого рода специа-

листах Фены нуждались всегда.

Дик и впрямь лишен определенных достоинств, которые даже людям технического склада кажутся обыкновенно нелишними. Дик не умеет ни читать, ни писать. Даже и говорит он как-то набекрень. Начатки самых элементарных знаний он получил в деревенской школе. Но — странное дело — казалось бы, особенности Дика требуют специального и пристального внимания, так нет же, родители его образованием не просто не занимались, они, можно сказать, сознательно свели его на нет. Младший сын попал в привилегированное положение едва ли не вундеркинда, от него многого ждали, и по сей причине он был освобожден от низменных домашних обязанностей; в то время как старшему (который, судя по всему, ничуть не возражал) присвоили пожизненную роль прислуги за все. И если столь решительная политика со стороны родителей могла быть следствием признания того очевидного факта, что первенец у них — земля неродящая и освоению не подлежит, то как объяснить необычайную жесткость, до мнительности, с которой они политику эту проводили в жизнь: как в том, к примеру, случае, когда их младший сын решил поделиться с обиженным

судьбою старшим братом малой толикой своих, пусть скудных, знаний (зри: будущий учитель) по строго секретной программе индивидуального обучения; и, будучи пойман с поличным, не просто услышал запрет на всякую просветительскую деятельность — отец сказал ему прямо, резко и с явным раздражением в голосе (хотя вообще-то он был человек, отнюдь не склонный ни к вспышкам дурного настроения, ни даже просто к строгости, что стало особенно заметно после безвременной кончины жены): «Не смей его ничему учить! И даже читать — не смей!»

И это все в тот самый вечер, когда отец (взяв себя в руки) рассказывал младшему сыну о материнском молоке и о том, что у каждого человека есть сердце…

Дик возится со своим мотоциклом. Можно сказать, что Дикова любовь к машинам, если это, конечно, любовь, происходит оттого, что Дик и сам своего рода машина — постольку, поскольку машины не живут своим умом и поскольку Диково большое, худое и на удивление проворное тело не только может работать без устали, но и способно показать при случае самые настоящие чудеса ловкости и силы. И это несмотря на умственную отсталость и на общее, неотделимое от

Дика, ощущение неловкости. Дик хочет знать, почему другие люди не похожи на машины. Может быть, Дик и сам тоже не хочет быть похожим на машину. Дик спотыкается, бормочет, Дик отступает в чуть ли не пуританском ужасе при каждом случае, когда в очередной раз выясняется, что человеческие действия нельзя отрегулировать как действия машины. Иногда он снисходит до глупейших попыток сымитировать собственными, чисто механическими средствами те отклонения от нормы, которые видит вокруг, но чаще кажется, что с заоблачных высот простого и ясного отсутствия всякой мысли он — отчасти презрительно, а отчасти даже и с жалостью — взирает на мир, ослепший, обезумевший от переизбытка воображения. Он знает что-то такое, чего мы не знаем. И это выражение лица — эта поза — может придать Дику в глазах окружающих некую грубоватую, как неотшлифованный камень, возвышенность; и даже определенную (потому как, никуда не денешься, рожа-то у Дика та еще), не без вывиха, привлекательность. Но Дику делается от этого одиноко. Он страдает. Вот потому-то, в поисках утешения, он и разговаривает со своим мотоциклом чаще и больше, чем с любым другим — живым — предметом. Вот потому-то про него

и ходит слух (и Фредди Парр один из главных сплетников), что Дик настолько влюблен в свой мотоцикл, что иногда он едет на нем в укромное какое-нибудь место, ложится с ним в траву и…

Дик, сгорбившись, сидит у пристройки. Кроме запаха ила от Дика идет еще и запах машинного масла. Он поднимает на догляд какую-то деталь мотора. У Дика большие и сильные руки. Но вот глаз его я не вижу.

А отец все ходит. И, проходя мимо дома, старательно огибает то место на бетоне, где…

Взад-вперед; туда-сюда. Его фигура все менее и менее ясно вырисовывается, темнеет на речном берегу, на фоне гаснущего неба, и я начинаю чувствовать, как от нее исходит то же самое, с примесью жалости обаяние — исковерканная искра Божья, — что и от Дика. Он думает, наверно, что я у себя в комнате, зарылся носом в книгу. Потому как, знай он, что меня дома нет, он бы вертел головой и вытягивал шею еще более нервно. Он бы стал искать меня у реки. Потому что он из тех людей, которые верят, что беда не приходит одна, и он уже видел, сегодня утром, одного отца над утонувшим сыном.

Взад-вперед. Ему есть о чем подумать, но, может быть, он мучается в том числе и над своей старой

головоломкой про двух сыновей. Почему одного не оттащишь от книг, другого от мотоциклов; почему один идиот, а другой — голова и будет большим человеком. Он и понятия не имеет, что тот, который умный, прячется сейчас от другого, безмозглого.

Потому что умный боится.

Кругом. Остановка. Ногу согнуть. Потереть колено.

И вдруг я что-то замечаю в камышах. Может быть, ее только что принесло течением, а может, она болталась здесь сто лет. Бутылка. И, коль скоро ты живешь у реки, у тебя, хочешь не хочешь, возникает привычка вылавливать из воды всякий сколько-нибудь заметный предмет, я вытягиваю руку, вставляю палец в горлышко и тяну к себе. Бутылка. Пивная бутылка. Из толстого коричневого стекла, но только таких бутылок в Фенах давно уже не видно — и не было видно лет тридцать. Без этикетки, совершенно чистая, с узким горлышком и на вид скорее вытянутая, чем пузатая.

Я замечаю все это сразу же, задолго до того, как, дождавшись темноты, возьму ее и отнесу вниз по берегу реки, за шлюз, откуда она и поплывет себе дальше в Узу, а может быть, дайте время, и в

море. Старинная, но без пятнышка грязи пивная бутылка с выдавленными на донышке, вкруговую, словами:

АТКИНСОН — ГИЛДСИ.

6
ПУСТОЙ СОСУД

Но есть и другая теория реальности, отличная от той, что фоном сквозила в моей чреватой неожиданностями вечерней встрече с Льюисом. В реальности нет ничего странного, ничего неожиданного. Реальности несвойственны внезапные фонтаны миражей и событий. Реальность есть отсутствие событий, пустота, зияние, плоскость. Реальность — это когда ничего не происходит. Какая уйма исторических событий, задайте-ка себе вопрос, случившихся по тем или иным причинам, имели под собой, по большому счету, одно-единственное основание — страстное желание, чтобы хоть что-то случилось? Я представляю вам Историю, сплошную выдумку, забаву, глумливые вариации на тему реальности. Историю — с ее ближайшим родственником, Лицедейством…

А разве я не просил вас помнить, что на каждого протагониста, выходившего когда-либо на подмостки так называемых исторических событий, были тысячи и миллионы людей, которые

даже и близко за всю жизнь не подошли к театру — даже и не подозревали, что представление идет, что билеты проданы, — и брели ослиною тропой, пытаясь поладить с реальностью?

Правда, правда. Только нельзя на этом останавливаться. Потому что каждый из бесчисленных этих не-участников истории был, вне всякого сомнения, озабочен тем, чтоб возвести над крохотным своим, никем не замеченным существованием собственную, личную сцену, собственный просцениум и декорации — и мало кому из нас в конечном счете удавалось быть реалистами. Так что выхода нет: даже если нам нет места в репертуаре большой истории, мы имитируем ее в миниатюре и переводим на себя, в миниатюре же, ее тоску по соприсутствию, по яркости, по целесообразности, по насыщенности смыслом.

И нечего говорить о том, что мы готовы поставить на карту, каковы будут следствия из наших действий, какова отдача, какие каменные башни рухнут, как мы примемся кружиться в погоне за собственным хвостом, какого мы рискнем наделать хаоса — только для того, чтобы уверить себя: и все-таки, мол, что-то происходит. Нечего и говорить о том, каких мы хитрых ни наприду-

мываем теорий, каких только смыслов, мифов, маний мы не выродим на свет, чтоб убедить себя: реальность, мол, не есть пустой сосуд.

Давным-давно будущая миссис Крик — которая носила тогда фамилию Меткаф — в результате стечения определенных обстоятельств, имевших место в те времена, когда она была еще, совсем как вы, школьницей, решила удалиться от мира и посвятить себя одиночеству, покаянию и (каковая добродетель носила характер сугубо вынужденный) безбрачию. И она даже словом не обмолвилась, насколько далеко в пору этих одиноких бдений зашли у них отношения с Богом. Однако три с половиной года спустя она вернулась из своего самовольного изгнания в пустыню и вышла замуж за будущего учителя истории (с которым была давно и даже очень — в иные времена — близко знакома) по имени Том Крик. Она отказалась от власяницы, а заодно от чистоты и святости, и явила взамен способность, которую будущий учитель истории (который давно уже не знает, что реально, а что нет) станет позже называть способностью к реализму. Потому что она больше никогда, по крайней мере на протяжении многих лет, даже и не упоминала о своем романе с Богом.

И все-таки, наверное, ничто никуда не делось и былая страсть дремала в ней скрыто, тихо, неприметно и зрела подобием посеянного когда-то, но впавшего в спячку семени. Потому что в 1979 году она, пятидесятидвухлетняя женщина, опять отправилась на поиски Спасения. И мигом возобновила старую связь, этот свой адюльтер — к полному недоумению мужа (от которого она, конечно же, не смогла этого держать в секрете) — с Богом. И когда сей адюльтер достиг критической — для обычных адюльтеров вполне привычной, но в данном случае поверить в это было весьма непросто — остроты, ваш учитель истории и перестал, с подсказки скорого на язык ученика по фамилии Прайс, учить вас истории, а взамен разложил перед вами все эти фантастические-но-взаправду, эти хочешь-верь-хочешь-не-верь-но-все-так-и-было Сказки Фенов.

Дети мои, природа снабдила женщину миниатюрной моделью реальности: пустым сосудом, который может быть наполнен. Сосудом, где многое, что может случиться и достичь в положенное время воплощения и рождения. Где могут завязаться и перебродить целые драмы, где сюжеты могут вылупиться из ничего. А ведь именно Том Крик, будущий-учитель-истории,

в середине Второй мировой войны, понятия не имея о возможных последствиях, о возможной реакции и никак не без соперников (хотя Господь Бог среди них и не значился), был в ответе за периодическое наполнение жаждущего в ту пору и податливого сосуда Мэри Меткаф, в дальнейшем миссис Крик.

И только во второй половине дня 26 июля 1943 года он наконец начал догадываться о том, что из всего из этого может выйти.

7
О ДЫРОЧКАХ И ШТУКАХ

Потому что в тот же день, в четыре часа пополудни, после того, как я помог извлечь из реки Лим тело Фредди Парра, но до того, как я выудил из той же самой реки некую бутылку толстого коричневого стекла, я колесил на стареньком велосипеде по узкой, избитой в никуда, но в остальном идеально ровной дороге между фенлендскими деревушками Хоквелл и Уэншем, чтобы увидеться в назначенное время и в назначенном месте с вышеупомянутой Мэри Меткаф. Я выехал сперва на проходящий невдалеке от смотрительского дома у шлюза Нью-Аткинсон большак, из Гилдси в Эптон, на восток, вдоль южного берега Лима. Но я не свернул налево — хотя так было бы короче, хотя именно так я всегда и ездил — на дорогу, которая пересекает Лим по Хоквеллскому мосту и уходит дальше к северу на Уэншем и Даунхем-Маркет, а проехал дальше по Эптонской дороге еще примерно с четверть мили, перевел велосипед через пешеходный мостик, переброшенный разом и над рекой, и над

линией Большой Восточной железной дороги, и только после этого, кружным путем, описав три лишние стороны квадрата, вышел снова на Уэншем. Я не стал переезжать через Лим по Хоквеллскому мосту потому, что на той стороне, буквально в двух шагах, хоть его и не было видно из-за поднятых дамбами берегов реки, из-за того, что дорога делала там поворот и из-за посадок вдоль дороги, был железнодорожный переезд. А смотрителем на этом переезде был Джек Парр, отец Фредди Парра.

Из чего — если учесть все то, что случилось утром, — и следует, что на свидание я опоздал.

А Мэри пришла вовремя. Она сидела в укромном месте, в затишке за изогнутой углом дамбой искусственного русла под названием Хоквелл-Лоуд. Слева от нее был мокрый луг: сочная трава с островками осоки и алтея, на месте бывшей, а ныне заиленной дрены; а спереди и справа (отчего мне, идущему с велосипедом в поводу по краю дамбы, ее и не было видно) дюжина деревьев, столь характерных для влажных низин умеренного пояса — тополей. На выступе дамбы, с этой, ближней стороны, там, где в нее упиралась когда-то ныне пересохшая дрена, стояли развалины ветряка. А именно почерневший и

растрескавшийся деревянный прямоугольник, бывшая нижняя секция, не более шести футов в высоту, без крыши и без следов мельничного механизма, однако с крошечным лазом в стене, в который нырял когда-то мельник. И, прислонившись к дряхлому дереву стены, на краешке дамбы, рядом с заросшим бурьяном кирпичным кульвертом и ржавыми ковш-колесами, которые переправляли когда-то воду из дрены в Лоуд, сидела Мэри: в красную шашечку юбка, колени к подбородку, руки в замок — и ждала меня.

Когда заилилась старая дрена — дальше к северу выстроили новую насосную станцию, и ветряк стал не нужен, — земля в округе, губчатая и насквозь пропитанная водой, стала пригодна только для летнего выпаса. Так что Мэри коротала время в компании двадцати или чуть более коров, которые пощипывали сочную травку и роняли свои лепехи на всем участке между ней и тополевой рощицей. Коровы были собственностью фермера Меткафа, чья основная специализация была по части картофеля и свеклы; но, не желая терять даром ни акра земли, он держал еще и маленькое стадо фризской породы, которое, что ни лето, бродило по окрестностям Лоуда, — а молоко отправлял на маслобойню в

Эптон. Так что мы с Диком выросли отнюдь не на материнском молоке, а на молоке фермера Меткафа. И Мэри тоже вскормлена была не материнским — к несчастью, — а исключительно отцовским молоком.

Потому что Мэри была фермерская дочка. Ее отцу принадлежали пахотные земли, набухшие сейчас кремово-белым туманом — цветет картофель, — и, поверни Мэри голову чуть влево, она как раз бы их и увидела за узкой, отделяющей выгон от пашни канавой. А прямо перед ней, спрятанные за тополевой рощицей и за изгибом дамбы, стояли и кирпичный дом Харольда Меткафа, и все надворные и хозяйственные (ферма) постройки, врезанные прямо и просто в окружающий плоский ландшафт, как это принято у местных фенлендских ферм, в отличие от ферм в детских книжках с картинками, приуюченных, обустроенных этаким гнездышком. Ферма Полт-Фен существовала с тех самых пор, как Томас Аткинсон осушил этот самый Полт-Фен и Меткафы, выстроившие здесь в 1880-м новый кирпичный дом, купили ее когда-то у прежних, первых владельцев.

Ферма Полт-Фен, как и большинство местных ферм, была небольшая, но компенсировала

этот недостаток интенсивностью методов. В обычные времена Харольд Меткаф держал в найме троих постоянных работников, не считая вспомогательного контингента красноруких, сквернословящих на каждом шагу сезонников — на время долгого и дурно пахнущего зимнего сбора свеклы. Теперь, однако же, летом 1943 года, ни постоянных, ни временных рабочих в округе было не сыскать, за исключением разве что хромой и одноглазой разновидностей. Взамен Меткафову ферму, и все окрестные фермы тоже, облюбовали перелетные стаи «землячек» [6], в спецовках, саржевых рабочих брючках и туго повязанных на голове легких шарфах — руки постепенно загорают и наращивают мускулы, городской шик-блеск тает день ото дня под жарким летним солнцем. Разбитые грузовики каждый божий день переправляют их из общежития в Эптоне и Уэншаме туда, где их ждет фронт работ — под ухмылки и кошачий мяв аборигенов. Тогда говорили, что «землячки» принесли с собой в наше фенлендское захолустье атмосферу падения нравов и подспудной, пропитавшей в одночасье

[6] Примечания: 6

Land girls — во время войны городские девушки, заменившие (по специальной государственной программе) на сельхозработах мобилизованных мужчин.

всех и вся сексуальности. Но подспудная, пропитывающая всех и вся сексуальность — кому, как не вам, дорогие дети, об этом знать, — она ведь всегда тут как тут.

Фредди Парр клялся и божился, что добился-таки полного взаимопонимания с одной из мигранток — с золотистым отливом шатенки и вообще красавицы по имени Джойс, чей выставленный — сельский труд — в небеса и прекрасно оформленный круп Фредди часами созерцал с высокого берега Лоуда. И по правде говоря, эти самые ленд-герлз, после того как с них сошел первоначальный на-драной-козе-не-подъедешь первая-леди-на-выезде лоск, были совсем не прочь помахать нам, местным ребятам, ручкой, не делали секрета из своих имен и делили с нами свой прихваченный из общежития завтрак (хотя настойчивые приглашения на обычные наши заплывы по Хоквелл-Лоуду наталкивались на столь же неизменный отказ). И то сказать, эта самая золотистоволосая Джойс имела обыкновение с этакой снисходительной улыбкой помахивать рукой лично Фредди Парру (ей, вероятнее всего, льстило его пристальное — издалека — внимание); и стушевалась только раз, когда заметила, как Фредди (которому едва исполнилось в то вре-

мя четырнадцать лет) не только отмахивал себе руку в радостном приветствии прекрасной даме, но другой рукой одновременно творил нечто весьма недвусмысленное в районе собственной ширинки. После чего Джойс совсем перестала появляться на полях в окрестностях Хоквелла.

Так что Фредди Парр, вне всякого сомнения, врал.

А теперь Фредди Парр, что там ни говори, умер.

А эти самые ленд-герлз были, во всяком случае, не про нашу честь. Их, наработавших за день чувство здоровой усталости, подхватывали по вечерам бродившие по округе летчики с окрестных авиабаз, застрявшие по случаю непогоды на земле. И если барышни с готовностью падали в объятия лихих героев Поднебесья, никто ничего не имел против, мало того, это даже приветствовалось, поскольку смелые летуны могли назавтра же и умереть.

Но ведь и Фредди Парр тоже умер.

Фермер Меткаф не тешил себя досужей мыслью обзавестись на время войны добровольным гаремом. Человек суровый, сдержанный и практичный, он смотрел на этих барышень как на эрзац рабочей силы и не делал скидок ни на пол,

ни на те патриотические мотивы, что привели их на его поля. Подобающей компании для своей единственной дочери он в них тоже не видел. Долгие годы, со всем воловьим прилежанием доброго картофеле и свекловода, втайне примеривающего на себя роль сельского джентльмена, он пресекал малейшие с ее стороны попытки помочь ему на полях или, по хозяйству и превратиться в итоге в типичную фермерскую дочку — солома в волосах и коровье дерьмо на подошвах. С прицелом сделать из нее в конце концов элегантную и хорошо воспитанную леди, воплощение всего того, что выше картофеля и свеклы, он за свой счет отправил ее учиться в Гилдси, в монастырскую школу Св. Гуннхильды.

Потому что Харольд Меткаф был не только фермер с понятиями, он был еще и католик. То есть он женился когда-то на католичке — факт, который сам по себе мог и не оказать никакого влияния на суровый характер Харольда Меткафа, если бы миссис Меткаф не умерла на второй год после свадьбы. И вот, в память о ней — жениться еще раз у Харольда и в мыслях не было, а всем этим городским вертихвосткам окрутить его было явно не под силу — он воспитал в духе и в букве ее веры их единственную дочь. Отсюда понятно,

что иначе как Мэри девочку назвать и не могли, и что, будь его воля, Харольд Меткаф сделал бы из нее маленькую мадонну, из которой со временем должна была бы вылупиться принцесса. И Мэри, очень может быть, даже и согласилась бы с отцом в этих его святых начинаниях, в результате чего сделалась бы в конце концов рафинированной и дистиллированной копией собственной матери, имей она о собственной матери хоть наималейшее представление. Потому что мать Мэри умерла, рожая Мэри. И вполне вероятно, что именно эта общая беда — отсутствие матери — и сблизила их (помимо прочих факторов) с Томом Криком.

Итак, фермер Меткаф, провидя в дочери наклонность к разным Возвышенным Штукам, но едва ли снизойдя обратить внимание на ее собственное по этому поводу мнение, отправил ее в монастырскую школу для девочек Св. Гуннхильды (куда как более элитную по сравнению с Женской средней школой Гилдси), твердо веря, что его затраты и его усилия окупятся сторицей. Точно так же и его сосед, Хенри Крик, скромный смотритель при шлюзе, видя, как его меньшое дитя, безо всяких там финансовых затрат и даже усилий со стороны родителя, получило стипен-

дию для учебы в Классической гимназии Гилдси (Мужской) и зарылось в книги по истории, пришел к прямо противоположному заключению — мальчик сам знает, что ему нужно, — но с тем же самым результатом: он начал бдительно и даже со своего рода чувством вины следить, чтобы этот его сын не пачкал руки о землечерпалки.

Но у Хенри Крика была в свое время жена, которая Харольду Меткафу вполне годилась бы в дочери и в которой он так же мог бы не чаять души…

Вот так и получилось, что познакомились мы с Мэри Меткаф в маленьком — из четырех вагонов — поезде, который останавливался на станции Хоквелл (можно камнем добросить до переезда и до Джека Парра у сигнальной будки) и дальше шел через Ньюхит на Гилдси. И что, под стук колес и пролетающие за окном облачка густого пара, стали понемногу проявлять себя некие неукротимые, неудержимые под спудом симптомы, и приходилось принимать меры, скрытые или явные, чтобы выпустить пар.

И все-таки задолго до того, как эти робкие, но эпические по дерзновению своему шаги сломали лед, ваш будущий учитель истории по уши влюбился в Мэри Меткаф. Долгое время чувство,

двигавшее им, возносило ее в его глазах на невероятную, недосягаемую высоту, отчего он делался задумчив и мрачен.

Он застенчив, он робок — этот едва оперившийся подросток. Он склонен к печали. Он уверен, что его судьба — томиться, тосковать издалека. Но откуда он такой взялся? Откуда в нем эта печаль? Откуда эта пропасть между ним и миром (которую он, к худу ли, к добру, пытается заполнить книгами)? И как так могло получиться, даже тогда, когда нельзя было не заметить определенных знаков внимания, — что Мэри Меткаф тоже, судя по всему, способна испытывать к нему какие-то чувства (поскольку скрытность и тоска во взоре не могли не окружить его ореолом тайны, а против тайны Мэри устоять не может) — неужто это все и в самом деле происходит? И эта заоблачная девочка…? И он…?

Потому что его мама умерла не так давно. Потому что она умерла, когда ему было девять. Мама Мэри тоже умерла, но Мэри не может сказать про себя, что она грустит по маме, она ее просто не помнит. В то время как сын смотрителя своей тоски изжить еще не успел.

Итак, пожалуй, даже в большей степени, чем фермер Меткаф, Том Крик возвысил Мэри до

звания — в полном противоречии с фактами — мадонны-недотроги (обратите внимание на красное Святое Сердце, символ блаженной св. Гуннхильды, которое так дразняще, так двусмысленно горит на нагрудном кармашке ее школьной курточки). При том что он знает — у него есть доказательства, — что Мэри Меткаф вовсе не зашуганная монастырская скромница. И Мэри Меткаф тоже в курсе, что хотя Том Крик и платонического склада и голова у него тоже на месте, но…

Итак, Большую Восточную железную дорогу, благодаря которой эти двое по два раза в день оказывались в самом тесном соседстве — она в ржаво-красной школьной форме, он в чернильно-черной, — имеет смысл винить и в том, что ослабли запреты, которые без вагонных дружеских толчков и рывков могли бы остаться в неприкосновенности, и в слиянии судеб, которого в противном случае могло бы и не произойти. Потому что, в то время как тень паровоза — утром тяготеющая к западу, вечером к востоку — оглаживала на ходу свекольные поля, недосягаемое оказалось достижимым. Ряд предубеждений постепенно (и отнюдь не безболезненно) развеялся, ряд неуверенных шагов встретил чуть

более уверенное одобрение, и наконец (пусть на это потребовалось два года железнодорожных странствий) была достигнута несомненная и взаимная — хоть и с обязательной пугливою оглядкой — близость.

А спрашивается, к чему уж такая особенная осторожность — в этих поездках до школы и от школы обратно домой? Зачем мы всякий раз аккуратнейшим образом выбирали вагон и купе, и часто в последнюю минуту меняли и то и другое (что, конечно же, только лишний раз привлекало к нам внимание)? Почему иногда на обратном пути мы специально пропускали поезд десять минут пятого из Гилдси и ждали следующего, из Ньюхита, не только избегая таким образом обычной давки, но и давая шанс случиться всяким разным глупостям, пока мы шли пешком из Гилдси, перебирались через грязно-серую Узу, мимо гниющих лихтерных причалов в Ньюхите, вдоль обсаженных деревьями полей сельдерея и лука?

Потому что в поезде четыре десять мы могли попасться на глаза Фредди Парру, или Питеру Бейну, или Ширли Элфорд, не говоря уже о прочих разных одногодках из Хоквелла и Эптона, ученикам по большей части средней общеобразовательной школы Гилдси (синяя форма) и

средней городской школы Гилдси (темно-коричневая с зеленым).

И прежде всего Фредди Парру. От Фредди Парра не было спасенья. Фредди был человек вредный и острый на язык. Фредди к половине пятого пополудни зачастую бывал уже пьян — а виски он крал у отца, а тот, в свою очередь, всяческими неправедными путями добывал его на американской авиабазе. У Фредди в шестнадцать лет был ум сформировавшегося повесы и комплекс насчет размеров собственного члена — каковой ничем особенным не выделялся. Фредди и меня вполне бы мог затюкать, если бы я не знал, что я-то умею плавать, а вот Фредди — нет: серьезный недостаток, когда кругом одна вода. Но оставались масленые глазки Фредди Парра и его охочий до сплетен язык. Потому что Фредди, ни минуты не задумываясь, тут же побежал бы докладывать моему братцу, что в поезде на Гилдси мы с Мэри всегда сидим (и не только сидим) вместе. Потому что к лету 1943 года вся округа знала (а я прежде прочих), как Дик Крик шатается по вечерам один вдоль по берегу Хоквелл-Лоуда, и все-то в сторону фермы Полт-Фен.

Фредди с радостью заронил бы в душу Дика семена отмщения за собственные не сбывши-

еся в отношении Мэри прожекты, если бы не боялся, что Дик может заподозрить его самого, что постыдная роль сводника вызовет в Дике гадливость; и просто потому, что на Дика он взирал с восторгом и ужасом. Потому что Дик Крик — и слухов об этом ходило не меньше, и даже собственный брат не взялся бы их опровергать, — был обладатель сказочных габаритов члена. И если бы я не был так уверен, что, окажись у Дика член размером хоть с берцовую кость, он все равно знать не знает, куда его приткнуть; не верь я простодушно, что братья, в конце концов, все-таки братья; не придерживай Фредди Парр благоразумно язычок; и если бы еще я так не дорожил своей Мэри, что — нет бы из ревности сделать исключение, промолчать — я фактически сам взлелеял в ней восхищение и Диком (ибо она, как известно, не могла устоять перед тайной) и в особенности его диковинных размеров анатомией, — я, пожалуй, и впрямь боялся бы Дика.

Боялся бы, как стал бояться позже, после того как мы вынули из реки тело Фредди с двумя кровоподтеками на голове, старым и новым…

Но в каникулы, когда Большая Восточная больше не давала нам свободы длить железнодорожные наши рандеву, мы встречались ближе

к вечеру у развалин ветряка, подле тополевой рощицы, за изгибом Лоуда, вне поля зрения фермерского дома Полт-Фен.

Почему именно там? И почему ближе к вечеру?

Потому что именно здесь однажды в августе 1942-го (поражение в пустыне; немецкие подлодки блокируют Британию со всех сторон) мы впервые исследовали, не без трепета, но в полном взаимном согласии, то, что называлось между нами в те времена «дырочками» и «штуками».

Опасливо, но следуя в том числе и желанию Мэри, я ввел самый кончик указательного пальца в устье этой самой дырочки и был несказанно удивлен, насколько же слово «дырочка» неадекватно тому, что я встретил. Потому что дырочка у Мэри имела свои складочки и завитки, и, как мне показалось, два входа, ложный и настоящий, и — когда я нашел настоящий вход — тот обнаружил способность менять и форму свою, и текстуру при первом же моем прикосновении, а за ним угадывался влажный и глубокий лабиринт извилистых потайных ходов. Темные курчавые волосы у Мэри между бедер — совсем недавно пустившиеся в рост, — залитые ярким светом ласкового фенлендского солнышка, имели, при ближайшем

рассмотрении, выраженный медный оттенок. Я окунул палец в дырочку Мэри до первой, потом до второй костяшки; потом и второй палец тоже. И они шли гладко, даже более чем гладко, потому что дырочка у Мэри обнаружила охоту глотать, засасывать; своего рода жадность, которая на мгновение заставила меня застыть. Но главным и самым что ни на есть удивительным свойством этой дырочки была способность посылать волны чувственной дрожи не только вверх и вниз по телу Мэри, но и но моим членам тоже; и не оттого, что мне каким-то образом передалось ее возбуждение; скорее это было похоже на электрический ток, который бежал по моей руке, вспышкою зажег лицо и аккумулировался в той части тела, к которой Мэри параллельно со мной — хм — приложила руку.

Ибо с тем же напором, с которым я изучал ее дырочку, Мэри исследовала мою штуку. Если честно, из нас двоих она была смелее. Это у нее у первой зачесались руки и давно уже занялись делом, прежде чем я, да и то по ее настоянию — она и взяла мою ладонь, и направила, и по-убрала с дороги вверх и вниз всякие там разные одежки, — пустил в ход свои.

Мэри не терпелось. И это ее нетерпение было

исключительно от любопытства. Любопытство бродило в ее пятнадцатилетнем теле, скреблось и щекотало изнутри, и глаза у Мэри делались как у пьяной, а руки — суетливыми. Любопытство рождало в ней желание — превыше всяческих запретов — трогать, наблюдать, переживать все то, чего она не знала, что от нее скрывали. И, дети мои, улыбочки ваши тут совершенно излишни. Любопытство, которое, помимо прочего, именно и отличает нас от животных, есть ингредиент любви. Жизненная сила. Любопытство, которое заставляет нас с головою уходить в раздумья, а кое-кого доводит даже и до написания книг по истории, может при случае, вроде как тогда, ближе к вечеру у Хоквелл-Лоуда, открыть перед нами то, что мы редко наблюдаем в чистом виде — потому что чаще всего оно рядится (мертвые тела, багры с крючьями) в одежды страха: великое Здесь и Сейчас.

Когда я закончил исследовать ее дырочку, Мэри перешла к следующей стадии нашего с ней служения во имя любопытства, она перешла от дел к слову. Она говорила о плевах и о месячных. У нее раз в месяц из дырочки шла кровь, и она этим гордилась. Она хотела показать мне, как идет кровь. Она хотела, чтобы я видел. И пока она

говорила обо всех этих таинствах и о других таинствах тоже, покуда солнышко светило на медного отлива волосы, я подумал (а может, и Мэри подумала о том же): вот все открыто, все доступно взору; ничего нет тайного, здесь и сейчас, в этом пейзаже-ничто. Мы, в Фенах, ничего не прячем — поскольку знаем, что Бог — он смотрит.

В старой мельнице у Хоквелл-Лоуда любопытство и невинность подали друг другу руки. И занялись изучением дырочек. В ее щербатых деревянных стенах мы в первый раз произнесли волшебные, магические слова, от которых пустой и полый мир начинает вдруг казаться наполненным, под самый край, как перчатка на руку, как в дырочку входит предмет: я люблю — я люблю — Любовь, любовь… И может так случиться, что и мельница, пустая и заброшенная с тех пор, как наступила эра паровой и дизельной тяги и Лимское товарищество по дренажу в мудрости своей пересмотрело систему водооткачки, обрела в нас, в нашем присутствии, свой новый мельничный смысл жизни.

Но Мэри было тогда пятнадцать лет, и мне было столько же. То был доисторический, пубертатный период, когда нас с Мэри инстинктивно, безо всякой предварительной договоренности влекло

в место наших свиданий. Как так вышло, что всего-навсего год спустя свидания стали предметом договоренностей и строгих расчетов; что в летние месяцы мы встречались, чтобы любить друг друга (а иногда и просто поболтать) строго с трех и до половины шестого?

По двум причинам. Потому что с трех и как минимум до половины шестого Дик все еще работал на своей землечерпалке, наблюдая, как поднимается со дна Узы напитанный водою ил. А потому, если прибавить время на мотоциклетный пробег до Нью-Аткинсон и на ужин, он никак не мог начать — прошу прощения за плоский каламбур — кавалерские свои рейды вдоль Хоквелл-Лоуда по меньшей мере до семи часов вечера. В половине седьмого Мэри садилась за свой собственный ужин на ферме Полт-Фен, под суровым взглядом отца, которому только и оставалось, что качать всякий раз головой (уговоры он давно уже оставил), какая, мол, непутевая растет у него дочка; и по сей причине предоставить себя в распоряжение ухажера могла не раньше половины восьмого. А я к этому времени давно уже сидел, уткнувшись носом в книжки по истории.

Во-вторых, чтобы уйти от Фредди Парра. Потому что, хотя Фредди Парр, ученик средней

общеобразовательной школы Гилдси, пользовался, как и мы, положенной летней свободой, по будням, после обеда, он чуть ли не каждый день выполнял для своего отца, сигнальщика и смотрителя железнодорожного переезда в Хоквелле, определенного рода работу и получал за это кучу денег на карманные расходы; тем самым Фредди Парр заработал себе не одно очко в плюс по сравнению со всеми нами, окрестными подростками, чьи собственные фонды (за исключением Мэри Меткаф — пока ее отец не прикрыл эту лавочку) можно было вообще не брать в расчет, и по той же самой причине он, правда очень недолго, держал у нас монополию на разные через черный рынок приходившие товары, от «Лаки Страйк» и до презервативов.

В половине третьего, или около того, Фредди выходил из Хоквелла с одним, реже с двумя мешками под мышкой. Оставив дома свой велосипед — он ведь никогда не знал, не окажутся ли на обратной дороге мешки чересчур тяжелыми и громоздкими, — он шел сперва по дороге, а потом через поля по направлению к Уошфенской топи, а вернее, к тростниковой хижине посреди болота, в которой жил все лето напролет Билл Клей, тот самый, чей возраст так и остался для нас для всех

тайной.

Тайна была еще и другая — что может связывать между собой Билла Клея и Джека Парра; вот разве какие-нибудь прошлые заслуги. Вот разве что Джек Парр, человек суеверный, а даже и отцу было по этой части до него далеко, когда-то, еще мальчишкой — задолго до того, как он сделался кадровым сигнальщиком, — все так же бегал в гости к старому браконьеру (он и тогда уже был старый) и, как никто другой, умел пить с ним на пару убойный чай на маковом отваре и слушать его маловнятные для чужого уха байки. Но все в округе знали, что теперешние отношения между Джеком Парром и Биллом Клеем носят сугубо материальный характер. Что Джек Парр, известный своим умением посылать во все концы Большой Восточной не предназначенные для чужого уха весточки и получать таким образом из близка и далека самого разного сорта не подлежащие досмотру посылки, на каковые передачки дорожная охрана закрывала глаза, просто-напросто снабжал Билла кое-какими товарами, которых было не достать в тогдашние скудные времена. И что мешки, с которыми Фредди Парр бегал на Уошфенскую топь, далеко не всегда бывали пусты, а попадались в них иногда и канистры с

дымным порохом, и бутылки с ромом или виски.

Билл Клей всю жизнь бил на Уошфенской топи уток в зимний паводок. Летом, когда утки не летают стаями, он впадал в спячку, как, собственно, и топь, которая местами превращалась просто в заросшую стоячую лужу с тухлой водой, и тогда ловил себе угрей и ставил в камышах силки. Мешки с зимней своей добычей Билл Клей совершенно легально отправлял на рынок, но вот летние мешки продавались здесь же, по своим, и безо всякой лицензии — к вящему возмущению инспекторов из Министерства питания. Время от времени к нему из Гилдси, из тамошнего управления по пищевым ресурсам, приезжал чиновник, чтобы в очередной раз попробовать поговорить с ним о патриотических чувствах и о «честной игре» в суровые дни всеобщей карточной системы; и натыкался на ствол допотопного, со ствола заряжающегося, шестого калибра Биллова дробовика, который просто жить не мог без регулярных поставок черного пороха.

Для этой самой незаконной летней дичи и были предназначены мешки Фредди Парра. Дело в том, что Джек Парр был у Билла Клея главный покупатель. И буквально через пару часов после того, как Фредди возвращался домой с добычей,

мешок или мешки с битой птицей уже тряслись себе в вечернем поезде по направлению к одной ничем не примечательной станции на Майлденхоллской ветке. Оттуда (охранник и начальник станции тоже были в доле) их забирал армейский джип военно-воздушных сил Соединенных Штатов, водитель коего доставлял дичинку на близлежащую базу, к офицерскому столу, офицеры же принимали ее, в кулинарной интерпретации ординарцев, за традиционное местное блюдо и отводили душу перед тем, как уйти в очередной безумный дневной вылет и умереть — или вернуться, чтобы дожить до очередного пира. За регулярные эти банкеты офицеры готовы были платить по хорошим американским ставкам; и каждую неделю поезд вез в обратном направлении с приветом от того же самого капрала в джипе когда продукты, когда табак, но неизменно, что для Джека Парра было превыше всего, энное количество бутылок старого американского бурбона «Кентукки Гранд-дэд».

Джек Парр не имел права оставить без присмотра сигнальную будку и переезд. И уж раз в два дня, между половиной третьего и половиной пятого, Фредди Парр непременно отправлялся к Биллу Клею на болото. Он вынимал из меш-

ка контрабанду и отдавал ее из рук в руки. А потом они на пару отправлялись в обход вдоль по кромке Уошфенской топи. Пока мы с Мэри нежились в развалинах старого ветряка, Билл Клей проверял силки. Если в силках была птица, он брал ее твердой, но и ласковою браконьерской хваткой, выпутывал, а потом небрежным движением руки — как будто встряхивал салфетку — сворачивал ей шею. Фредди тоже научился у него этой хитрости, по крайней мере он так говорил. Пока мы с Мэри предавались ласкам, которые, утратив исследовательский характер, приобрели взамен характер изобретательский, третья, четвертая, шестая и так далее по счету птица, пойманная за ногу или за шею, дергалась, заслышав человеческие шаги, билась, хлопала крыльями потом успокаивалась под заскорузлой рукой Билла Клея и отправлялась в расход. Нет никакого сомнения в том, что по ходу дела Билл Клей говорил, а Фредди, конечно же, слушал. Потому что Фредди, который был болтун просто невероятный, отчего вся округа и знала о малейших нюансах сношений между Джеком Парром и военно-воздушными силами США, охотно рассказывал нам — мне, Мэри и прочим — про Билла Клея, и разобраться, что он выдумал, а что нет,

не было никакой возможности. О том, что Билл, который, может, и не самый мудрый человек на свете, зато уж точно самый необыкновенный. О том, как он ест водяных крыс и гипнотизирует животных; как он дожил до ста с лишним лет; как он все-все знает про поющих лебедей. Как он уходит из дому и неделями живет в крошечной тростниковой хижине на болоте, но тем не менее все еще «женат» на Марте Клей и они еще «занимаются этим» (видели бы вы, вот это, я вам скажу, зрелище) под открытым небом в камышах.

Но я, со своей стороны, никогда не рассказывал Фредди о том, чем занимались мы с Мэри летом, ближе к вечеру.

Фредди Парр. Мой родной брат. Теперь вы понимаете, какая передо мной стояла дилемма — и сколько всего любопытного обреталось вокруг Мэри. И почему я был вынужден встречаться с ней только в особом месте и в специально оговоренное время.

Но двадцать шестого июля 1943 года я на свидание опоздал. Потому что — потому что, короче говоря, Фредди Парр был мертв. А Мэри сидела на корточках, на самом краешке выступа дамбы у ветряка, колени к подбородку, руки в замок,

возбужденная, и раскачивалась взад-вперед. Вряд ли, честно говоря, возбуждением нетерпеливой любовницы, которая ждет не дождется свидания. Потому что она уже, наверное, знала — потому что теперь уже весь Хоквелл, наверное, знал, — но для возбужденности, для волнений у Мэри была и еще одна причина. Вот уже три недели, как сомнений не осталось никаких. Потому что Мэри — если вы еще не догадались сами — была беременна.

Обогнув тополевую рощицу, я свел велосипед вниз по дамбе, уронил его в траву и пробежал последние несколько шагов, потому что под ногами был склон, пока земля не стала ровной, а потом побежал дальше, запинаясь и проваливаясь в ямки, хотя бежать уже никакой необходимости не было, краем луга от дамбы к мельничному выступу.

Простая, однако же и аллегорически-назидательная сцена, в которой Мэри и я обнимаем друг друга, чтоб утвердить силу нашей любви перед лицом внезапных ударов судьбы и бренности людской нашей плоти, перед лицом смерти друга. Не состоялась. Мэри так и не разжала сплетенных на голенях рук. Потому что старый синяк на новый синяк…

«Мертвый, Мэри. Мертвый. Прямо там, на бечевнике. Мертвый. Я видел своими глазами».

Но она обрывает меня, поднявши голову, оторвав подбородок от обтянутых юбкой колен. Темно-каштановые волосы. Дымчато-голубые глаза. Она, должно быть, и правда смелее меня. Никаких лишних чувств. Факты. Факты.

«Слушай — кто-нибудь что-нибудь говорил? Твой Отец? Полицейский?»

«В смысле?»

«О том, как Фредди умер».

«Утонул».

Мэри прикусывает нижнюю губу.

«О том, *как* он утонул».

«Упал в реку. А плавать не умел, разве не так?»

Старая школьная уловка. Играй в невинность: и ты ни в чем не виноват. Играй в незнание: все будут думать, ты ничего не знаешь.

Но Мэри снова прячет лицо в коленях. Качает головой. Шелестят тополя. Когда она поднимает голову, впечатление такое, что она вдруг стала в три раза старше меня, что она теперь хорошо пожившая женщина, с жестким застывшим лицом, с прошлым. А потом до меня доходит: это оттого, что в лице у нее чего-то не хватает. Любопытства.

«Фредди не сам упал. Кто-то его столкнул. И столкнул его Дик».

«Мэри».

«Я видела их вчера вечером, у пешеходного мостика. Фредди был пьяный».

«Но…»

«Потому что я ему сказала. Потому что, рано или поздно, он все равно бы узнал. Я сказала ему. Он просто весь светился от радости. Потому что подумал… А я сказала, Нет, Дик. Не твой. А теперь мне кажется, лучше бы я сказала „да“. Если бы я сказала „да, твой“… Тогда он стал смотреть на меня, и мне нужно было что-нибудь сказать. Я сказала, что это Фредди. Я сказала ему, что это от Фредди».

Я смотрел на Мэри. И пытался понять. И параллельно думал: Дик пришел вчера около половины девятого, а потом опять ушел, и что-то у него там было, в кармане ветровки.

А Мэри, наверно, показалось, что я ей не верю.

«Я так сказала, чтобы защитить тебя. Может, и не надо было».

Она опускает подбородок на колени, потом опять смотрит вверх, на меня, с видом мученицы.

«Правда. Я ему сказала, что это был Фредди. Дик

убил Фредди Парра, потому что думал, что это он. Значит, мы с тобой тоже виноваты».

Коровы на лугу ушли за поворот, за изгиб реки. Пейзаж опустел.

«Откуда ты знаешь?»

«Потому что я знаю Дика».

Я посмотрел на нее.

«Это я знаю Дика».

«Значит, плохо знаешь».

«Я, наверное, вообще ничего не знаю».

Мягкие, как вата, облака плывут по июльскому небу. Мы им не мешаем — целую минуту.

«Мэри — а он на самом деле от Фредди?»

«Нет, не от Фредди».

Но у меня есть еще о чем спросить.

«От Дика?»

«Да не может он быть от Дика».

«Откуда ты знаешь?»

«Потому что, — она смотрит в землю, — потому что он был слишком большой».

«Слишком большой?»

«Слишком большой».

«Чтобы войти?»

«Да».

«Но если он был слишком — почему тогда он думал…?»

«Сам знаешь, все ты знаешь. Потому, что он все равно не знает как. Он думал, что если просто думать об этом, то все и получится. Он думал, что дети родятся — если просто любить».

Но у меня есть еще о чем спросить. Потому что я не верю, что, если Дик не знал как, Мэри бы его не научила.. Так, значит, Дик за этим ходил по вечерам на Лоуд? Учиться? А мы-то с Мэри так его жалели. Бедный Дик, Дику не дали ничему научиться… Бедный Дик, который пытался понять, что такое любовь.

Все это — плюс Мэри с ее вечным зудом любопытства. Которое куда-то вдруг подевалось.

«Он был слишком большой. И никак… Но ведь сейчас не это главное, а?»

И у меня все так же вертятся в голове вопросы, когда мы расстаемся на берегу Лоуда и Мэри уходит прочь, ни разу не оглянувшись, в сторону фермы. Каштановые волосы; прямая осанка; плоская земля. Я не знаю, что мне думать, чему верить. Суеверие — дело нехитрое; понять, где реальность, — вот где главная трудность.

И вопросы все вертятся, вечером, на берегу реки, под ивой, пока я смотрю, как Дик копается в моторе. (Нет, сегодня он на Лоуд не пойдет.) Но в тот же самый вечер я вылавливаю из реки

странную на вид пивную бутылку. Я знаю, что там было, в этой бутылке. Я знаю, откуда она взялась. Из вопросов родятся умозаключения (которые страха, однако, не унимают). Итак, Дик возвращается со свидания с Мэри и уходит опять и что-то уносит с собой, в кармане ветровки. Подстерегает Фредди у мостика. Он знает, что Фредди, как и его папаша, никогда не откажется выпить, и, хотя Дик, все это знают, капли в рот не берет, он предлагает ему нечто особенное — пиво, равных которому нет. Чтобы Фредди, который и без того не умеет плавать, никак не смог выбраться. «Фредди выпить — на?» Они садятся на мостике. И для верности, прежде чем спихнуть его вниз, Дик бьет его пустой бутылкой. В правый висок. А потом швыряет в реку и бутылку тоже. И бутылка вместе с Фредди плывет себе вниз по течению…

Я беру бутылку и несу ее тайком на ту сторону заслонки, чтобы запустить ее еще раз в реку, чтобы она плыла себе и плыла, и, дайте время, может, добралась бы и до моря. Но в последний момент что-то меня останавливает. Я запихиваю бутылку за пазуху и проношу ее к себе в спальню. А ночью, перед тем как лечь спать и перед тем как Дик ляжет спать, я делаю еще кое-что, чего ни разу в жизни не делал. Я снимаю с гвоздя старый,

ржавый, ни разу не использованный ключ от комнаты и запираю дверь изнутри.

8
О ЖИВОТНОМ-СКАЗИТЕЛЕ

Я знаю, что вы чувствуете. Я знаю, о чем вы думаете, когда сидите вот так, рядами, со скучающим, или безразличным, или возмущенным, или снисходительным, или что-что-он-там-говорит видом, Я знаю, что думают дети, когда приходится терпеть режим урока истории, все эти по чайной ложечке отмеряемые дозы прошлого: «А как насчет Сейчас? Сейчас, мы живем Сейчас. Как насчет Сейчас?»

Перед вами лысеющий пятидесятилетний тип, Я он что-то там лепит насчет Ancien Re'gime [7], Руссо, Дидро и несостоятельности французской короны; у вас за спиной, за окном, серый зимний свет, пустая школьная площадка, и теряются в дымке многоэтажные дома… А вокруг вас затхлый воздух класса, в котором вы подвешены меж небом и землей и заперты, как в клетке, как животные, изъятые из естественной среды обитания.

---

[7] Примечания: 7
Старый режим (фр.).

Сейчас. Как насчет Сейчас?

Вот подал голос Прайс — в очередной попытке низложить Французскую революцию, разрушить разрушение — и говорит: «Смысл имеет только то, что существует здесь и сейчас».

Но что же такое, в конце концов, это пресловутое Здесь и Сейчас? Что такое этот неуловимый зазор между тем, что осталось в прошлом, и тем, что еще впереди; это вольное и легкомысленное настоящее время, в котором мы всегда пытаемся сыскать лазейку в бескрайнее будущее?

Сколько раз в жизни мы входим в это Здесь и Сейчас? Сколько раз оно наносит нам визиты? Оно приходит к нам так редко, что мы сначала даже и не узнаем его в лицо; вот и выходит, что Здесь и Сейчас — оно и есть сказка, а вовсе не История, чья субстанция по крайней мере определена и вовек неизменна. Потому что у Здесь и Сейчас не одно лицо. Именно Здесь и Сейчас в компании с Мэри Меткаф открыло мне когда-то на берегах Хоквелл Лоуда потаенную дверь в царства искренности и экстаза. Но ведь именно Здесь и Сейчас и сковало меня страхом, когда на пробитом багорным крюком правом виске Фредди Парра выступила лиловато-синюшная кровь и еще раз, когда после некоего свидания с Мэри

Меткаф я спрятал за пазухой рубашки пустую пивную бутылку и, забравшись к себе в комнату, запер за собой дверь.

И как же часто эти внезапные приступы Здесь и Сейчас вместо того, чтоб запустить нас в настоящее (что они, по сути, и делают, но только на очень короткий, головокружительно короткий промежуток времени), объявляют нас пленниками времени. Так что можете быть уверены: в тот июльский день сорок третьего года ваш юный учитель истории перестал быть ребенком. Так же как и в том, что, когда во времена Французской революции волосы Марии Антуанетты, которая играла когда-то в садах Версаля в прятки и прочие детские забавы, стали, за Один только переезд из Варенна в Париж, белыми, как овечья шерсть, она встретилась лицом к лицу не только со Здесь и Сейчас, но и с Историей, от которой уже не уйти.

И все-таки Здесь и Сейчас, которое приносит нам и радость, и страх, приходит крайне редко — и даже не склонно являться по нашему вызову. Так уж оно все устроено: в жизни полным-полно пустого места. Мы на одну десятую живая оболочка, на девять — вода; вот так и жизнь на одну десятую Здесь и Сейчас, а на девять — урок истории. Потому что большую часть времени Здесь и

Сейчас нет ни здесь, ни сейчас.

А что же делать, когда реальность — пустое пространство? Вы можете сами сделать так, чтобы хоть что-нибудь происходило, — и вообразить себе, со всеми возможными рисками, немного эрзац-событийности; вы можете пить и веселиться и не слушать, что там нашептывает трезвый разум. Или же, подобно Крикам, которые из водянистых своих трудов и дней всегда умели выцедить байку-другую, вы можете рассказывать истории.

То, что я стал учителем истории, напрямую связано с теми историями, которые мама мне рассказывала в детстве, когда я, подобно большинству детей, боялся темноты. Потому что, хоть она была и не из Криков, истории она умела рассказывать ничуть не хуже, и во всяком случае, о чем я тогда и понятия не имел — историко-архивные разыскания обнаружат данное обстоятельство много позже, — у нее были свои причины быть со сказками накоротке.

Мое первое знакомство с историей из первых, материнских уст было, таким образом, неотделимо от прочих ее, на сон грядущий, фантазий:

как Альфред спалил коврижки [8], как Кнут приказывал волнам [9], как король Карл спрятался в дубе [10] — так, словно история была забавной выдумкой. И даже школьником, когда я столкнулся с историей как с предметом школярских штудий и вынашивал в душе семена будущего моего призвания, меня все так же влекла в ней сказочная аура, и я верил, может быть, подобно вам, что история — не больше чем миф. До той поры, пока две-три встречи со Здесь и Сейчас не придали моим изысканиям целенаправленный характер. Покуда Здесь и Сейчас, схватив меня за руку, влепив мне затрещину и велев оглядеться, посмотреть, в какой я оказался каше, поставило меня перед фактом: история не выдумка, она существует, и я — ее часть.

---

[8] Примечания: 8

Здесь и далее речь идет об исторических или псевдоисторических анекдотах из отечественной традиции, известных в Англии буквально каждому школьнику. Альфред, англосаксонский правитель (коронован в 871 г.), создатель обширного королевства в южной части Англии. По преданию, в один из не лучших периодов своего царствования, спасаясь после поражения бегством, попросил приюта у бедной вдовы, которая как раз пекла в печи коврижки. Поскольку король был переодет для пущей безопасности в простое платье, та его, естественно, не узнала, но согласилась пустить на ночлег, если он, пока она будет заниматься другими делами, покараулит ее коврижки. Альфред, то ли отвлеченный известием о победе в очередном сражении, то ли просто утомленный после нескольких трудных дней и ночей, забывает коврижки в печи, и те, конечно же, сгорают. Вдова, вернувшись со двора, принимается охаживать его чем ни попадя. Альфред раскрывает инкогнито, но не карает испуганную до полусмерти женщину, а объясняет ей, что для

него нелады в государстве не менее важны, чем для нее — сгоревший ужин. Он обещает ей компенсировать изведенные продукты, а сам отправляется громить врагов — кстати, небезуспешно.

[9] Примечания: 9

Кнут, датский король времен оккупации северо-восточной части Англии данами (царствовал с 1016 г.). Устав от лести придворных, велел установить трон на берегу моря во время прилива, лицом к волнам, поставил перед собой самых отъявленных льстецов и спросил у них: если он сейчас прикажет волнам идти вспять, Станут ли те ему повиноваться? Льстецы принялись в очередной раз превозносить его всемогущество. Тогда Кнут поднял руку и действительно приказал волнам идти вспять, чего те, понятное дело, к сведению не приняли. Он еще раз спросил у придворных, станут ли волны повиноваться его приказам. Те были смущены, но ответили тем не менее утвердительно. Кнут выждал некоторое время, а потом, когда волны (а приливы в Англии — вещь небезопасная) уже докатывались до ног придворных, снова поднял руку и велел волнам идти вспять. Вместо этого очередная волна захлестнула и трон, и самого короля. После того как все благополучно добрались до берега, мокрый король объяснил вымокшим до нитки придворным разницу между лестью и уважением к правящей особе. Существует также и другая интерпретация сюжета, по которой Кнут предстает одержимым манией величия — и смысл сцены с волнами, естественно, радикально меняется.

[10] Примечания: 10

После казни в 1649 году короля Карла I роялисты провозгласили королем принца Чарльза, под именем Карла II — хотя реальная власть в это время находилась в руках Кромвеля. Эпизод с дубом произошел после очередного сражения, в котором роялистами командовал сам признанный едва половиной населения король, а «круглоголовыми» — Вустер. Роялисты потерпели поражение, и Карл был вынужден скрыться в дубовом лесу, где он и спрятался в густых ветвях старого дуба. Солдаты Кромвеля обыскали весь лес, прошли под «королевским» дубом, но Карла не заметили. После реставрации в 1660 году английской монархии Карл II становится «настоящим» королем и провозглашает в знак чудесного своего спасения дуб одним из символов английской короны. В настоящее время данный символ сохранился в основном в традиционных названиях пабов типа «Royal Oak» — «Королевский дуб».

Так я нашел свою Тему. Так я начал вглядываться в историю — не только в зачитанную до дыр историю большого мира, но и, с особенным пылом, в историю моих фенлендских предков. Так я начал требовать от истории Объяснений. Только для того, чтобы прилежные эти разыскания принесли с собой еще больше тайн, и чудес, и удивительных полунамеков к тем загадкам, которые мучили меня в начале пути; только для того, чтобы сорок лет спустя прийти к выводу — несмотря на совершенную убежденность в пользе и воспитательной значимости избранной мною дисциплины, — что история есть байка. И разве я могу отрицать, что в итоге-то я искал в истории не золотой самородок, не золотое сечение, которое она откроет мне в конце концов, а саму Историю: Великое Сказание, которое заполнит всякий вакуум и рассеет страхи тьмы?

Дети мои, это ведь только животные живут в Здесь и Сейчас. Только природе неведома ни память, ни история. Но человек — позвольте предложить вам дефиницию, — человек есть животное-сказитель. Куда бы его ни несло, он хочет оставить за собой никак не хаос, не закрученный вихрем кильватерный след, не пустое пространство, а бакены и навигационные знаки. Вот ему

и приходится сказывать сказки, ему приходится выдумывать их на ходу. Пока есть история про запас, все в порядке. Говорят, что даже и в свои последние моменты, в долгую, растянутую бесконечно секунду последнего смертельного полета — или перед тем, как утонуть, — он видит проносящуюся перед ним историю всей своей жизни.

И когда он сидит — времени больше, но страха не меньше, — а все вокруг идет ко дну, когда он сидит — спросите Льюиса, он вам расскажет, все только на благо детей — в ядерном бункере; или когда он просто сидит себе один-одинешенек, потому что женщину, которая тридцать лет была ему женой, а теперь не узнает его, и он ее не узнает, потому что эту женщину увезли и потому что школьники из его класса, его дети, которые когда-то — всякий раз напоминая о будущем — ходили к нему на уроки истории, а теперь они куда-то делись, он рассказывает, пусть даже самому себе, пусть даже слушателям, которых приходится специально для этого выдумать, он рассказывает историю.

Давайте я расскажу вам еще одну. Давайте я расскажу вам

9
О ВОЗВЫШЕНИИ ДОМА АТКИНСОНОВ

Некоторые говорят, что изначально они жили в Фенах. Но если так оно и было, то в незапамятные времена, устав от вечно мокрых башмаков и плоских горизонтов, они перебрались на норфолкские холмы и стали там простыми пастухами. И там, на норфолкских холмах (невысоких и более чем скромных, если сравнивать с другими холмами, но по фенлендским стандартам просто горные хребты), они обзавелись Идеями — чего у завязших по уши в грязи Криков почитай что и вовек не водилось.

Задолго до того, как Вермуйден прибыл в Фены и встретился с тупым упрямством местных жителей, пращур аткинсонов выносил, на блеющем своем склоне холма, идею сделаться бейлифом [11]; а его сын, урожденный бейлиф, выносил идею сделаться богатым фермером; а кто-то из

[11] Примечания: 11

Мелкий королевский чиновник, наделенный на местном уровне административном и судебной властью.

четвертого, пятого, не то шестого колена богатых на идеи аткинсонов, как только началось огораживание и об устойчивой цене на шерсть пришлось забыть, продал большую часть овец, нанял пахарей и взялся сеять ячмень, каковой на богатой мелом почве норфолкских холмов обильно шел и в рост, и в колос, и который он по осени продавал солодовникам, чтобы те из него варили пиво.

Вот вам и еще одно различие между Аткинсонами и Криками. В то время как Крики взросли из воды, Аткинсоны взросли из пива.

Та земля, которую пахал Джозайя Аткинсон, была особенная земля, либо же сам он знал секрет-другой, но вскоре по округе пополз слух, что солод, выгнанный из его ячменя, не только сам по себе отменный, но какой-то не такой, волшебный, что ли.

Славный — и неизменно добродушный — вест-норфолкский деревенский люд с удовольствием пил свой эль и, не имея возможности сравнивать и выбирать, искренне принимал его уникальные вкусовые качества за норму: а что, разве эль другой бывает? Но пивовары из окрестных городов и городишек, люди сметливые и с явной склонностью уже тогда к маркетинговым исследованиям,

выявили в ходе ряда разведывательных экспедиций местный эль, приняли его за образец породы и стали выяснять, откуда берется для этого эля солод. В свою очередь, местный солодовник, человек весьма простой, не смог удержаться, когда заезжие люди принялись хвалить его солод, и назвал источник ячменя. Вот так и вышло, что в лето 1751-е Джозайя Аткинсон, фермер из Уэксингема, Норфолк, и Джордж Джарвис, солодовник из Шевертона, заключили, по настоянию первого, но к вящей выгоде, как тогда казалось, последнего, соглашение о совместных расходах на покупку либо же наем фургонов, извозчиков и ломовых упряжек для доставки их совместного продукта к пивоварам Суоффхема и Тетфорда — и о разделе прибыли.

Джарвис и Аткинсон стали добрыми партнерами, и оба преуспели. Но Джозайя, который успел уже выносить еще одну идею, особо оговорил при заключении соглашения свое полное право посылать ячмень помимо Джарвиса в любое другое место, куда ему будет угодно. Аткинсоново чутье подсказало ему, что, ежели и не при его жизни, так при жизни его сына или внука, пивовары из торговых городов смекнут, как выгодно держать свои собственные солодовни, у себя же под рукой,

и что Джарвис, который свято верит в их общие с Аткинсоном деловые связи с этими самыми пивоварами, на этом погорит.

Так он и сделал — вернее, не он, а его наследники. Когда за Атлантикой только-только прозвучали первые выстрелы того, что вы знаете под именем Американской войны за независимость, Уильям Аткинсон, сын Джозайи, начал отсылать ячмень напрямую к пивоварам. Сын старика Джорджа, Джон, сбитый с толку, негодующий, но бессильный что-либо изменить, был вынужден вернуться к местной торговлишке. Его солодовня понемногу приходила в упадок. В 1779 году с прямотой человека, который следует неумолимой логике вещей, не больше и не меньше, Уильям Аткинсон предложил солодовню выкупить. Джарвис, вконец запутавшийся, сломленный человек, согласился. И с этого дня Джарвисы служили у Аткинсонов управляющими на солодовне.

Угрызения совести Уильяма нимало не беспокоили и ему только и оставалось, что довести до конца великолепную отцовскую стратагему. Он оседлал свою гнедую лошадь, надел треуголку и отправился с визитом к суоффхемским и тетфордским пивоварам. Что до ячменя, заявил он им,

так лучшего, они сами прекрасно знают, им во всей округе не найти; и недостатка в этом товаре тоже не будет (разве он не расширяет год от года свои ячменные поля?), но с этих самых пор ни один пивовар и близко его не увидит, вот разве только в виде готового солода с Аткинсоновых солодовен.

Пивовары спорили, поднимали брови, отталкивали свои резные дубовые стулья и закусывали глиняные трубки. А как насчет их собственных солодовен, на них ведь ушли немалые деньги, а строили их специально, чтоб было удобнее, ближе — как насчет них? Конечно, отвечал им Уильям, нет никакого смысла просто взять их и бросить, их нужно использовать дальше — для производства эля, который по качеству будет несколько ниже. А что же до удобства и близости — разве в былые времена его фургоны не были надежнейшим средством доставки?

Пивовары фыркали, хмурили брови, скребли под париками; и таки вынуждены были пойти в конце концов на компромисс. Начало 1780-х годов стало свидетелем неслыханного доселе ни в Суоффхеме, ни в Тетфорде. Эль стал отныне не эль, а двуглавое некое чудище, и одно его лицо было вроде как эль, но стоило на полпенни доро-

же, а второе, по старой цене, было незнакомое и — ну просто в рот не возьмешь.

И Уильям Аткинсон уехал, весьма довольный, после дальнейших консультаций с пивоварами — имеет, наверное, смысл представить себе, как он сидит у них в задних комнатах, под веселый перестук полных кружек. Потому что Уильям был обязан своим успехом не только провидческому дару отца, не только собственной своей сообразительности, но и обычному доброму — и заразительно доброму — расположению духа. Победил не только вострый выверт Уиллова ума, вместе с ним победила волшебная влага, которая пенилась в поднятых кружках и продолжала сиять и подмигивать, даже когда они говорили. Доброе расположение духа: разве не для этого в конечном счете он — и все они — трудились? И что теперь, примешивать к доброму расположению духа злость и недобрые чувства? Разве не мог он рассказать насупленным этим пивоварам, как однажды отец вывел его в ячменное поле, где ветер шелестел меж зреющих колосьев, как тысяча нижних шелковых юбок с оборками, и, нагнувшись пониже, наставивши ухо, сказал: «Слышишь звук? Слышишь теперь, да? Это развязываются языки, это смех звучит под сводами

пивных — это звук веселья».

Уильямовы фургоны с мешками солода громыхали по дорогам из Шевертона в Суоффхем и из Шевертона в Тетфорд. Со временем пивовары из Фейкенхема и Норича, не вложившие в свое время капитал в строительство собственных солодовен, также сочли, что посылать за солодом в Шевертон — дело стоящее и затраты окупит.

Но Уильям, который старел и начал уже мало-помалу передавать дела сыну, Томасу, знал, что успех не может длиться вечно. Прочим норфолкским фермерам понадобится не так много времени, чтобы разобраться в их с отцом фокусе с ячменем, и они станут соревноваться с ним за симпатии пивоваров. Кроме того, идеи у Уилла Аткинсона не перевелись. Ему грезилось, что в один прекрасный день Аткинсоны будут следовать за метаморфозами чудесного ячменного зернышка от самого начала до самого конца, не проводя его через третьи руки. Что бывшие пастухи, которые теперь пахали землю и мололи солод, возьмутся однажды варить пиво и оставят тем самым далеко позади всех этих сварю-себе-пивка-на-ужин крохоборов из Тетфорда и Суоффхема.

Вообразите сцену, отчасти схожую с той, где Джозайя и Уильям стояли когда-то и слушали,

что им скажет ячмень, но только теперь уже сам Уильям, оперевшись всем весом на трость, подзывает сына поближе и обращает его взгляд на запад, туда, где в дымчатой дали притаились Фены. Где богатая торфом почва, вроде той, что отвоевана у воды; так вот, хоть она и родит в избытке пшеницу и овес, приличного ячменя, вроде того что растет на этой вот, у них под ногами пашне, там не вырастить вовек. Он обводит вытянутой рукой горизонт и объясняет юному Тому, как тамошние люди покупают солод в холмистых землях южного Кембриджшира, Хертфордшира и Бедфордшира. Хороший там ячмень, и солод тоже прекрасный, если не брать в расчет, что, пока его довезут на баржах вниз по Кему и Узе, он обрастает таким количеством пошлин, что выходит чуть не золотой; и что из-за естественных неудобств этих двух рек, которые имеют дурное обыкновение прорывать берега, менять русло и то и дело забиваются илом, нужно иметь в виду: поставки ненадежны, часто груз не приходит в срок, а если приходит в срок, то не в самом лучшем состоянии. Короче говоря, фенмены платят дорого за более чем скверный эль, да и тот бывает не всегда. Более того, как будто прочего мало, Фены — место уж такое отсталое и

такое там бездорожье, что мало кто из фенменов может добраться даже и до того эля, какой есть.

Глядя с вершины холма на хозяйский — и пророческий — манер (вот тут-то, кстати, наверное, и нужно искать причину, отчего это я, когда пытался представить себе Бога, который, по словам отца, далеко глядит во все стороны, видел иногда красное, со щеками-яблочками лицо под треуголкой и седые волосы, собранные сзади, по моде восемнадцатого века, в тупей), глядя вниз с норфолкских своих высот, Уильям хватает сына за плечи и говорит ему что-нибудь вроде: «Мы должны помочь этим бедным волглым фенменам. Чего им там недостает, в этих чертовых болотах, так это лишней толики доброго расположения духа. Не могут они жить одной водой».

Представьте еще и такую сцену: в тесноватой гостиной фермерского дома, который Джозайя выстроил из красного кирпича в 1760 году (и который все еще стоит, на георгианский солидный манер, на окраине Уэксингема), Уилл разворачивает карту, нарочно купленную для такого случая в специализированном кембриджском магазинчике, и обводит заскорузлым орехового цвета пальцем район реки Лим. В центре оказывается Гилдси, небольшой городок у самого

места слияния Лима и Узы. Он сравнивает расстояние, если по Лиму, от собственной фермы до Гилдси с расстоянием, если по Кему и Узе, от южных обильных ячменем холмов. Он привлекает внимание сына, карта здесь, собственно, уже ни к чему, к деревушке под названием Кесслинг, всего две-три мили от Уэксингема — пригоршня полуразвалившихся хибар посреди отгонных пастбищ и вересковых пустошей, где юный Лим, едва сбежав с родных холмов, замедляет ход и набирает массу, — откуда большая часть обитателей давно уже съехала, чтобы наняться в работники к Аткинсону. Он постукивает по карте черешком трубки. «Человек, который выстроит солодовню в Кесслинге и подберет к этой речке ключ, сделает тамошнюю Богом забытую землю богатой. И себя — тоже».

Томас смотрит то на отца, то на карту. Ключ к реке? Он не видит никакой реки: он видит цепочку болот, мелководных озер и мокрых торфяных лугов, через которые едва-едва сочится вялый ток воды. А в это время Уильям, сунув трубку обратно в угол рта, произносит слово, которое сбивает с толку и вообще как-то странно звучит — с точки зрения человека, живущего на вершине мелового холма: «Дренаж».

Итак, Томас Аткинсон, по наущению отца, который упокоился с миром на Уэксингемском погосте в лето Господа нашего 1785-е, начинает скупать насквозь пропитанную водой землю в бассейне Лима и обнаруживает, что Дренаж есть слово и впрямь довольно странное и даже волшебное — ничуть не хуже, чем магические зерна Аткинсоновых ячменей.

Потому что через пять-шесть лет, повыжав из этой земли воду, он продает землю с десятикратной прибылью.

Пока на континенте наступает рай земной, покуда падает Бастилия, якобинцы сменяют жирондистов и у массы людей руки не успевают просохнуть от крови, Томас Аткинсон изучает принципы осушения земли, закономерности, согласно коим текут и забиваются илом реки. Каким образом эффективность искусственного осушения соотносится с увеличением естественного водосброса в реку с прилегающих земель. Как скорость течения возрастает в зависимости от подъема уровня вод, а скорость заиливания при этом уменьшается кратно увеличению скорости течения. Он применяет эти принципы на деле и получает ощутимый результат. Он консультируется, он нанимает на работу геоде-

зистов, инженеров и землекопов, и не слыхать ни единой жалобы на то, что он, как наниматель, недостаточно компетентен, или слишком нетерпелив, или скуп. И среди тех, кто приходит наниматься к нему на работу, приходят и Крики с того берега Узы.

Томас привыкает к мысли, что дело это непростое. Что это навсегда и никогда не кончится. Мало-помалу. Сопротивление воды. Цепкость предрассудков. Рекламация земель.

Не следует, однако, думать, что в усердных своих трудах Томас и помнить забыл об отцовском Добром Расположении Духа: в его гроссбухах сохранились записи о регулярных, хотя и не без трудностей и не без дополнительных путевых издержек, поставках эля, сваренного в Норфолке из Аткинсонова солода, для поднятия настроения местных фенлендских рабочих. А когда в 1799 году, разбогатев на земельных спекуляциях и перепоручив норфолкскую ферму заботам управляющего, он переезжает из Уэксингема в Кесслинг — где, к немалому удивлению горстки деревенских жителей, он не только строит себе дом, но строит и планы углубить часть речного русла и через какое-то время поставить на берегу образовавшегося таким образом водоема боль-

шую и отвечающую всем самым современным требованиям солодовню, — он привозит с собой еще и молодую, пылкую восемнадцатилетнюю невесту. Он привозит с собой из Уэксингема слугу, служанку, повара и конюха, и те никак не могут удержаться от того, чтоб не перемигнуться, не обмениваться регулярно улыбочками и тычками, когда из хозяйской спальни доносятся теперь чуть не каждую ночь весьма недвусмысленные звуки. Томас, с присущими восемнадцатому веку целеустремленностью и отсутствием комплексов, делает себе наследников.

Кто же такая была эта резвая и — как выяснилось впоследствии — отнюдь не бесплодная юная леди? Ее звали Сейра Тернбулл, и была она единственной пережившей детские недуги дочерью некоего Мэттью Тернбулла, небогатого пивовара из Гилдси, Кембриджшир, к коему Томас Аткинсон явился однажды с удивительнейшим предложением: что, если он, Мэттью, продаст ему, Томасу, полную половину паев в своем пивоваренном деле, тогда, мол, в один прекрасный день, он, Мэттью, сделается богатым человеком. Покуда Мэттью в глубоких раздумьях мерил шагами свою довольно скудно обставленную контору, Томас углядел через окошко внизу, во

дворе пивоварни, хорошенькую и легкую на ногу пивоварову дочку и после наведения детальных справок о здоровье пивоваровой семьи измыслил ход, позволивший ему добиться своих целей в Гилдси куда скорей и проще, нежели покупкою паев.

К славной дате Трафальгарского сражения Томас успел осушить уже 12 000 акров вдоль берегов Лима; дренажные рвы множились дюжинами; шесть десятков, или около того, ветряков уже качали воду; и чем плодородней и прибыльнее становилась земля, тем обильнее фермеры-арендаторы могли платить ренту и дренажный сбор. От Кесслинга, где чуть ли не каждый житель находился теперь на жаловании у Аткинсона, и до Эптона — на расстояние, если по воде, в девять миль — река оделась в дамбы, перемычки и заслонки, для того чтоб контролировать уровень воды.

Но оставшийся участок от Эптона до Узы оказался вдруг куда как сложным. Томас разделил судьбу многих и многих инициативных людей, которым приходится сполна платить за первый головокружительный успех: он столкнулся с каменной стеной завистничества, имущественных интересов и парламентских — на уровне город-

ского совета — махинаций. Пятнадцать лет он воевал с водой, со слякотью и зимней непогодой, но соперника более стойкого, чем старейшины города Гилдси и выборные их представители, он не встречал — когда те наконец сообразили, что судоходство по Лиму и впрямь возможно, и цены на землю, естественно, тут же галопом понеслись в гору. Пока Наполеон совершал свои молниеносные броски противу австрияков, пруссаков и русских, Томас Аткинсон безнадежно увяз в нескончаемых судебных тяжбах и в казуистике правообладания и правопользования земельной собственностью, по поводу прав на судоходство и судовождение и на создание товариществ по дренажу.

Слабый человек непременно бы сдался. Слабому надоело бы в конце концов терпеть убытки, и он вернулся бы на сухой и надежный плацдарм норфолкских меловых холмов. Но в 1809 году Томасу наконец-то, хоть и не без скрежета зубовного, уступают право на создание судоходной компании. Одновременно он получает должность председателя в Комиссии по осушению бассейна реки Лим — пусть даже публика в комиссии подобралась вздорная и склонная к интригам.

Он вновь берется за работу. Новый берег реки растет все дальше к западу. Там, где нельзя купить землю, он покупает друзей. Прокапывается Хоквелл Лоуд как основная артерия в дренажной системе совершенно непроходимого в недавнем прошлом района к северу от Лима, в его нижнем течении. Кесслингский водоем превращен в судовую развязку, а на западном берегу Узы, на дальней окраине Гилдси, покупается участок берега — под строительство верфи. Ни единый корабль так и не совершил до сей поры славного перехода между Кесслингом и Гилдси, но между Кесслингом и Эптоном, между Эптоном и Гилдси уже снуют трудолюбивые суденышки, груженные материалами и строительным мусором, а с судостроителями в Или и Линне уже достигнута предварительная договоренность о строительстве целой флотилии лихтеров.

В 1813-м, пока Наполеон, чьи войска так горделиво маршировали когда-то на восток, отступает из-под Лейпцига в обратном направлении, на Рейн, Томас Аткинсон начинает в Кесслинге строительство солодовни. Ему пошел пятьдесят девятый год.

На пятьдесят девятом году жизни он все такой же здоровый и энергичный — и веселый

— человек; ничуть не похожий на тщеславного Императора Французов. Вдвоем со своей молодой женой (которая предпочитает теперь одеваться в свободные платья и капоры в форме ведерка, знакомые нам по портретам леди Гамильтон и любовниц Байрона) он прогуливается вдоль Кесслингского водоема и наблюдает за ходом работ. Простое ли это совпадение, что большое, величественное здание достроено именно к 1815 году и назвали его, в силу неумолимой логики вещей, Солодовней Ватерлоо? Простое ли это совпадение, что еще в начале года его тесть, пивовар из Гилдси, слег в постель и врачи приговорили, что долго он не протянет? Только ли совпадением можно объяснить то обстоятельство, что лучшие люди Гилдси в порыве национального единения принимают решение забыть о том, что он чужак, о его норфолкских корнях, и провозгласить его плотью от плоти, исконным фенменом, принесшим благополучие и богатство родному городу, живым символом великого духа Альбиона? И чем объяснить — одним только духом времени, или широким жестом в дни всеобщего ликования, или же сознательной претензией на некий символ, — что, когда в сентябрьский день 1815 года, под приветственные клики и тре-

пет красных, белых и синих флагов, со стороны Гилдси входит в Лим маленькая флотилия из четырех свежевыстроенных лихтеров, а потом украшенная лентами ломовая лошадь протягивает их один за другим бечевой через новенький шлюз Аткинсон, на переднем — на флагмане, по сути говоря, — будет красоваться на носу под ярко-красным рымом и бок о бок с не успевшей пока примелькаться эмблемой (два скрещенных желтых ячменных колоса над двойной голубой волнистой линией) имя *Annus Mirabilis*[12]?

Дети, есть такая точка зрения на историю, которую можно было бы назвать — позаимствовав слово у греков — теорией «гюбриса». [13] Данная доктрина утверждает, что безнаказанных удач на свете не бывает и не бывает достижений без потерь; что никакой Наполеон не отправится кроить и перекраивать карту Европы без того, чтобы ему это потом не аукнулось.

Вы усмехаетесь. Кто отправляет вселенское это правосудие неусыпно и железною рукой? Боги? Некая сверхъестественная сила? Что-то нас опять

---

[12] Примечания: 12

Дивный год (лат.).

[13] Примечания: 13

Надменность, наглость, высокомерие, дерзость (гр.). Каковые в греческой традиции подразумевают соответствующее воздаяние.

потянуло на сказки. Ладно. Но даже и природа учит нас, давая одной рукой, а другой отбирая. Возьмем, к примеру, воду, которая, сколько ее ни уламывай, ни упрашивай, при первой же возможности все равно вернется в изначально равновесное состояние. Или возьмите красавицу жену Томаса Аткинсона, в девичестве Сейру Тернбулл из Гилдси. Между 1800-м и 1815-м она подарила Томасу троих сыновей, и двое из них остались жить, а один умер, и дочь, которая осталась жить, но умерла, когда ей не было шести лет от роду. Потому что техника осушения земель, она, может, и шла вперед гигантскими шагами, но вот медицина была еще в пеленках.

Сейра смотрит, стоя рядом с почтенным своим супругом, как лихтеры входят в реку Лим, но удовольствие на этом милом личике скрадено подобающими знаками сдержанности и печали. Потому что не прошло и трех недель с того дня, как ее отец — который так и не дожил до обещанного Томасом Аткинсоном богатства, вот разве дочке повезло — сошел во гроб. И где-нибудь на берегу Лима стоят, наверное, и смотрят Крики — отец Уильям и братья Фрэнсис и Джозеф. Ликования, как от прочих зрителей, от них не дождешься. Энтузиазм не больно-то присущ их

флегмообильным натурам. И пусть даже своя доля труда в создании этой свежей, блестящей на солнышке речки вызывает в них законное чувство гордости, они знают: что вода творит, она же и разрушает. В этом мире слишком далеко ходить не след. За шагом вперед будет шаг назад. Так работает природа; а еще — так работает человеческое сердце.

Горожане ликуют. Они пьют эль (не Аткинсонов эль, потому как городская пивоварня продолжает носить имя Тернбулла, а неуважение к мертвым — вещь недозволительная). Всюду радость и веселье. Но есть, однако, вероятность, что — пусть только на один момент — Томас Аткинсон задумывается: а такого ли веселья он хотел — веселья, когда перерезают ленты, и произносят речи, и поднимают тосты в честь крючконосого победителя Бонапарта.

В зиму с 1815 на 1816 год дожди переполняют реку Лим, которая, прорвав береговые дамбы между Эптоном и Хоквеллом, заливает шесть тысяч акров свежевозделанной пахотной земли. В 1816 году цены на пшеницу подскакивают вдвое, и те самые фермеры, коих Томас обеспечил богатой жирной землей, уже не могут платить ни ренты, ни своим батракам. Наполеон разбит:

бедные голодают. В Или толпа поднимает бунт, и на подавление оного вызваны те самые саблемашущие драгуны, которые год назад покрыли себя славою на поле Ватерлоо; теперь им приходится топтать конями собственных соотечественников. Празднества? Веселье?

Томас оглядывает — из горизонта в горизонт — переполненные всклень водою Фены. Что ж, он и с этим может справиться. Потому что он богатый человек — и, если этого мало, его специальность ячмень, а не пшеница — и он в состоянии помочь своим фермерам. Он раздает шиллинги, он находит голодным пищу (его дражайшая супруга собственной персоной разливает по мискам овсянку подле кесслингской солодовни). И только благодаря этим актам христианского милосердия и еще благодаря тому, что в лихую годину он, как и прежде, дает людям работу, в Гилдси толпы не срываются с цепи и не штурмуют, как того и следовало бы ожидать, местную Бастилию, городскую пивоварню.

В 1818-м — когда беспорядки кончились, но трудностей меньше не стало — Томас переделывает первый этаж своего дома в Кесслинге под солодовенную контору и совершает второй в своей жизни переезд, из Кесслинга в Гилдси, в

новую великолепную резиденцию, в Кейбл-хаус (который тоже до сих пор стоит), к северу от рыночной площади, в двух шагах от пивоварни, с видом на узкую улочку, которая носила тогда название Водной улицы, да и теперь называется так же, хотя давно уже стала широкой и шумной, с «Бутсом» и «Вулвортсом». [14] Пивоварня расширяется; с вывески исчезает имя Тернбулл, которое, в дань уважению, и так задержалось там на три лишних года. Горожане пробуют на вкус, впервые под истинным именем, неподражаемый букет эля «Аткинсон», сваренного из Аткинсонова солода, из Аткинсонова ячменя. Держатели городских заведений, с названиями, в которых отразился окружающий город водный мир — «Лебедь», «Пес и утка», «Веселый шкипер», «Угорь и щука», — не нарадуются на жаждущих, хотя и небогатых посетителей.

Интересно, они и в самом деле могут этак

---

[14] Примечания: 14

«Бутс» — общенациональная сеть аптек (то есть магазинов, где помимо оптовой и розничной торговли медикаментами и химикалиями продают косметику, товары для новорожденных, мыло, туалетную бумагу и т.д.), «Вулвортс» — такая же сеть магазинов, торгующих разнообразными дешевыми товарами. С наступлением эпохи супермаркетов эта торговая фирма пришла в упадок, и «Вулвортсов» сейчас осталось не так много, однако в школьные годы Тома Крика на главной торговой улице каждого мало-мальски приличного английского городка непременно были свой «Бутс» и свой «Вулвортс», а в Гилдси, очевидно, «Вулвортс» задержался и до начала восьмидесятых.

утолить свои печали — кружкой или двумя золотисто-коричневой Радости? А старый Том — он может?

Потому что с Томасом, и по сию пору крепким шестидесятитрехлетним здоровяком, что-то происходит. Он превращается в памятник. Человек Великих Начинаний, Человек Больших и Славных Дел, Человек и Гражданин. На портрете, написанном с него в тот самый год, мы видим волевое лицо, лицо человека с характером, но ни лучистых отцовских глаз, ни мягкого изгиба отцова рта здесь нет, да и к обоим его сыновьям, Джорджу и Элфреду, дедовские черты не привились. В Томасе взрастает отчужденность. У него уже не получается стоять на берегу новенькой дрены, похлопывая по плечу человека, который помог ему эту дрену выкопать. Те самые работяги, которые трудились когда-то с ним бок о бок — а среди них, наверное, были и Крики, — теперь снимают шляпы, преклоняются перед ним, чтут его едва ли не как бога. А когда он нарочно, чтобы показать, что он все тот же старый Том Аткинсон, заходит в распивочную залу «Лебедя» или «Шкипера» и ставит всем присутствующим по пинте эля, под веселыми этими сводами вмиг воцаряется молчание, подобное благоговейной

церковной тишине.

Сам того не желая — и не властный помешать, — он чувствует, как его обмерили, обшили и втиснули в жесткий и громоздкий, в накрахмаленный костюм легенды. Как он сделал из болота реку Лим. Как напоил все Фены норфолкским славным пивом. Как он кормил у водоема страждущих, как стал надежей и опорой… И в глубине души он думает, наверное, о том, насколько же все было ярче и прекраснее в тот день, в отцовском доме в Уэксингеме, где легкий летний ветерок приносил в окошко с поля шорох спеющего ячменя, а отец произнес волшебное слово: Дренаж.

Но даже и с этим он в состоянии справиться, даже и здесь он уверен в себе — потому что, видит Бог, Томас Аткинсон никогда не верил в рай земной, — если бы не жена. В 1819-м ей тридцать семь. Игривая, ребяческая повадка, которая когда-то глянулась ему (и совпала с деловыми интересами), переросла с годами в нечто куда более зрелое и мягкое. Миссис Аткинсон красива; такая красота, с точки зрения мистера Аткинсона, подошла бы актрисе — и его жена словно оказывается вдруг на ярко освещенной сцене, а он, со всеми своими делами и почетными титулами, смотрит

на нее издалека, из темноты и снизу. Ему представляется, что вот, он многого достиг и только сейчас заметил с собою рядом это удивительное существо, с которым он когда-то, в незапамятные времена, словно бы и между делом, совершал ритуал продолжения рода.

Короче говоря, миссис Аткинсон вошла в пору расцвета; а муж ее стар и любит ее до безумия — и ревнует.

На шестьдесят пятом году жизни подагра накрепко усаживает Томаса в покойное кресло и делает его — противу всякого обыкновения — вздорным. Он больше не может сопровождать жену в привычных прогулках, поездках и визитах. Из окошка дома на Рыночной улице он видит, как она садится в поджидающие ее кареты и уносится прочь, и разложенные перед ним бумаги, касательные до планов модернизации и расширения пивоварни, дальнейшего строительства верфей на Узе и доставки Аткинсонова эля рекой ли, сушей на новые, доселе не освоенные рынки сбыта, не в состоянии отвлечь его от мыслей о жене, и он возвращается к ним снова и снова, пока она не вернется домой.

Под подозрением у него не один человек и не два. Собственный управляющий на пивоварне;

хлеботорговец из Кингз Линна; кое-кто из членов Комиссии по дренажу, которые помоложе; и тот самый доктор, которого вызывают лечить его подагру. И никто из них не может ему объяснить, из страха возвести напраслину на Достойнейшего из Мужей города Гилдси — ведь он не высказывает своих подозрений открыто, — что миссис Аткинсон невинна, совершенно невинна, что она сама верность и преданность мужу, которого она — и все об этом знают — просто-напросто боготворит.

Январским вечером 1820 года происходит несчастье — свидетельства очевидцев до нас не дошли, однако разного рода анналы города Гилдси буквально пестрят бесчисленными версиями врезавшегося в память горожан события. Ближе к ночи Сейра возвращается домой после вечера, проведенного, так уж вышло, в невиннейшей компании приходского священника из церкви Св. Гуннхильды, его милейшей супруги и нескольких собравшихся по случаю гостей, к Томасу, которого в тот день подагра донимает пуще прежнего. Что именно меж ними происходит, остается тайной, известно только, что — если верить тому, что говорили слуги, которые, естественно, подслушивали, и тому, в чем позже

покаялся сам Аткинсон, — сначала он просто ворчит и придирается к ней, потом становится откровенно груб, приходит в ярость и, дав выход вспышке нелепейших обвинений и оскорблений в ее адрес, поднимается на ноги и с размаху бьет ее по лицу.

Вне всякого сомнения, даже если бы эта дикая сцена и не привела к печальным последствиям, Томас раскаивался бы в совершенном до конца своих дней. Но так уж вышло, что он действительно устроил себе повод для пожизненного покаяния. Потому что Сейра не только упала, сбитая с ног ударом разъяренного мужа, но и стукнулась в падении головой об угол письменного орехового дерева стола с такою силой, что, хотя через несколько часов она и пришла в чувство, сознание к ней так никогда и не вернулось.

Чем вызвана эта страшная травма — ударом ли об угол стола, или первым ударом, или ни тем ни другим, а чисто духовным шоком при виде столь внезапной и ничем не спровоцированной вспышки мужниной ярости, — и не являлся ли, как некоторые утверждали впоследствии, удар об угол стола всего лишь выдумкой, чтобы скрыть истинный масштаб обуявшего Томаса бешенства, — не суть важно. Над бездыханным телом,

в порыве раскаяния, Томас призывает сыновей и голосом, которого нельзя было не услышать даже в самом отдаленном закоулке дома, объявляет: «Я убил жену! Я убил мою бедную Сейру!» Ужас. Замешательство. Целый ворох Здесь и Сейчас. Сыновья, склонные попервоначалу, увидев, как обстоят дела, поверить безжалостному отцовскому самооговору, посылают за доктором — все тем же доктором, чьи невинные знаки внимания внесли свой вклад в разыгравшуюся трагедию и которому приходится не только приводить в чувство лежащую трупом жену, но и отпаивать мужа обильными дозами лауданума.

В ту январскую ночь 1820 года подагра навсегда оставила Томаса Аткинсона в покое. По крайней мере, он больше ни разу на нее не жаловался. Его ждала куда более злая пытка. Весь следующий день, и дальше, за полночь, ему не придется сомкнуть глаз у ее изголовья, и молиться, молиться, чтобы эти прекрасные глаза вновь открылись, чтобы уста, милые ее уста разомкнулись хоть ненадолго. Он, должно быть, испытал необычайный прилив облегчения и радости, увидев, как губы и впрямь разомкнулись, затрепетали — только для того, чтобы впасть в отчаяние дважды большее, когда стало ясно, что глаза, пусть

они и открылись, не видят его, а если и видят, то не узнают. И если губы шевелятся, они больше никогда не скажут Томасу Аткинсону ни единого слова.

Сейре Аткинсон тридцать семь лет. Судьба распорядилась, а судьбе нет дела до ударов но голове, что Сейра проживет долго. И успокоится она только лишь на девяносто третьем году жизни. Пятьдесят четыре года она просидит в синем бархатном кресле, в комнате наверху (нет, не в бывшей их с мужем спальне, а в комнате, которая станет называться просто комнатой Хозяйки Сейры), глядя то прямо перед собой, вдоль суматошной, с каждым годом все более оживленной Водной улицы на Узу, то влево, где над городскими крышами поднимется в 1849 году высокая труба Нового Пивоваренного, расположившегося по-хозяйски рядом с верфью.

Вот только — видит ли она все это. Она застынет в странной позе человека, который наблюдает, пристально и неотрывно, — Ничто. Она не утратит былой красоты. Ее прямая, с легким наклоном вперед поза будет исполнена таинственного очарования. Даже и в старости, когда усохнет плоть, твердый костяк устоит (поскольку именно в этом возрасте, по настоянию сыновей, с нее напишут

портрет, в черном платье с бриллиантовым колье, — и какая же она была прекрасная модель!), и она сохранит печально-властную манеру княгини в изгнании.

В положенное время к ней станут приходить слуги, с едой на подносе, или расчесать ей волосы, растопить камин, приготовить хозяйку ко сну, а то и просто посидеть с ней рядом, в ясное летнее утро или в угасающих вечерних сумерках, и развлечь ее ленивым безответным монологом о том, что происходит под окнами. Вместе с ними будет приходить и Томас, чтобы сидеть с женой, порой часами напролет, чтобы стискивать руки, чтобы ломать пальцы, чтобы возносить бог знает какие молитвы — но Сейра ни разу даже и виду не подаст, что знает, кто он такой.

Все это ему тоже придется вынести. Но сперва придется терпеть ежедневные — и долгие, слишком долгие — визиты доктора. И смотреть, как тот раз от разу становится все более задумчив и мрачен, как он качает головой и заявляет в конце концов, что сделал все, что мог, и нужно искать специалистов. Не постояв за ценой, Томас выпишет из Кембриджа самых именитых врачей. Он станет возить Сейру, словно какой-нибудь редкий экспонат, по ученому городу Кембриджу,

из приемной в приемную. Он отвезет ее в Лондон, чтобы тамошние — еще более именитые — светила осматривали, выстукивали, зондировали Сейру и дискутировали случай на консилиумах; и пожертвует пятьсот фунтов стерлингов больнице Св. Варфоломея на «дальнейшие исследования и улучшение методов лечения в области заболеваний мозга».

Он пообещает целое состояние тому человеку, который вернет ему жену; однако желающих не найдется. Он вернется в Гилдси, чтобы встретить там холодную и ровную враждебность сыновей и молчаливое осуждение горожан. И — неужто они, с учетом всего, что он для них сделал, его трудов и дней, его предприятий и процветания, которое пришло с ним вместе в их забытый богом край, не простят ему единственного неправедного деяния, продиктованного минутной человеческой слабостью? Нет, судя по всему, не простят. Найдутся даже и такие, немногие числом, но твердокаменные поборники всяческого Воздержания, которые подольют на тлеющие угли слухов масло гнусной сплетни о том, что Томас, когда он ударил Сейру по голове, был якобы в стельку пьян, накачавшись собственным своим расчудесным элем, и не подтверждает ли это старую народную

мудрость, что пивовары (какое уж там доброе расположение духа) суть двоюродные братья делаваров?

Но если бы даже всем прочим и захотелось вдруг простить Томаса, Томасу не было бы нужды в их прощении, ибо он не собирается прощать — сам себя. Под сводами «Веселого шкипера» или «Угря и щуки», куда Воздержанию вход заказан, все так же смачно причмокивают губами над кружкой Аткинсонова эля, поскольку вкус остался прежний, настоящий и проверенный с точки зрения забвения от скорбей; а кроме того, дело Аткинсонов теперь находится в руках Джорджа и Элфреда — дай им Бог всех благ. Что же до старого Тома, они мрачнеют и отделываются двумя-тремя словами или вовсе качают головой, как качал когда-то головою доктор над несчастною его женой.

Бессчетное количество раз Томас Аткинсон станет задаваться вопросом: почему? Почему? И еще раз: почему? (Ибо сердечные боли также возбуждают свое горестное любопытство.) Не удовлетворившись вердиктом врачей, он сам возьмется за изучение мозга и нервной системы. Он добавит к библиотеке в Кейбл-хаус тома и тома, в которых будет все то, что человеческий ум,

к 1820-м годам, сумеет постичь в тайнах человеческой психики. Там, где он корпел когда-то над топографией Фенов и над бесчисленными хитростями дренажа, над контролем водосброса и над различными системами откачки вод, он будет снова корпеть над еще более сложной топографией продолговатого мозга и мозжечка, которые имеют, как он выяснит, свои собственные системы каналов и капилляров и собственную хитрую зависимость от постоянного распределения жидкостей.

Но эти внутренние почвы, будучи раз потеряны, ни осушению, ни рекламации не подлежат.

Забросив науку, он обратится к вере. Добрые прихожане города Гилдси, наблюдавшие во время оно, как Томас бок о бок с женой и двумя сыновьями роняет в церкви свои «аминь» спокойно, с видом человека, который видит в воскресной службе небесполезный, пусть даже и не слишком занимательный гражданский долг, ныне встречают взглядом склонившийся долу, изборожденный морщинами лоб и вечно неспокойные губы грешника, с головой ушедшего в покаянную молитву.

Он больше не принимает участия в расширяющихся год от года предприятиях компании

«Аткинсон и Сыновья». Он больше не читает обычную свою газету (Каслри бритвой горло чик; Каннинг на коне [15]). История для него остановилась. Он предался идолопоклонству. Говорят даже, что, когда Бог не дал ему ответа, когда Бог, даже с таким, из горизонта в горизонт, прекрасным обзором, не смог объяснить — почему, Томас послал в дикие Фены за одним из предков Билла Клея, к чьим отварам и наговорам местный люд хранил былое уважение. И что ответ сморщенного как печеное яблоко оккультиста (коему не было никакого резона помогать Томасу Аткинсону, чьи злые дренажные затеи решили его собственную судьбу и судьбу ему подобных) вогнал последний горький гвоздь в душу старого Тома: мол, Томас Аткинсон, и он сам о том прекрасно знает, всего лишь получает воздаяние, какого заслужил, а ежели насчет его жены, так никакое на свете волшебство не сможет вернуть

[15] Примечания: 15

Типичный «школьный» стишок; речь идет о самоубийстве в 1822 году Каслри, одного из ведущих реакционных политиков рубежа XVIII–XIX вв., которого считали ответственным за крайне неудачную социальную политику правительства. После его смерти на пост министра иностранных дел был назначен Каннинг, лидер либерального крыла консервативной партии, что привело к достаточно серьезному пересмотру курса и во внешней, и во внутренней политике. Оба эти государственных мужа были в свое время постоянной мишенью для разного рода литературных и окололитературных шпилек — см., в частности, соответствующие стихи П. Б. Шелли.

ее назад из того состояния, из которого она сама — а разве Томас не заглядывал ей в глаза, поглубже, попристальней? — выходить не желает.

Два, три, четыре года подряд Томас будет пристально глядеть жене в глаза. Четыре года он будет безвылазно сидеть с ней наверху, терзая ей руку, себе — сердце. Покуда в декабре 1825-го — история гласит, что дело было все в той же самой комнате наверху, в присутствии жены, и как он умер, и как их нашли, один был мертв, а другая даже глазом не моргнула, — этот здоровый и бодрый когда-то человек, который еще десять лет назад, несмотря на свои шестьдесят, мог рассчитывать на полные двадцать, если не тридцать лишних лет жизни, изъеденный угрызениями совести, не освободился от своих скорбей.

Его схоронили с подобающими почестями, с церемониями и воздавши должное его Трудам, но как-то, что ли, чуть не впопыхах, на погосте у церкви Св. Гуннхильды, невдалеке от южного трансепта, и воздвигли над могилой массивный мраморный памятник с горельефом по углам в виде ионических колонн. На южной стороне — надпись, даты жизни Томаса Аткинсона и, по-латыни, отчет о его свершениях (qui flumen

Leemen navigabile fecit… [16]) и ни слова о грехах; а сверху водрузили огромную, с каннелюрами, мраморную урну в форме кратера, наполовину скрытую мраморной же драпировкой, на которой, там, где она падает на плоскость верхней части памятника, лежат (явный диссонанс в столь строгом классическом комплексе, но еще ни один посетитель не оставил эту деталь без внимания и без того, чтобы отметить в ней трогательное и невероятно достоверное жизнеподобие) два горестно поникших ячменных колоса. В своей последней воле Томас оставляет на усмотрение Господа, Времени и жителей города Гилдси, но прежде всего самой Сейры — «которой да возвратит Провидение со всей возможной спешностью цельность разума и духа, дабы могла она принять решение, но да отложено будет надолго исполнение оного», — рассудить, должна ли его дражайшая супруга однажды снова лечь с ним рядом.

Так, может быть, и нам имеет смысл оставить его завещание без комментария — пусть мы и обладаем даром видеть прошлое — и подождать, как рассудят Господь, и Время, и жители города,

---

[16] Примечания: 16
Кто сделал судоходной реку Лим…

и не рассуждать о том, что там покоится ныне бок о бок со старым Томом на погосте церкви Св. Гуннхильды, если там вообще что-нибудь покоится; и не читать моралей, и не сравнивать на этакий задним-числом-все-мы-умные манер простой могильный камень, который обрастает понемногу мхом и лишайником в Уэксингеме, в изголовье почившего с миром Уильяма Аткинсона с роскошным сооружением на могиле Томаса Аткннсона, что умер несчастным.

Сыновьям Томаса, Джорджу и Элфреду, этим едва оперившимся птенцам — одному двадцать пять, другому двадцать восемь, — которые под воздействием прискорбных обстоятельств уже успели тем не менее сложиться в энергических и серьезных молодых предпринимателей, кажется, что даже воздух стал казаться как-то прозрачнее, чище. Долг стыда уплачен, и теперь, с новым чувством праведности творимых дел, с новой целеустремленностью, можно еще раз начать сначала. История не донесла до нас, был ли день Томасовых похорон одним из тех обычных в Фенленде в середине зимы пронзительных дней, когда всякая линия пейзажа словно бы промыта и очищена небесным светом, и горизонты сияют, и даже башни собора в Или не просто видны

вдалеке, но ясно различимы их архитектурные несходства. Не донесла она до нас и сведений о том, сочли граждане Гилдси, те самые, что издевались тайком над скорбью Томаса по жене, необходимым заметить отсутствие у Томасовых сыновей скорби по отцу или же не сочли.

Но их тоже можно понять. Потому что город, в не меньшей степени, чем оба его юных витязя, чувствует, что вот она идет, пора расцвета, пора новых начал, что нужно пройтись мокрой тряпкой по школьной доске, стереть все прошлое и разглядеть вдали сияющие вехи будущего.

Разве проницательность Уильяма не была вознаграждена? Ни единый фенлендский пивовар, рассчитывающий по привычке на поставки ячменя с юга, не в состоянии выдержать конкуренции с Аткинсоновым ячменем, смолотым на Аткинсоновых солодовнях и доставленным вниз по Лиму на Аткинсоновых же лихтерах безо всяких затрат на путевые сборы. Вскорости не только граждане Гилдси, но и жители Марча, Уизбеча, Или и Линна оценят завидное качество и завидную цену на эль марки «Аткинсон». А если Аткинсоновы лихтеры могут развозить Аткинсонов эль по всем этим местам и даже дальше, почему бы им, спрашивается, не доставлять туда

и прочие разные грузы? Почему бы Аткинсонам не воспользоваться своей стратегически выгодной позицией у слияния Узы и Лима и общим улучшением условий судоходства и не превратить Гилдси в *entreport*[17] восточных Фенов? Водно-транспортная компания «Аткинсон», так ж, как и Новый Пивоваренный, уже успели обрести живую плоть и кровь, уже зашевелились в головах юных Джорджа и Элфреда — по дороге с отцовских похорон.

А что там такое шевелится в голове у Сейры Аткинсон? Если в голове у Сейры Аткинсон вообще что-нибудь шевелится. Общественное мнение даже и мысли не допускает, чтобы Сейра Аткинсон окончательно сошла с ума. (Вот муж ее, вот он был псих, когда ударил жену ни за что ни про что, — разве не так?) Общественное мнение мало что знает о Сейре Аткинсон, вот разве, как она сидит день-деньской в комнате наверху и смотрит по-над городом, что твоя богиня. И сами собой заводятся истории. О том, к примеру, что, пусть Сейра с того рокового дня ни слова больше не сказала мужу, ни даже взглядом не дала ему понять, что хотя бы просто его узнает, с обоими

---

[17] Примечания: 17
Пакгауз, склад, амбар (фр.).

сыновьями у нее все по-другому. Что их-то она как раз, посредством ли обычных человеческих слов или при помощи другого какого таинственного средства сообщения, непрестанно поучала и наставляла. Что именно через нее, а не через батюшку им достался и пыл, и небывалое чувство призванности миссии. И что даже успехом своим братья Аткинсон обязаны не столько собственной самоотверженной работе, сколько этой вот безумной Мученице.

И выходит, что удар по голове наделил Сейру даром, которого более всего боятся и жаждут люди, — даром видеть будущее и лепить его по своему усмотрению.

Что это она непостижимым образом предсказала точное время отмены хлебных законов [18]; это

---

[18] Примечания: 18

Комплекс введенных в 1815 году протекционистских законов, имевших целью защиту интересов английских землевладельцев. Главным пунктом являлся запрет на ввоз хлеба из-за границы, пока цены на него на отечественном рынке не достигнут 40 шиллингов за квартер (291 литр). Таким образом в Англии поддерживались постоянные достаточно высокие цены на хлеб, выгодные для фермеров и вызывавшие крайнее раздражение — по вполне понятным причинам — беднейших слоев населения. Уже с 1819 года начинаются выступления за их отмену. В 1838 году Ричард Коблен создаст в Манчестере Лигу против Хлебных законов, популярность которой резко возрастает в 40-х, особенно в неурожайные годы. Отменены в конце концов Робертом Пилем в 1846 году, что оказало весьма серьезное влияние на экономическую ситуацию в стране и привело к расколу в правящей консервативной партии.

она придумала и хитрую стратегию, как и что им противопоставить Вызову со стороны железных дорог; это она угадала, и чуть ли не сама затеяла, большой бум середины века и провидела Джорджа и Элфреда, еще когда они стояли у отверстой могилы отца владельцами соответственно Пивоваренной и Транспортной компаний, а кроме того, на паях, Лимской судоходной и сельскохозяйственной «Аткинсон», некоронованными королями Фенов.

И все же кое-кто из наделенных воображением побогаче населяющих Гилдси душ пошел еще дальше. Поелику, когда портрет Сейры в старости, в черном сатиновом платье и бриллиантах, был, жестом равно вызывающим и великодушным, подарен братьями городу, чтобы занять свое место в холле городского собрания, к нему началось настоящее паломничество. И не так уж много времени спустя кто-то первым обратил внимание: как разительно схожи пусть суровые, но ангельские притом черты Сейры с чертами св. Гуннхильды на бесценном житийном триптихе (который в те годы все еще находился в названной ее именем церкви) — той самой св. Гуннхильды, что глядела со своего холма по-над засиженною демонами топью, и были ей видения?

Есть ли в этом во всем хоть малое зерно истины; и склонны ли были сами братья видеть в матери оракула, пророчицу и заступницу или же просто не мешали слухам переходить из уст в уста подобием магического некоего заклинания о благе города, никто сказать не может.

Однако есть еще одна история, свидетельствующая в пользу теории о полном помешательстве, история, которую слишком часто пересказывали и даже излагали на бумаге, чтобы не принять ее во внимание: согласно свидетельствам, какие бы там ни существовали узы между Сейрой и ее сыновьями и сколь правдивы ни будь отчеты — невозмутимость, немота, загадочная непроницаемость — о ее бесконечно долгом и неподвижном бдении в комнате наверху, время от времени ей таки случалось оживать, и всегда в одной и той же форме.

Сперва у Сейры вдруг начинали дрожать и подергиваться ноздри; потом она морщила нос и принималась энергично нюхать воздух. Затем глаза и руки: взгляд начинал встревожено метаться, пальцы застывали подобием птичьих когтей. Судорожно сжимались и дергались губы и, в то время, пока лицо ее искажалось гримасой, а тело извивалось и подскакивало в кресле

с такою силой, что массивные дубовые ножки порой отрывались от пола, она выталкивала из себя одни и те же слова, единственные, которые приписывают ей после мужниного рокового припадка ярости. А именно «Дым!», «Пожар!», «Горим!» и так далее, в бесчисленных вариациях.

Слуги — и это лишний раз доказывает их преданность — делали все возможное, чтобы ее успокоить. Дворецкий отправлялся в обход по всему дому и проверял один за другим камины и дымоходы. Горничная выглядывала в окошко удостовериться, что не видать ни дыма, ни огня — если не считать дымка из трубы над пивоварней, который не являл собой ничего, кроме доброго знака, и если только ветер не дул со стороны коптильни Питера Катлека, на дальнем конце Водной улицы, где Питер Катлек превращал склизких оливково-зеленых узских угрей в перекрученные веретеном медяно-коричневые клюшки. Другую горничную усылали на кухню посмотреть, не есть ли таинственные флюиды, обеспокоившие хозяйкин нюх, симптом подгоревшего блюда. Даже и на улицу специально отправляли мальчишку поспрашивать у людей.

Но все их усилия пропадали втуне. Сейра продолжала шмыгать носом, изгибаться, выкатывать

глаза и вопить свое «Дым!» и «Горим!», покуда ее не покидали силы.

Эти приступы, по свидетельствам современников, становились все чаще, и тот факт, что в 1841 году Аткинсоны наряду с другими состоятельными людьми взяли на себя ответственность за приобретение и доставку в город первой сделанной на заказ пожарной установки, не лишен иронических смыслов, даже если видеть в нем чистой воды совпадение.

Все чаще, все мучительнее — и все больше неудобств доставляли домашним. Существует даже и такое предположение — хотя в данном случае уместна здравая доля скептицизма, ибо главным свидетелем по делу проходит бывшая служанка из дома Аткинсонов, которую уличили в том, что она бесстыднейшим образом беременна, и, естественно, тут же выгнали вон, почему у ней и был мотив распространять о бывших хозяевах самые гнусные сплетни, — что припадки сделались такими жестокими и дело доходило до таких конвульсий, что братья, которые вроде как обожали и боготворили свою матушку, сдали ее вместо этого в Учреждение; хотя, на потребу горожанам, они и продолжали всячески поддерживать легенду (к примеру, написавши с Сейры

некий портрет, в бриллиантах и в черном платье, хотя в действительности на ней была смирительная рубашка) о том, что их ангел-хранитель не сводит с них глаз.

Все это относится, однако, к временам куда более поздним, к 1870-м, — Сейра к тем годам давно уже стояла на краю могилы, — когда и сами братья миновали зенит своей жизни, а реальной движущей силой Аткинсоновой машинерии стал молодой Артур, внук Сейры, сын Джорджа. Но даже и в 1820-м, в год дикой и нелепой сцены, были такие любители знамений и знаков, и мрачного умничанья в придачу, которые сочли, что Томас Аткинсон, когда он выдумал для своей компании эмблему из скрещенных колосьев ячменя над символическим изображением воды, столь ясно означившую его интересы как в пивоварении, так и в судоходстве, и стал подбирать подходящий девиз, выбор сделал неудачный. Потому что выбранный им девиз — Ex Aqua Phermentum, — который был когда-то выбит массивными, гнутыми прихотливо заглавными литерами над главным входом на Новый Пивоваренный и глядел потом с этикетки каждой выпущенной здесь бутылки пива «Аткинсон», и на самом деле переводится просто как «Из Воды,

Эль», и даже может быть истолкован, что, вероятнее всего, и понравилось Томасу, как «Из Воды, Брожение»; но вот о чем Томас точно не подумал, так это что девиз можно прочитать и так: «Из Воды, Смятение».

Дети, конечно же, вы правы. Случаются такие времена, когда необходимо отличать историю от сказки. Случаются такие времена (и случаются они не так уж редко), когда наша добрая нудноватая история из школьного учебника бросается с головой в допотопные топи мифа и ее приходится вытягивать назад рыболовною снастью эмпирии. История, как ее знают все, история как вродебы-наука не желает знать ничего, кроме фактов. Истории, если уж требовать от нее строительства дороги в будущее, нужно предоставить твердую почву под ногами. Давайте же любой ценой избавимся от спекуляций и от всяческого тумана, от секретов и от досужих сплетен. И, Христа-бога ради, никаких *историй* . В противном случае о каком таком будущем вообще можно вести речь и как можно хоть что-нибудь *доделать до конца* ? Так что вернемся-ка мы лучше в чистый и прозрачный воздух, туда, где старого Тома спрятали под новеньким белым надгробием. Давайте вернемся на твердую почву…

В 1830-м — когда в Париже опять как грибы растут баррикады, толпа врывается в Тюильри и воздух напитан не только дымом и не только революцией, но и пьянящим ароматом *deja vu* — Джордж Аткинсон женится на Кэтрин Энн Гудчайлд, дочери самого состоятельного в Гилдси банкира. Брак в высшей степени предсказуемый, похвальный и выгодный для обеих сторон. В 1832-м — поскольку братья прожили всю жизнь словно бы в согласии с неким сценарием и Элфред, будучи на два года младше, делал, за редким исключением, все то же самое, что и брат, только на два года позже — Элфред женился на Элайзе Хэрриет Белл, дочери фермера, владельца земельных участков по обе стороны Лима к западу от Эптона, каковая земля была в свое время осушена и продана ему Томасом Аткинсоном. Брак менее предсказуемый и похвальный ибо, пусть даже все прекрасно понимают, что Элфред радеет об интересах судоходства, но только больно уж время на дворе неудачное для фермеров вроде Джеймса Белла.

Не стояла ли за этим Сейра? Не она ли провидела, какие славные нормы прибыли станет давать пшеница Джеймса Белла в эру бума 50-х и 60-х годов, после отмены хлебных законов? Не

она ли углядела, как железнодорожная ветка Норич—Гилдси—Питерборо, которая в 1832-м если и существовала, то разве что в виде карандашного наброска в папке с чертежами у какого-нибудь там проектировщика, в один прекрасный день пройдет через землю Джеймса Белла как к северу, так и к югу от реки? И когда придет это время, Джеймс Белл легко даст себя убедить держаться полных два года и не продавать землю железнодорожной компании — так, чтобы, когда он в конце концов ее продаст, не только сам он получил за нее в два раза больше первоначальной цены, но и муж его дочки Элайзы с шурином на пару смогли за это время заменить на речке Лим конную тягу, шесты и паруса на пароходные баржи и узкие буксиры-паровички.

Таким образом, братья Аткинсон обеспечили равные шансы, пар будет соревноваться с паром, и еще, даже когда железная дорога начнет действовать, насыпные грузы и в Гилдси, и из него все равно дешевле будет доставлять по реке. Вот так и получилось, что железнодорожная ветка Норич—Гилдси—Питерборо стала брать на себя в основном пассажирские перевозки; чем она, собственно, и пробавлялась в иные времена, уже ставши частью Большой Восточной дороги, когда

ее тиковые, крытые лаком вагоны сделались местом ежедневных свиданий между мальчиком в черной форме и девочкой в ржаво-красной.

Может быть, и вправду Сейрина работа. Но давайте придерживаться фактов. В 1834-м Кэтрин Энн дарит жизнь здоровому крепкому сынишке, Артуру Джорджу. В 1836-м Элайза Хэрриет производит на свет дочь, Луизу Джейн. В том же 1836-м, однако уже после того, как появилась на свет Луиза Джейн, Кэтрин Энн также разрешается от бремени дочерью, Дорой Эмили. В 1838-м… Однако в 1838-м Элфред нарушает двухгодичный принцип и не завершает этого квадрата, подарив жене сына. Таким образом, к 1838-му потомство Аткинсонов, общим числом в три души — и, что характерно, из трех всего одна мужская, на которую имеют быть возложены все надежды на будущее, — рождено в полном составе, и счет закрыт. Для наших времен — ничего необычного, но весьма необычно для 1838-го, когда преуспевающие бизнесмены делали детей столь же усердно, как делали деньги, когда их подстегивало еще и такое соображение (Джорджу и Элфреду стоило бы задуматься над примером своих ненадолго задержавшихся на этом свете братишки и сестренки): хочешь обеспечить себя

наследником, наделай нескольких про запас.

Не уважай они так глубоко обоих братьев, не будь имущественные интересы братьев настолько неразрывно связаны с их собственными интересами и не сооруди братья такого прекрасного надгробия своему несчастному отцу, граждане Гилдси вряд ли оставили бы подобное положение дел без внимания. Они бы вряд ли оставили без внимания, что в обоих случаях первый ребенок появился на свет аж через четыре года после свадьбы. Они могли бы увязать между собой присущий братьям неколебимо и неустрашимо целеустремленный вид с этакой легкой приморожeнностью их в остальном совершенно очаровательных супруг; а это в свою очередь — с той чрезмерно пылкой привязанностью, которую они имеют обыкновение выказывать, даже и на публике, к своим обряженным в кринолины и ленты дочерям. Они могли бы прийти к заключению, что брачные стоны и скрипы, коими старый Томас и Сейра оглашали когда-то кесслингский дом, даже эхом не откликнулись в благочестивой атмосфере Кейбл-хауса; и что волшебная сила ангела-хранителя, не иначе, сказалась и здесь. Короче говоря, что братьев держит на коротком поводке та самая женщина,

из комнаты наверху. Короче говоря, досужая городская публика вполне могла бы диагностировать, будь она знакома с не изобретенной еще в те годы разновидностью магии, классические симптомы Материнской Фиксации, если даже и не заводить разговора об эдиповом комплексе. И разве не могло так случиться, что неутомимая деятельность Джорджа и Элфреда была не что иное, как Сексуальная Энергия, которую, совсем как фенлендскую воду, подавить нельзя, но можно отвести в иные русла?

Однако факты, факты. В 1833-м была официально открыта новая верфь, известная всей округе под названием Гилдси-док, с положенными по штату складами, деррик-кранами, рельсовыми вагонетками на конной тяге и аналогичным оборудованием на том берегу Узы, в Ньюхите. Одновременно рождается на свет и водно-транспортная компания «Аткинсон», с ожидающим вскорости пополнения флотом из трех паровых буксиров, четырех пароходных барж, шести парусных барж и сорока шести лихтеров — не говоря об уже занятых на Лиме судах. Буквально за несколько лет солод и бочки с элем перестают быть основным грузом, хотя и останутся грузом самым почетным, на Аткинсоновых судах. Да

и Лим теряет былое значение основной торговой артерии. Аткинсоновы баржи забираются вплоть до Хантингдона, Бедфорда, Питерборо и Нортхемптона. Они везут в Кингз Линн зерно, а обратно тайнсайдский уголь и континентальные товары. Они перевозят железо, лес, сельскохозяйственную технику, кирпич, камень, пеньку, масло, жир, муку.

Когда в 1839 году начинаются работы на железнодорожных ветках Норич—Гилдси и Ипсвич—Бери—Гилдси, доставкою строительных материалов занимается транспортная компания «Аткинсон», более того, для разрешения проблем, связанных с дренажом и строительством дамб, за экспертизой обращаются к Аткинсонам же. Горожане в смятении. А не перехватит ли железная дорога, вопрошают они, нашей торговли? А братья отвечают: а не перехватит ли у вас ваши рынки другой какой-нибудь город, если он станет региональным железнодорожным узлом? По тому что братья предвидят (Сейрина работа?): все, что железная дорога отберет у них за счет перевозок на дальние дистанции, они с успехом компенсируют за счет местных перевозок товаров, доставленных по той же самой железной дороге. Могут, спрашивается, поезда подвезти

уголь к каждой местной насосной станции? Могут поезда развозить товары по всем как есть окрестным деревушкам, где люди, следуя естественной логике вещей, селятся близ воды? И будьте любезны, сравните наши тарифы на перевозку с тарифами железнодорожной компании.

Однако вместе с тем братья приобретают солидные пакеты железнодорожных акций. На дворе, как-никак, пора перемен, и лучше подстраховаться.

И немалая часть этих разнообразнейших материалов, проследовавших через новый док (и в этом случае там они и оседают), используется между 1846-м и 1849-м на строительстве пивоваренного завода «Новый Аткинсон». Ибо не стоит упускать из виду: Аткинсон — это в первую очередь марка пива. Еще когда достраивали док, рядом оставили место для постройки нового просторного здания, которое в один прекрасный день могло бы заменить пусть расширенную, но неумолимо отстающую от растущих потребностей дня старую пивоварню. И мало-помалу чем ближе к середине века, тем больше здание растет.

Оно не слишком велико по нынешним масштабам; но пока фундамент уступил место его частью

кирпичным, частью облицованным камнем стенам, а кирпичные и облицованные камнем стены — старательно изукрашенным карнизам и фризам (орнамент из снопов ячменя и пивных бочонков) и крыше, частью остроконечной, частью выгнутой на манер вокзальных зданий, а крыша ведет в свою очередь к четырехгранной кирпичной трубе, шестидесяти шести футов в высоту, желобчатой, зауженной кверху и с еще одним, еще более прихотливо украшенным фризом под самым дымоходом (стиля менее внятного, но архитектор уверял, что похоже на итальянскую звонницу) и, для того чтобы уравновесить оный, с башенными часами, по которым весь Гилдси и половина Фенов, при наличии подзорной трубы, могли бы сверять время, — покуда все это растет и приковывает восторженные взоры местных жителей, рождается шутка: что Новый Пивоваренный непременно станет причиной нового потопа в Фенах, но только потопа не водного, а пивного.

Сейра в комнате слышит звуки созидательного труда. Затем приходит время, когда над неровным частоколом крыш северной стороны Водной улицы вырастают леса, верхушки подъемников и кранов, а потом и стальной остов самой кры-

ши, по которому, как по гигантскому некоему летательному аппарату, карабкаются или расхаживают с довольным видом рабочие. И следом труба этаким гигантским фаллосом приводит в замешательство фенлендское небо. Видит она? Есть ей до всего до этого дело? Ей это нравится, испытывает она чувство гордости? До нас не дошли записи, которые свидетельствовали бы о том, что она была меж почетных гостей в тот славный июньский день 1849 года, великолепием торжеств затмивший даже триумфальные празднества 1815-го, когда опять играл оркестр, когда город почтили своим присутствием по крайней мере два члена палаты лордов, когда гремели речи, сперва с украшенной флагами трибуны, а потом еще раз, в Большой зале городского собрания; когда Аткинсоновы барочники обнажили головы и одновременно дали гудок на всех пароходных баржах, когда толпа кричала «ура» и первые символические лопаты солодовой муки полетели в бродильные чаны. Но, может быть, она витала там незримо — и тоже ликовала? Или все так же сидела в комнате наверху и несла свою бессменную вахту по надзору за великим Ничто?

Который день, который год мы могли бы назвать зенитом Аткинсонов? Каким числом

пометить дату их наивысшего взлета? Этим вот июньским днем 1849 года? Или, может быть, стоит поместить ее чуть позже, в 1851-м, когда среди товаров, удостоенных чести быть представленными на Великой выставке, значился и бутылочный эль из Фенов, названный соответственно «Гранд-51», который в жесткой конкурентной борьбе завоевал серебряную медаль за вкусовые качества, оставив позади даже знатных пивоваров из Бертона-на-Тренте? Или чуть раньше, в 1846-м, когда, отслужив шесть лет на посту городского олдермена [19], Джордж Аткинсон был единогласно избран мэром? Или в 1848-м (двумя годами позже), когда его сменил на этом посту брат Элфред, и как-то само собой сложилось молчаливое правило, что, кто бы там впоследствии ни становился номинальным и официальным мэром, реальная власть в городе всегда была в руках у пивоваров?

Или в 1862-м? Когда Джорджу и Элфреду, дородным мужчинам с седеющими баками, стареющим потихоньку вместе с веком, приходит мысль, что своими трудами они заслужили на старости лет право на стильный загородный дом,

---

[19] Примечания: 19
Член муниципалитета.

убежище на лоне природы, где можно было бы дать себе роздых от городской суеты; и оттого был выстроен в Кесслинге, хотя и не слишком близко от солодовни и от бывшей отцовской резиденции, а на добрую милю, или около того, дальше к югу напыщенный и безвкусный барский особняк, Кесслинг-холл, весь в горгульях и башенках, удачно укрытый от сторонних глаз густым лесом; где по уикендам или просто в охотку, на подольше, Джордж и Кэтрин станут жить в одном крыле, Элфред с Элайзой — в другом, а встречаться станут в Длинной зале или в Обеденной зале, чтобы принимать там заезжих знатных особ и членов их семей; где кузины Дора и Луиза, юные леди лет по двадцать с хвостиком, но не настолько юные, чтобы не служить предметом постоянных родительских забот, будут, скучая, принимать на Террасе или на Лужайке для крокета и, скучая же, отправлять восвояси воздыхателя за воздыхателем. Поскольку всем на свете воздыхателям они предпочитают собственных *papa* , а компании молодых людей — собственную, друг из дружки состоящую компанию да еще, быть может, томик чувствительных стихов.

Или же кульминация не была еще достигнута, даже и в явной роскоши Кесслинг-холла? Если

время ее пришло в эпоху взлета не Джорджа с Элфредом, но Артура, который, пока его отец и дядя попыхивали своими честно заработанными сигарами в Кесслинге, уже принимал дела в Гилдси и который в 1872 году — когда на эль «Аткинсон» поступали заказы уже из всех восточных графств и когда особый светлый сорт, известный как «Аткинсон-Индия», регулярно отправлялся за тысячи миль от дома, в Бомбей, — прибавил к Аткинсоновым владениям (пойдя по вполне проторенной дорожке) еще одну провинцию, женившись на Мод Бриггз, дочери Роберта Бриггза, владельца мукомольной компании «Большая Уза»?

Неужто развитие коммерческих предприятий не ведает границ? Однако не следует ли нам говорить лишь о развитии коммерции, а не о развитии Идей — тех Идей, которые у Аткинсонов родятся как бы сами собой? Потому что нынешние Аткинсоны, братья и сын, хотя они первыми, при необходимости, сошлются на грубые факты — на нормы прибыли и объемы продаж, на мешки с солодом, бочонки с элем, челдроны [20] угля, — способны также, под настроение, а настроение приходит все чаще и чаще, отодвинуть матери-

[20] Примечания: 20
Мера угля, равна 32–36 бушелям, то есть от 1268 до 1309 литров.

альное на задний план и утверждать, впадая по ходу в самоотверженное, чуть не до полного самоотречения, состояние духа: мол, единственное, что ими движет, есть благородная и лишенная всякой личной корысти Идея Прогресса.

Да разве не возделан, не окультурен и не причастился их трудами благ цивилизации целый регион и разве они на том остановились? Разве не мучились, не трудились они долго и неустанно как в зале муниципалитета, так и в совете компании — и все ради блага сограждан? Разве они не учредили от щедрот сиротский приют, городскую газету, городской зал для общественных мероприятий, школу для мальчиков (черная школьная форма), баню — и пожарную станцию? И разве не свидетельствуют все эти их труды и многие другие в пользу двигавшей ими великой Идеи; в пользу того, что всякий частный интерес подчинен Национальным Интересам и все частные империи суть данники Империи Великобританской?

Что происходит с нашими фенлендскими выселками, которые представляли собой когда-то всего лишь холмик из засохшей грязи с часовенкой под камышовой крышей на верхушке оного и были ой как далеко от большого мира?

Сколько раз над украшенной девизом аркою входа на Новый Пивоваренный воспарит, чтоб гордо реять, «Юнион-Джек» [21], дабы отметить очередную дату, очередной прилив патриотизма? Сколько раз на заседаниях совета компании Джордж, Элфред и Артур, рука на лацкане, будут делать паузу и отвлекаться на злободневные темы имперской политики? И сколько раз бутылки и бочонки Аткинсонова эля станут подлаживаться под очередное чудо, очередное празднество? «Гранд-51»; «Императрица Индии»; «Золотой юбилей»; «Бриллиантовый юбилей»?..

К чему эти вечные поиски знаков? Эти суеверия? И почему так не хочется четко означить точку зенита? Потому что, означив зенит, мы тем самым предполагаем начало упадка. Потому что, если построена сцена, спектакль должен идти бесконечно. Потому что впереди всегда должно маячить — и не вздумайте его отрицать — будущее.

И все-таки, когда в 1874 году Артур Аткинсон избирается членом парламента от Гилдси и завершает свою первую речь фразой, снискавшей

---

[21] Примечания: 21
Общепринятое фамильярное название британского флага.

бурные и продолжительные аплодисменты: «Ибо мы — не хозяева настоящего, мы — слуги будущего», знает ли он, что имеет в виду? Имеет ли он в виду то, что сказал? А может быть, он просто пытается скрыть за жестом жертвенным и *noblesse oblige* самодовольную привычку знать, что на самом-то деле он и есть — хозяин настоящего, и оттого такими громкими и радостными криками «слушайте, слушайте» разразились его товарищи по демократически-консервативной фракции? Не склонен ли он видеть в будущем всего лишь бесконечное продление настоящего? Видит ли он, что несет с собой это самое будущее? Видит он, как в будущем придется (в самом начале двадцатого века, в настоящем моего отца, в моем собственном тоже, когда по рукам еще будет ходить великое множество медных монет в один пенни с полустертым профилем Виктории) жаловаться на утрату уверенности в себе и во всем прочем и устало объяснять, отчего оно так получилось?

Куда и как мы идем? Вперед, чтобы опять обратно? Вспять, чтобы удобнее потом вперед?

В силах ли Сейра разрешить подобную загадку — Сейра, которая к 1874-му успела проводить и встретить уже девяносто два года, но притом, с

тех пор как ее ударили по голове, забыла дату своего рождения, а может быть, и вовсе не осознает тока времени? Такая древняя и такая бдительная в своей бессменной вахте над Водной улицей, что, наверное, стоит добавить к прочим ее ролям и маскам — Ангела-хранителя, Матери-Заступницы, Святой Гуннхильды-во-втором-пришествии — еще одну. Дать ей в левую руку трезубец, а в правую щит, заменить морщинистый старческий скальп с жидкими седыми прядками на античный шлем с султаном, заменить крытое синим бархатом кресло на скалу в окружении морей и вызвать к жизни не знающий сомнения и страха образ Британии, которая смотрит, и смотрит, и смотрит… Куда?

Как же Аткинсоны отмечают в 1874 году девяносто второй день рождения Сейры? Пивком и всеобщим весельем? Стуком кружек и тостами? Ведь когда-то Сейра, пивоварова дочка, любила выпить пива. Когда-то ничего для Сейры не могло быть лучше, кроме как нянчить на коленях большую оловянную кружку. Когда-то, прежде чем она сделалась первой леди города Гилдси и прежде чем судьба проделала с ней разные другие, не менее примечательные метаморфозы, она с веселием душевным пропустила не пинту

и не две на пару с милым своим муженьком. Теперь, однако, хотя время от времени перед ней и ставили с надеждой кружку, она не брала в рот ни капли. Может быть, просто неправильное бы вышло сочетание с бушующим у нее внутри пожаром?

Они отметили день рождения Сейры, выстроив сумасшедший дом. Между Гилдси и Или, в миле от Узы, осмотрительно укрытый от внешнего мира дамбами и тополевыми рощицами — не хуже, чем Кесслинг-холл с его густым лесом, — к началу 1874 года его уже совсем почти закончили. Еще одно свидетельство, что Аткинсоны верят в прогресс. Еще одно свидетельство, что в горячке своих коммерческих предприятий они не забывают о нуждах несчастных и страждущих и охватывают заботою своей даже и забытых Богом фенлендских сумасшедших и меланхоликов, коих в менее просвещенную эпоху выставили бы к позорному столбу, на всеобщее поругание и посмешище, или сожгли, или просто гнали бы кнутами до границ соседнего прихода.

Его достроили в марте (ни флагов, ни речей). И в тот же год братья Джордж и Элфред, с помощью Артура, по причине искренней и глубокой привязанности, которую они всегда питали к матери,

помещают ее сюда на правах почетного гостя, в самые лучшие покои, и так, чтобы у нее под рукой всегда был самый что ни есть вышколенный и ответственный персонал. Потому что в Гилдси начали болтать лишнее. Стали поговаривать, что, может, Сейра Аткинсон и впрямь просто сумасшедшая старуха и больше нет ничего. На Рыночной и на Водной улицах люди начали задирать головы, чтобы посмотреть в окно за которым, всем известно… но откуда теперь, даже сквозь вставленные не так давно двойные рамы, доносятся самые несвязные и резкие, самые дикие и сполошные крики.

Ну а если вдруг — стоит только крикам в одночасье умолкнуть — досужие языки снова станут болтать лишнее, если они скажут: единственная, мол, причина, по которой Аткинсоны выстроили сумасшедший дом, так это чтобы спрятать там свою матушку, потому что они хотят украсть у нас нашу святую, непогрешимую нашу Сейру и запереть ее в клетку для психов, — тогда ответом будут спокойные уверения Аткинсоновых слуг (чьи личные гардеробы в семидесятых годах претерпели небывалые метаморфозы в сторону изысканности и роскоши): миссис Аткинсон у себя в комнате, где она всегда и была. Она вообще

прикована к постели. Специалист выписывает ей лекарства. (Потому и криков больше не слыхать.) И если вы и в самом деле хотите знать (на лице у говорящего появляется доверительное и этак чуть свысока выражение), миссис Аткинсон при смерти. Да-да, при смерти. Ну что, вы и теперь станете омрачать последние дни нашей дорогой хозяйки своими нелепыми сплетнями?

Кто поедет в Уизерфилдский приют, в этот дом ужасов, проверять?

А кроме того, осенью 1874 года Сейра Аткинсон и в самом деле умирает.

О чем объявлено в «Гилдси Игземинер» в соответствующем некрологе, в траурной рамке. И Гилдси прикусывает языки. Есть такие, кто искренне скорбит, в ком эта смерть рождает горькие воспоминания. Есть такие, и их, наверное, большинство, для кого эта смерть, по большому счету, есть избавление от скорбей. А есть и такие — те самые, кто всегда считал именно Сейру, а не Джорджа, Элфреда и Артура истоком общегородской фортуны, — которые восприняли эту весть с тревогой, как дурное предзнаменование.

Но все хотят знать одну простую вещь. Закончится ли дело примирением, окончательным решеньем всех проблем в духе старых добрых

книжек — как в волшебной сказке, чтобы сладко таяло сердце? Положат братья Сейру под бочок к старому Тому?

Что происходит в доме на Рыночной улице, где закрыты ставни и горит внутри — кое-где — свет? Видел кто-нибудь, как приходил или как выходил из дома гробовщик — или священник? Что там, слезы, ссоры? Разлад в семье?

Затем все разъяснилось: миссис Аткинсон будет похоронена на погосте у церкви Св. Гуннхильды, на участке (которого ни единый из прочих прихожан так и не рискнул занять), примыкающем к могиле мужа. И да упокоит Господь их души. В знак уважения к ней, предмету любви и скорби не только ее собственных детей и внуков, но и всего города, пивоваренный завод в день похорон будет закрыт, распивочным заведениям и магазинам также рекомендовано приостановить работу. Процессия проследует по Водной улице, вдоль набережной Узы, мимо ворот пивоваренного и далее к церкви Св. Гуннхильды. Заупокойная служба начнется в одиннадцать часов утра.

И город возрадовался — если город вообще может возрадоваться по случаю похорон. Потому что ничего нет лучше примирения под конец, дабы претворить скорбь в улыбку, и чтобы тыся-

ча вопросов не вертелась больше на языке. И нет ничего лучше малой толики пышности, чтобы даже и в скорбях на душе стало легче.

В своем дворике на берегу Узы, неподалеку от коптильни Катлека, где есть даже собственный маленький причал, у которого Аткинсоновы лихтеры разгружают заказанный им камень, гранит или мрамор, Майкл Джессоп («Сооружение памятников и резьба по камню») всю ночь не смыкает глаз, любовно выполняя вместе с подмастерьями самый-самый, особенный и престижный заказ. Очень может быть, что время от времени он останавливается, пытаясь вызвать в памяти искусные движения дедова резца, когда дед резал точно такой же камень, силясь достичь, как силился когда-то Тоби Джессоп, ворсистого жизнеподобия двух печально поникших ячменных колосьев, и смахивает — что уже и вовсе не похоже на специалиста по надгробьям — набежавшую слезу.

Но — это слеза или просто капля, пробившаяся сквозь одну из множества зловредных прорех в висящем на шатких деревянных шестах навесе из просмоленной парусины, под которым он, собственно, и работает? Потому что снаружи-то пошел дождь.

И утром, в день похорон, дождь все еще идет. Не то чтобы ливень, не стоит стеной, но льет с той ровностью и упорством, которых, и жители Фенов давно приучены к таким вещам, нельзя не брать в расчет. По всему бассейну Узы и Лима они в это утро отслеживают уровень воды, загружают топливом дополнительные насосы и возятся у заслонок и аварийных водосбросов. Крики — отцов дед с братьями — сплевывают в грязь и бормочут под нос насчет «нынче лишнего не поспишь». А дождь между тем расходится. Более того, если в тот день дождь шел в Фенах, шел он и в холмистых регионах к югу и западу, откуда текут те самые реки, для коих Фены — бассейн; и, если верить собранным впоследствии свидетельствам очевидцев, особенно сильный дождь прошел над Кесслингом, над Кесслинг-холлом и над теми норфолкскими холмами, где исток Лима.

Братья, которые в результате своего решения схоронить Сейру рядом с мужем перешли из разряда солидных и трудолюбивых деловых людей в разряд едва ли не общегородских героев, ничего не имеют против дождя. Дождь на похоронах кстати: он прячет человеческие слезы и намекает на слезы небесные. В нем, при желании, можно углядеть добрый знак — особенно если

вспомнить Сейрино кликушество насчет пожара. Процессия следует по Водной улице, и скорбящие склонны видеть в том, как быстро никнут под дождем черный креп, и черные конские плюмажи, и вся траурная бутафория, еще одно свидетельство неподдельной и самозабвенной всеобщей печали. Также и среди владельцев магазинов и ремесленных мастерских, которые выстроились вдоль улиц с непокрытыми головами, так, что вода ручейками течет им за шиворот, тех, кто видит в дожде добрый знак (помните, как неуместно ярко сияло солнце в день похорон старого Тома?), намного больше, чем тех, кто видит в этом знак дурной.

Процессия неспешным шагом следует мимо ворот пивоваренного завода, и единственно у входа в церковь Св. Гуннхильды заметны признаки неподобающей в такой скорбный день суеты; поджидающие там появления кортежа настоятель, пономарь и похоронная команда мысленно подгоняют катафалк, потому что, несмотря на все предосторожности, могила наполняется водой, а нет ничего ужасней, чем если аккуратнейшим образом отрытая могила вдруг осядет прямо посреди церемонии — или, еще того хуже, опускать гроб в лужу.

Церемония и впрямь проходит весьма живо — ведь нельзя же подвергать собравшихся, в особенности дам, излишнему риску простуды. Настоятель речитативом проговаривает текст; влага собирается у него на носу в большие капли и капает на нижнюю губу. Дождь скрадывает склонившиеся долу, скрытые вуалями лица скорбящих и словно бы опускает над печальной этой сценой собственную густую вуаль, отгородивши их, по сути, от всего и вся. И никто покуда не задает себе вопроса: эта легкая суетливость и скрытость от сторонних глаз — чистая ли это все случайность или, в какой-то мере, предумышленные и подобающие случаю детали.

Дело сделано; и слава Богу. Миссис Аткинсон снова лежит бок о бок с мужем.

Но дождь не прекращается. Не прекращается два дня и две ночи. Два дня набухшие водой траурные покровы разворачиваются, слой за слоем, над Фенами; две ночи арестованные Богом звезды замазаны черным. Но мысли о горних слезах приходится вскорости отложить до лучших времен — потому что начинается наводнение. Жители Гилдси из собственного за века накопленного опыта знают, что, какой бы бурной, пугающей и закрученной водоворотами ни становилась их

старушка Уза, им нечего бояться, если потоп ограничится ею одной. Два-три купца, выстроившие свои амбары слишком близко к берегу, всерьез подмокнут, но утонуть им не дадут ни в буквальном, ни, если повезет, в финансовом смысле их более предусмотрительные, а потому вышедшие сухими из воды соседи. Ничего страшного. Но если Лим переполнится одновременно с Узой, тогда обильные и мутные потоки, сброшенные первым в последнюю, возымеют эффект своего рода жидкой дамбы, из-за которой Уза сама собой потечет вспять и станет пробовать берега на прочность. По сей причине место, выбранное когда-то для того, чтобы построить Гилдси, у самого слияния двух рек, можно было бы счесть не самым удачным — если сбросить со счетов тот факт, что Гилдси стоит на холме, на древнем илистом острове Св. Гуннхильды, который со стороны может показаться так, бугорком, навозной кучкой, но и того достаточно, чтоб местный люд не перетоп всем миром.

Вода прибывает. Поначалу постепенно, шаг за шагом, потом, как закипающее молоко, начинает вдруг резко идти вверх — прямое свидетельство того, что Лим уже внес свою лепту. Лодочники у набережной Узы отвязывают чалки плоско-

донок и ялов; рыбаки-угреловы вытягивают на берег сети. Товары из магазинов, мебель и всяческую животину перевозят на телегах в более безопасный район по соседству с церковью и рынком. Однако никто не в состоянии спешно переправить туда же ни гранитно-мраморные запасы Майкла Джессопа, ни его же громоздкую камнерезку, и воды потопа поглощают их, таинственным образом умыкнув несколько плит, каждую из которых не смогли бы унести даже два его дюжих работника, и бесследно уничтожив парусиновый навес — коему, в силу самой его временной, от перестановки к перестановке природы, двигаться было не впервой. Да и Питеру Катлеку, хозяину коптильни, тоже не хватает времени на то, чтобы спасти весь свой товар: две-три корзины его медяного цвета угрей неожиданно для себя возвращаются в родную стихию и плывут как умеют, на деревянный этакий манер, по воле течения.

Вода прибывает. Она карабкается шаг за шагом вверх по Водной улице. Здания в нижней ее части, как и ожидалось, уже подтоплены, и то там, то здесь, можно видеть одинокую, хоть и не без вызова, фигуру — по большей части привычную к такого рода катаклизмам — неподвижно, съе-

жившись в комочек, сидящую на крыше. Вода карабкается выше. Она наносит тонну, или около того, грязи в спешно эвакуированный погреб «Веселого шкипера», но не доходит до «Угря и щуки», как не доходит она — к вящей радости или к вящему разочарованию той части населения, для которой наводнения, помимо общей стихийной и разрушительной их природы, суть источник забавы и повод биться об заклад, — и до отмеченного белой краской на цоколе аптеки уровня, сохранившего память о самой высшей на памяти горожан точке подъема вод, каковая отметина помимо интереса чисто исторического имеет самое прямое отношение к масштабу цен на съем недвижимости вверх и вниз по Водной улице.

В Гилдси ни док, ни пивоваренный не пострадали. Потому что братья, в мудрости своей, вложили массу сил и средств в защитные от вечной этой напасти сооружения, и вот теперь хитроумная система доковых шлюзов, заслонок и водоотводов делает свое дело. И не только они, но и два водоотводных канала, выстроенных в 1868 году к северу и к югу от города на общественный счет, но главным образом по настоянию Аткинсонов, с честью проходят свое первое испытание и полностью справляются с задачей. С воздуха

(хотя в 1874-м нет еще никаких вертолетов — как нет и теленовостей с панорамными съемками окруженных водою крыш и затопленных автомобилей) Гилдси должен быть, наверное, похож на окруженную рвами крепость, втянувшуюся, как улитка, в раковину, подобравшую юбки повыше, готовую к обороне; низинные окраины уже под водой, пивоваренный и док как два самостоятельных форта, два водоотводных канала выгнуты грязно-коричневой подковой, сбрасывают прибывающую воду в лежащие к западу луга и тем самым возвращают городу его древнейший островной статус.

Но если гилдсеиты вправе гордиться своими оборонными укреплениями, других поводов для радости у них не много. Всякий расположенный в сельской местности город, а к фенлендским городам это относится в первую очередь, прочнейшим образом завязан на своей округе; а новости из близлежащих — близбарахтающихся — деревень приходят самые невеселые. В результате наводнения 1874 года одиннадцать тысяч акров сельскохозяйственных угодий на год выведены из оборота. Двадцать девять человек утонули, восемь пропали без вести. Погибло восемьсот голов крупного рогатого скота и тысяча двести

овец. Ущерб, нанесенный жилым строениям, дорогам, мостам, железнодорожному полотну, системе осушения и водооткачки, вообще не поддается учету.

Вот что, однако, ясно как божий день — что река Лим, судоходная артерия и оживленная транспортная магистраль для Аткинсоновых груженных солодом барж, таковою быть перестала, по крайней мере на данный момент. Над лежащими к западу норфолкскими холмами и в самом деле прошли, наверное, самые обильные — злокозненно обильные — дожди. И в результате Лим обнаружил такое пренебрежение к рукотворным своим рубежам и пределам, что отснятая с вертолета панорама обнаружила бы его поднятые дамбами берега, и то через большие промежутки, лишь в качестве темных параллельных линий на поверхности бескрайней водной глади, вроде царапин на зеркале. Хоквелл-Лоуд прорвался в Уош Фен. Под угрозой мост в Эптоне. На шлюзе Аткинсон вода расклинила шлюзовый затор, а железную заслонку, специально предназначенную для того, чтобы сдерживать давление воды, вырвало с корнем и унесло, как черепицу, как школьную грифельную доску, течением — на глазах у смотрителя, которому вместе с семьей

пришлось четверо суток провести на чердаке. В Кесслинге перестала существовать судовая развязка; вода врывается в парадное бывшего дома Томаса Аткинсона, и, несмотря на героические усилия тамошнего управляющего, спасшиеся от потопа люди, уже успевшие вдосталь наудивляться, за многие мили от Кесслинга удивленно смотрят, как сорвавшиеся с привязи порожние лихтеры, выставляя напоказ ярко-красные рымы и сине-желтые эмблемы, дрейфуют по воле волн и ветра по-над бывшими пшеничными и картофельными полями.

Однако что еще за повод к удивлению, и к удивлению куда как более серьезному, витает над Кесслингом? Что за тревога, как будто мало царящего вокруг разора и смятения, поселилась в Кесслинг-холле, куда на второе утро после начала дождя, пока по дорогам еще можно было кое-как проехать — на следующее утро после похорон, — перебралось все семейство Аткинсонов, за исключением Артура и его жены: перебралось под воздействием вполне понятной тяги людей, скорбящих по близкой утрате, к уединению и покою — вот только как-то уж слишком спешно?

Потоп спустил со сворки слухи. А слухи гласят, что в ночь на двадцать шестое октября на залитой

дождем террасе Кесслинг-холла, среди отмокших урн и каменных ананасов, была замечена женская фигура, одетая по моде пятидесятилетней давности, и что эта фигура стучалась во французские окна вдоль террасы, явственно давая понять, чтобы ее впустили в дом. Доре Аткинсон — единственному очевидцу — в кругу семьи было строго поставлено на вид. Меньше надо на ночь Теннисона читать. И к тому же, как могла Дора, которая даже еще и не родилась в тот год, когда некий роковой удар обрушился на некую голову, как она могла с такой уверенностью утверждать, что пред ней предстал образ бабушки, но только бабушки молодой? Бабушки, которую *вчера похоронили* .

Однако то обстоятельство, что Дора — чем-то — потрясена, сомнений не вызывает. Ибо та же самая служанка, которая пустила этот слух гулять по миру (хотя совершила она сей грех лишь много лет спустя, когда старик Джордж и старик Элфред оба успели отойти на вполне безопасное расстояние — за гробовую доску), пустила по его следам и еще один. А именно, что, когда в ту ночь Дора добралась-таки до постели, постель-то оказалось не в ее собственной комнате, а в комнате ее кузины, Луизы; а что, всем ведь было известно, что

две эти старые девы время от времени, при чрезвычайных и пугающих обстоятельствах — вроде грозы, наводнения и тому подобного, — сворачивались калачиком вдвоем в одной постели, ну прямо как дети.

Слух — он всего лишь слух. Но если слухов несколько и они об одном и том же, а происходят притом из разных источников, уже никак нельзя не обращать на них внимания. В ту же ночь, на двадцать шестое, Джейн Кэзберн, жена причетника из церкви Св. Гуннхильды, видит на погосте женскую фигуру в старинном платье, склонившуюся над могилой Сейры так, словно бы она о чем-то просит. Она ее видит — она уверена, что глаза ее не обманули, — но мужу своему сообщает об этом лишь некоторое время спустя, потому что Уза разлилась, и муж ее, добрый человек, занят там на общественных работах.

Опять же, в Кесслинге, в районе водоема и солодовни, несколько ошарашенных, если не сказать перепуганных очевидцев станут впоследствии утверждать, что видели в те смутные времена на пристани, у причалов, женскую фигуру, которая ходила там и вроде бы как что-то искала; или даже скользила, по словам некоторых, время от времени над поверхностью воды; ее видели в

солодовне и видели еще, неоднократно, у двери дома успевшего к тому времени уехать управляющего — у той самой двери, к которой Томас Аткинсон привел свою невесту, — и она как будто тоже просила впустить ее в дом. И в дом таки пришлось пустить — не ее, так взъярившиеся воды Лима.

А в Гилдси, в комнате окнами на Водную улицу (которая в те дни вполне оправдывает свое название), в той комнате, где?.. Но никто не знает, какие призраки являлись, если они вообще являлись, в дом, где живут теперь Артур и Мод. Единственный зародившийся в тамошнем квартале слух — и тот оказался верным, информация подтвердилась на все сто — гласит, что ранним утром двадцать седьмого числа в дом спешно приходит семейный врач, пользовавший в те времена всех Аткинсонов.

Вода прибывает: воды возвращаются вспять. Может, и она вернулась тоже, не из мертвых, но из Прежней жизни, которой она была вольна распоряжаться до того момента, как удар по черепу свернул ей мозги набекрень и навсегда перемешал прошлое с настоящим и будущим? Может, она вернулась назад, в Гилдси, в Кесслинг, искать давно потерянного мужа, давно потерян-

ного жениха, который был когда-то весел и не был ревнив?

Разве привидения не доказывают нам — даже просто слухи, даже просто рассказанные шепотом или вполголоса истории о привидениях, — что прошлое липнет к нам, что мы обречены возвращаться?..

Но если Сейра Аткинсон лежит в своей свежей могиле, выкопанной бок о бок со старой могилою Томаса, на погосте у Св. Гуннхильды, где дождь, пропитавший землю, уже дал начало процессу, в результате которого один прах смешается в конце концов с другим прахом, разве не воссоединилась она уже со своим давно потерянным мужем — навечно?

Вода прибывает. Она разносит слухи и странного рода свидетельства, но она же и смыкается над ними и уносит их прочь. Братья, может быть, еще и спасибо скажут (хотя, почему, собственно, они обязаны говорить спасибо) этим потокам, которые столь прочно занимают внимание сограждан и отвлекают их на сиюминутные практические нужды. Когда над водами витают слухи о разрушенных домах, об утонувшей скотине, о том, что по дорогам не проехать, кто станет слушать истерические сплетни о каких-то призраках в

допотопных платьях? А когда наводнение начинает наконец идти на убыль и приходится подсчитывать неутешительные цифры убытков, чего будут стоить бредни горстки домохозяек, служанок и деревенских олухов противу достойных восхищения усилий Джорджа и Элфреда по возвращению покоя и порядка в разоренный стихийным бедствием край — или противу трудов Артура, который, разделив с отцом и дядей ношу местных дел, находит в себе достаточный запас энергии, чтобы говорить со своей скамьи в палате общин речи о материях все более широких и веских.

Но все равно ведь кто-нибудь да спросит — когда потоп уйдет в туманную область воспоминаний, когда Лим снова будет тихо течь в своих берегах, когда новый шлюз и новая заслонка, выстроенные возле нового смотрительского дома, в котором поселится однажды Хенри Крик, примутся стеречь и регулировать ток вод: а откуда нам знать, что Сейра Аткинсон и впрямь лежит в своей могиле рядом с мужем на погосте у Св. Гуннхильды?

Но кто-нибудь снова выкопает бессмысленную и смехотворную, зловредную, а потому старательно изгоняемую из обращения выдумку о том,

что Сейра Аткинсон не только была заточена в Уизерфилдском приюте, но, будучи наделена сверхъестественными способностями, еще и умудрилась оттуда сбежать — за несколько дней до собственных похорон. Что, обманув своих стражей и уйдя от погони, она (это в девяносто два года-то!), одетая в одну ночную рубашку, карабкалась с дамбы на дамбу, шла полями и лугами, покуда не добралась до берегов Узы. И вот там — по нелепейшему свидетельству одного барочника — она нырнула, «что твоя русалка», в воду, чтобы никогда не вынырнуть вновь.

Есть, однако, два предмета, навсегда увязанные с наводнением семьдесят четвертого, которые споров практически не вызывают. Во-первых, многочисленные завсегдатаи «Лебедя» и «Угря и щуки», и даже «Веселого шкипера», которые ни за что на свете не позволят, чтобы какое-то там наводнение или даже полный подвал речной тины встал между ними и полными кружками, замечают в своих честных пинтах эля некую странность. Пиво-то слабое. И водянистое. Что это, чистой воды иллюзия, вызванная к жизни беспрерывными дождями и потопом? Или дело в том, что вода каким-то образом просочилась в Аткинсоновы бочонки с пивом, залила погреба

пивоваренного и в той жидкости, что они теперь пьют, есть — Боже упаси! — толика речной воды? Пивовары горой стоят за то, что о подобных позорных для честной фирмы насмешках над клиентами не может быть и речи, что эль, о котором идет речь, все тот же самый, славный, способный для здоровья и душевного веселья эль, сваренный по старым добрым Аткинсоновым рецептам. Но пиво от этого лучше не становится; и общественное мнение в городе Гилдси, большая его часть, отныне будет твердо гнуть свое: что — Бог бы с ней, с речной водой и с бочками, — но пиво, сваренное на «Аткинсон» после наводнения, после похорон бедняжки Сейры, никогда и близко не дотягивало до пива, сваренного до; что после 1874 года — и вплоть до известного, памятного времени уже в следующем столетии — эль «Аткинсон», который более пятидесяти лет составлял славу и гордость Гилдси, стал заурядным пойлом. И верить всему этому или нет, однако прибыли пивоваренного в последней четверти девятнадцатого и в первой декаде двадцатого века выказывают пускай постепенную, но явную тенденцию к снижению.

Во-вторых, касательно столь раннего визита врача в Кейбл-хаус. И с чего это он так спешил?

Разве случилось там внутри что-нибудь страшное? Нет — или, если подумать, и нет и да. Потому что миссис Аткинсон, за три недели до положенного срока, взялась рожать сына.

Что же спровоцировало преждевременные схватки? Некий шок — может быть, Мод что-то увидела, хотя бы в той самой комнате наверху, где Сейра, как нас стараются убедить, испустила свой последний вздох? Подавленность и смятение чувств — которые, кто знает, можно ведь истолковать и как симптомы скорби, и как симптомы вины, — коих нельзя было не заметить на подмоченных дождем похоронах? Или дело было в том, что набухшие воды Фенов, те, что взламывали дамбы и выводили реки из берегов, — те, что, выгляни в окошко, уже не в переносном, а в прямом смысле слова плещутся у изножья Водной улицы, — вступили в таинственного рода резонанс с телесною системой миссис Аткинсон и в результате ее собственные воды, в знак солидарности, также решили отойти? Кто знает. Доподлинно известно только, что двадцать седьмого октября 1874 года Мод Аткинсон родила сына. Здорового и крепкого мальчика…

Вот так и случилось, что под шум и переплеск из наводнения рожденных сплетен мой дед, Эрнест

Аткинсон, будущий владелец пивоваренного «Аткинсон» и водно-транспортной компании «Аткинсон», появился на свет.

А дождь тем временем все идет. И превращает земли по обе стороны Узы и Лима в залитое водой поле боя, в доисторическую топь, которой они когда-то и были.

Дренаж. Опять все сначала. Крикам браться за работу.

И плывут себе вниз по вздорному, по взбухшему, по взбунтовавшемуся было Лиму ветки ивы, ольховые ветви, жерди, бутылки…

10
О ВОПРОСЕ «ПОЧЕМУ»

И когда вы задавали мне вопросы, какие всегда задают исторические классы, исторические классы просто обязаны их задавать — какой нам смысл изучать историю? Почему именно история? Почему прошлое? — я привык отвечать (покуда Прайс не аранжировал сей вопрос на новый лад, добавив новый оттенок смысла — и эту явственно дрожащую губу): но вы же сами себе ответили, вашим собственным «почему?». Ваша потребность найти объяснение и есть объяснение. Разве поиск причин уже не есть — с необходимостью — исторический процесс, поскольку он всегда вынужден обращаться от того, что пришло потом, к тому, что было раньше? И покуда в нас живет этот зуд, эта тяга выяснить, что откуда взялось, разве не приходится нам поневоле таскать с собой громоздкий, однако же и не лишенный ценности мешок с отмычками по имени История? Еще одно определение: Человек есть животное, взыскующее объяснений, животное, которое спрашивает Почему?

А что имеет под собой этот самый вопрос, Почему? Он имеет под собой — уж в вашем-то случае наверняка, когда вы по-бунтарски бросаете его мне в лицо посреди урока истории, — неудовлетворенность, беспокойство, ощущение, что все идет не так, как надо. В состоянии полного довольства просто не было бы ни нужды, ни места этому короткому назойливому слову. История начинается в той точке, где все идет наперекосяк; история рождается из бед, из замешательства, из сожалений. Так что по пятам за словом Почему приходит скользкое, задумчивое слово Если. Если бы только… Если бы вдруг… Когда бы не… Все эти бессмысленные исторические Если. Вот и маячит, и маячит, сбивая с толку праведные разыскания вопроса Почему, отвлекая, путаясь под ногами, эта иная форма ретрогрессии: если б только можно было все вернуть. Новое Начало. Если бы мы только могли возвращаться вспять…

«*Historia* » или «Исследование» (как в понятии «Натуральная» или «Естественная История»: исследование натуры, природы, естества). Раскрыть секреты причин и следствий. Показать, что всякому действию находится противодействие. Есть акция и есть ре-акция. Что Y есть следствие, поскольку ему предшествовал X. По-

стелить соломки, чтоб хоть в следующий раз, когда мы будем падать… Понять, кто мы такие, потому, что мы такие, как распорядилось на сей счет наше прошлое. Научиться (вечная палочка-выручалочка и вечный костыль учителю истории) на собственных ошибках, так, чтобы в будущем лучше…

И для того, чтобы проиллюстрировать разом насущную нашу потребность задаваться вопросом почему и положение, что история начинается с нашего чувства недолжного, я просил вас уподобить изучение истории процедуре дознания. Предположим, у нас на руках некий труп — то бишь прошлое. Труп не всегда легко идентифицировать, но здесь и сейчас наш конкретный труп обнаруживает специфические и вполне индивидуальные черты. К примеру, перед нами обезглавленное тело Людовика XVI. Неужто мы рассуждаем об этом трупе: ну что ж, мол, труп есть труп, а мертвые тела не оживают. Никак нет. Мы задаемся вопросом: почему это тело стало трупом? Ответ: в результате несчастного случая — или просто потому, что, когда в один прекрасный день, в Париже, у некой гильотины упал нож, шея Людовика XVI оказалась аккурат у него на дороге. На что вы отвечаете мне дружным смехом,

выказывая тем самым наклонность к дознанию, выказывая въедливый исследовательский склад ума — выказывая историческое самосознание.

Ну а почему, задаемся мы вопросом, шея Людовика оказалась?.. Потому что… А когда мы дотошнейшим образом вычленим причину, нам захочется знать, а почему в силу именно этой причины? Потому что… А когда мы разберемся и с этой, более глубокой причиной, а почему, опять же?.. Потому что… Почему?.. Потому… Почему?.. Покуда, для того чтобы выяснить, почему отправился на тот свет Людовик XVI, нам потребуется не только воскресить, воочию представить всю его беспокойную жизнь и беспокойное же время, но и забраться не на одно поколение вглубь; и назойливый вопросец Почемупочемупочему станет к той поре похож на паровозик, надсадно пыхтящий у нас в голове, и встанут — сами собой — на горизонте другие вопросы: когда — в которой точке — каким образом мы перестанем спрашивать почему? До каких глубин нам нужно будет забраться? Когда мы удостоверимся, что нашли Объяснение и успокоимся (отдавая себе отчет, что это не окончательное объяснение)?

Каким таким образом — хотя бы для того, чтобы передохнуть ненадолго, — мы сможем столкнуть

под откос этот чертов паровоз? А может, было бы лучше (в экстремальных ситуациях так иногда и выходит — тому свидетельством давнишние ответы отца на вопросы о войне), если б мы могли развить в себе дар амнезии? Но — этот дар беспамятства, не выпустит ли он нас из ловчей ямы вопроса «почему», да сразу и в тюрьму идиотии?

Я всегда учил вас, что у истории есть предназначение, есть своя — по большому счету — цель. Я всегда учил вас принимать ответственность и ношу вечной необходимости спрашивать почему. Я учил вас, что вопросам этим несть конца, потому что, помните, я как-то раз дал вам определение (да-да, приходится признать, есть такая слабость — импровизированные дефиниции): история, мол, есть вещь сугубо невозможная — попытка обладающего неполным знанием дать отчет о действиях, также предпринятых с позиции неполного знания. Так что никаких коротких тропок ко Спасению, никаких рецептов строительства Нового Мира, одно лишь терпеливое, упрямое искусство обходиться тем, что под рукой. Я учил вас этому, пытаясь всякий раз объяснить, чего мы можем достичь, не Объяснения, нет, но понимания границ нашей способности находить объяснения. Да, и еще раз да, прошлое путается

у нас под ногами; оно швыряет нас то вверх, то вниз; оно привносит трудности и сложности. Но игнорировать его глупо, потому что история прежде всего учит нас избегать иллюзий и всего, что понарошку, и обходить стороною грезы, фантазии, рецепты ото всех болезней, чудеса в решете, златые горы — быть реалистами.

А потому, когда учение учителя вашего проходит пробу на прочность, когда его жена, которую местная пресса станет вскорости называть «льюишемской воровкой» и «похитительницей младенцев из Гринвича», как-то раз, воскресным днем, выдает на-гора нечто несусветное, он действует так, как ему подсказывают разом академическая школа и чисто человеческий инстинкт. Он бросает все на свете (даже Французскую революцию) и пытается найти объяснение.

Однако он уже отдает себе отчет — хотя и продолжает гнуть свою линию, не считаясь с мнением начальства, рискуя всей своей карьерой, — то, что он делает, не называется поиском объяснений. Потому что он уже достиг границ присущей ему способности находить объяснения, точно так же, как его жена (женщина — когда-то — терпеливая и упрямая) перестала быть реалисткой — перестала быть частью реальности.

Ибо именно то, чего объяснить невозможно, и заставляет его перескакивать с пятого на десятое и мчаться на всех парах все дальше и дальше, в прошлое. Потому что, когда вперед дороги нету, единственный выход… Потому что его дети, которым снятся по ночам дурные сны, вдруг начинают слушать, а он, хоть и пытается что-то объяснить, на самом-то деле всего лишь рассказывает очередную…

11
О
СМЕРТИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Итак, когда патологоанатом представил свой отчет, а свидетели — то есть, в частности, отец и констебль Уайбрау — дали показания, на заседании коронерской коллегии г. Гилдси от 29 июля 1943 года по делу о смерти Фредерика Парра, шестнадцати лет, из Хоквелла, Кембриджшир, был вынесен вердикт, что пострадавший скончался в результате несчастного случая. И делу, и истории конец.

Но, сэр! Сэр! Этого не может быть, какой конец? А как насчет двойного удара — по голове? И этого урода, в смысле, брата? И всех этих дел, между вами и Мэри как-бишь-там-ее-фамилия? (Это ж надо, мы и думать не думали, что вы…) Как насчет исследовательского духа и наклонности к дознанию? Ну ладно вам, рассказывайте дальше. Ведь это же не конец.

Ладно. Истории не конец.

Потому что, когда коронер поставил подпись под вердиктом о смерти в результате несчастного случая и под свидетельством о смерти и дело дошло до похоронных формальностей, у отца были свои резоны по-прежнему задаваться вопросом Почемупочемупочему. Я же видел, как этот вопрос узлом завязывает морщины у него на лбу, и передергивает болью в хронически больном колене, и заставляет его, когда все уже сказано и сделано, поворачивать на месте кругом и снова ходить туда-сюда вечерним часовым на бечевнике.

Коронерская коллегия есть судебная инстанция; однако разбирательство не есть судебный процесс. Но мой отец, человек простой и весьма впечатлительный, будучи вызван помощником коронера для дачи показаний в качестве свидетеля, вполне готов был принять на себя роль обвиняемого и увидеть цель официального заседания в выяснении никак не обстоятельств смерти Фредди Парра, а того, каким образом он сам, Хенри Крик, смотритель шлюза Аткинсон, в результате прямого небрежения служебными обязанностями дал шестнадцатилетнему мальчику утонуть возле вверенной ему заслонки, а

потом еще и усугубил свершенное им деяние, нанеся телу упомянутого выше Фредди Парра увечье багорным крюком. Мой отец, в душной комнате коллегии, в непривычном жестком воротничке, под которым зудела и свербела вспотевшая шея, ждал решения суда:

Хенри Крик, мы признаем тебя виновным в непредумышленном убийстве, в предумышленном убийстве, в смерти ближнего своего, во всех грехах и прегрешениях, какие только есть на белом свете…

…КОРОНЕР: В какое время, по вашему мнению, произошла смерть?

ПАТОЛОГОАНАТОМ: Насколько я могу судить, между одиннадцатью часами вечера двадцать пятого и часом ночи двадцать шестого.

КОРОНЕР: Мистер Крик, в названное время слышали ли вы какие-либо звуки, которые могли бы вас насторожить — всплески, крики о помощи, — в районе шлюза?

ОТЕЦ: Никак нет, сэр. Боюсь, сэр, что я спал…

КОРОНЕР: Доктор, эта рана и ушиб на правой стороне лица пострадавшего — вы можете объяснить, что и когда послужило причиной их появления?

ПАТОЛОГОАНАТОМ: Через посредство твердого,

имеющего острые части объекта или инструмента, через несколько часов после наступления смерти.

КОРОНЕР: Вы уверены в последнем пункте вашего заключения?

ПАТОЛОГОАНАТОМ: Да, сэр.

КОРОНЕР: Мистер Крик, можете ли вы подробно рассказать нам, как была нанесена эта рана?

ОТЕЦ: Он такой тяжелый был. Это моя вина, сэр. Крюк соскользнул — ну и…

КОРОНЕР (*терпеливо*): Вы ни в чем не виноваты, мистер Крик, но постарайтесь, чтобы ваш рассказ был по возможности более точен. Успокойтесь, вам в этом деле не в чем себя упрекнуть…

Но отец успокаиваться не желает. Он мерит шагами бечевник, взад-вперед, твердя свое Почемупочемупочему. Он задается вопросом, как случаются такие вещи? (А я задаюсь другим, пока за ним наблюдаю: интересно, он подозревает — Мэри, Фредди, Дика, меня?) Он перебирает всю прожитую жизнь (точно так же, как я однажды стану перебирать всю прожитую им жизнь и зайду настолько далеко, что даже выкопаю в архиве покрытую слоем пыли стенограмму заседания коллегии), он ищет грехи, которые требуют ис-

купления, знамения, которым должно сбыться. И на его лице, когда он переводит взгляд с плоской реки на плоские поля, — выражение чрезмерной бдительности.

...КОРОНЕР: Если опустить специальные термины, как бы вы оценили процент содержания алкоголя в крови потерпевшего?

ПАТОЛОГОАНАТОМ: Как весьма значительный, сэр.

КОРОНЕР: Достаточный для того, чтобы потерпевший был пьян?

ПАТОЛОГОАНАТОМ: Несомненно.

КОРОНЕР: Могло ли это повлечь за собой расстройство двигательных функций?

ПАТОЛОГОАНАТОМ: Весьма вероятно.

КОРОНЕР: Достаточно ли подобного содержания алкоголя, чтобы увеличить вероятность того, чтобы пострадавший мог оступиться, поскользнуться и упасть с берега в реку?

ПАТОЛОГОАНАТОМ: Вполне возможно.

КОРОНЕР: А когда он очутился в воде — уменьшить его шансы на спасение?

ПАТОЛОГОАНАТОМ: Опять же, вполне вероятно.

КОРОНЕР (*нахмурившись*): Пострадавшему было всего шестнадцать лет. Он что, уже имел

привычку напиваться?

ПК [22] УАЙБРАУ (*с оглядкой, родители пострадавшего на дознании не присутствуют*): Боюсь, что так оно и было, сэр. При всем уважении к памяти усопшего, боюсь, он пошел в отца.

КОРОНЕР: Мистер Парр — запойный пьяница? Мистер Крик, вы можете это подтвердить?

ОТЕЦ: …

КОРОНЕР: Мистер Крик?

ОТЕЦ: Ну, он не прочь пропустить стаканчик-другой, сэр.

КОРОНЕР: Мистер Парр — пьяница, и, оказывается, все об этом знают. А еще мистер Парр — сигнальщик и смотритель при железнодорожном переезде…

А почему, собственно, подобные факты — а коронер мог бы и далее развить эту тему, не будь он занят совсем другими делами, — не повергали в перманентный трепет сердца водителей, мотоциклистов и прочего дорожного люда, привыкшего полагаться на шлагбаум Джека Парра, не говоря уже о проводниках, охранниках и пассажирах Большой Восточной железной дороги? И

---

[22] Примечания: 22

Полицейский констебль — примерный аналог отечественного участкового.

почему железнодорожным властям никогда даже и слышать не доводилось о недопустимой на таком ответственном посту слабости нанятого ими работника — тем более, что эта слабость (хотя коронер об этом так никогда и не узнал) подпитывалась нелегальными поставками спиртного на их же собственном подвижном составе?

По той простой причине, что миссис Парр — и об этом тоже знала вся округа, мог бы добавить констебль Уайбрау, — сама управлялась со шлагбаумом и сигнальными огнями, пока ее муж бывал не в себе. Именно она, пусть с усилием, но движением настолько привычным, словно с ним она и родилась, перекидывала туда-сюда лязгающие рычаги сигнальных стрелок; именно она принимала и передавала по адресу телеграфные сообщения из Эптона в Ньюхайт, из Эптона в Уэншем, что девять десять на Гилдси задерживается на двенадцать минут, что товарный переставлен в расписании; именно она в льдистых зимних предутренних сумерках размораживала при помощи паяльной лампы примерзшую навеску шлагбаума, покуда муженек храпел себе, где застало, сгружая воздух перегаром вчерашнего американского бурбона.

И какова же была причина столь позорной

расхлябанности со стороны мужа и подобного — неординарного — попустительства со стороны жены?

Молва гласит, что в ранний и трезвый период сигнальщицкой службы Джека Парра на Хоквеллском переезде едва не произошла ужаснейшая из аварий. Что кошмар, который мучит по ночам всех смотрителей на переездах, однажды воплотился в реальность, и Джек Парр забыл опустить шлагбаум, который как раз и следовало — опустить. Он уже начал было задремывать в своей будке, как вдруг его словно током пробило не столько даже воспоминание о страшной оплошности, сколько сочетание двух разнесенных покуда в пространстве факторов. Во-первых, на мост через Лим лениво взбирался алый почтовый грузовичок с южного берега, откуда в силу рокового топографического казуса, сведшего воедино поворот, береговую дамбу и лесополосу, железная дорога на северном берегу была не видна; а, во-вторых, с левой стороны от Джека Парра по убийственно прямому в этом месте полотну мчался на всех парах в направлении на Эптон пунктуальный до идиотизма Кингз-Линнский экспресс. И Джек Парр был единственный одушевленный участник этой сцены,

который мог увидеть ее во всей полноте и во всех душераздирающих последствиях. С невероятной, воистину панической скоростью он вылетел из сигнальной будки, в два прыжка одолел металлическую лестницу и принялся вращать, как только напуганный до безумия человек может вращать, коленчатую ручку подъемника.

Сцена взрывается развязкой. В единый — немыслимый, на последней доле секунды — миг шлагбаум закрывается, почтовый грузовик останавливается, истошно вопя тормозами, а Кингз-Линнский экспресс, под столь же оглушительный скрежет собственных тормозных колодок, проносится мимо. Никто не пострадал. Послужной список Джека Парра остался чист. Но шок был настолько сильным, настолько ужасна мысль о том, что могло бы случиться, а вероятность еще одной подобной оплошности настолько невыносима, что папаша Фредди Парра честно ударился в питие, предвосхищая возможную — когда-нибудь — забывчивость регулярными вылазками в алкогольное забвение, где заранее отпущены все грехи.

Однако вся эта история может оказаться не чем иным, как байкой в оправдание, рожденной в проспиртованном насквозь мозгу Джека Парра.

Может быть, Джек Парр и пил-то в силу тех же самых причин, по которым и прочие, немалые числом, обитатели Фенов прикладываются к бутылке. Потому что на него давили плоские черные фенлендские поля заодно с широким и голым фенлендским небом. Потому что он устал каждый день смотреть, не имея права покинуть свой пост, на одни и те же безликие речные берега, на воду меж берегов, цвета флегмы, на бесконечные картофельные и свекловичные грядки, на прямые как струна рельсы и на шеренги пирамидальных тополей; на продувную, на семи ветрах, платформу железнодорожной станции Хоквелл, на то, как сходятся и разбегаются в пространстве, терзая мозг своей невыносимой геометрией, прямые линии канав и дрен. Потому что это все, вкупе с железной размеренностью служебных дел — жуткое сочетание пустоты и ответственности, — потому что для него все это было слишком.

Ах, дети, пожалейте смотрителей при переездах, смотрителей при шлюзах, смотрителей на маяках — пожалейте всех на свете смотрителей (пожалейте даже и школьных учителей), угодивших в пропасть между осознанным человеческим бытием и пустынными горизонтами…

Порой я просто диву даюсь, отчего это мой собственный отец, маячивший туда-сюда-обратно по бечевнику над Лимом, отчего же он-то не запил.

Ясное дело, Джек Парр пил не веселья ради — он, говорят, вообще с того дня, когда несчастный случай не случился, ни разу не смеялся, то есть по-настоящему, от души. И, ясное дело, не радости для он откупоривает очередную бутылку «Олд Кентукки Гранд-дэд» поздно вечером двадцать девятого июля 1943 года, каковой датой официально засвидетельствована смерть его сына — и тоже в результате несчастного случая. Он прикладывается к бутылке раз за разом, только чтобы заглушить змеиный этот шип. Почемупочемупочему…

Потому что (глоток) мой Фредди был выпивши и свалился в речку, а рядом не было никого, кто помог бы ему выбраться на берег. А почему?.. Потому что пить он выучился у своего папаши, а папаша у него поганый забулдыга и до того дошел, что стал посылать сынишку с черным товаром с единственной целью достать на выпивку. А почему?.. Потому что папаша у него пропащий человек и ни на что не годен, и чему, кроме лжи да пороков всяких, спрашивается, можно было у него научиться, грешник он, грешник, и поделом

наказан смертью первого и единственного сына. Но почему?..

И как только очередное почему открывает на Джека Парра свою шипящую пасть, он заливает эту пасть глотком, а потом еще одним вдогонку, чтобы утопить грех пьянства в еще того большем пьянстве.

Но ничего не получается — ни забыть, ни забыться.

И до чего же довели Джека Парра эти вины взыскующие и от вина не утихающие почему — в ту самую июльскую ночь? Они до того его довели, что он лезет через собственный шлагбаум и садится с бутылкою в руке и с видом полной обреченности прямо на рельсы. Ни вопли с причитаниями пополам, ни отчаянные физические усилия миссис Парр не могут сдвинуть его ни на дюйм. Он не говорит ни слова. На рельсах отблескивает лунный свет. Папаша Фредди Парра сидит и ждет, пока ноль часов сорок минут из Гилдси или часовой товарный (что-то расписание в голове перепуталось) его не переедет.

Никто его, однако, так и не переехал. И раннее утро застает его все там же, на рельсах, хватающего ртом воздух. Потому что миссис Парр, оставив бесполезные мольбы и вспомнив о

врожденной смекалке, забирается в сигнальную будку, как ей уже не раз приходилось делать во время мужниных запоев, и принимается переключать сигналы, отбарабанивать телеграммы и названивать по телефону констеблю Уайбрау — который тут же начинает регулировать транспортные потоки, — чтобы заявить о «поломке» на переезде, о чем уже предупреждены другие сигнальщики вверх и вниз по магистрали, и оттого рождается целый телеграфный заговор: разноцветные огни перемигиваются над доброй половиной восточных Фенов, поезда отменяются, изменяют маршруты следования, задерживаются на необъяснимо долгие сроки, к вящей досаде ночных пассажиров, фрахтовщиков и ничего не понимающих чиновников из управления Большой Восточной.

Вот так Джек Парр и провел всю ночь под звездами — которые, если верить отцу, повисли навсегда промежду небом и землей как раз за наши грехи, — отупевший от выпивки, в ожидании грохочущей стальными колесами смерти, которая так за ним и не пришла. Так он и сидел — лежал — храпел — и дрых без задних ног. Покуда не проснулся, среди залитого пением жаворонков утреннего пейзажа, и не обнаружил, что он вовсе

не умер, а остался жив и что, по его подсчетам (ибо Флора Парр ничегошеньки ему не сказала), над ним сегодня ночью пронеслись два пассажирских и три товарных состава, не оставив на нем даже царапины. И таким вот образом Джек Парр, а он был человек суеверный и поклялся в то утро ни капли больше в рот не брать, уверовал, что Бог, который, наказывая грешных, бывает иногда необъяснимо жесток и топит у человека единственного сына, творит в то же самое время столь же необъяснимые чудеса.

Потому что, несмотря ни на что, несмотря на пустоту и монотонность, этот самый Фенленд, эта осязаемая на ощупь земля, поднятая из трясины столетиями людских трудов, есть земля таинственная, волшебная страна.

12
О ПЕРЕМЕНАХ В ЖИЗНИ

Мэри, где бы ты ни была — теперь, когда ты ушла, ты все еще здесь, но тебя больше нет, ты где-то там, внутри, в себе, ты сожгла мосты, и все, что от тебя осталось для прочих разных, только твоя история, — ты помнишь (интересно, а ты еще способна помнить?), как мы лежали когда-то в пустой раковине старого ветряка возле Хоквелл-Лоуда и как пустые плоские Фены вокруг нас тоже сделались волшебной страной, пустою сценой, застывшей в ожидании чудес? Ты помнишь, как мы глядели в небо, в голубую пустоту, и как оттуда, с неба, вниз (потому что я тебе так сказал: мою доморощенную веру на твою католическую догматику) на нас глядел Бог; и как Он снял крышу с импровизированного нашего любовного гнездышка, а мы и не возражали? Как никто не мог нас видеть в нашем мельничном будуаре, кроме Него; и как мы Его не стеснялись?

И тот ли это самый Бог, который когда-то любовался на нас, теперь заговорил с тобой?..

Давным-давно жила-была жена учителя исто-

рии по имени Мэри, голубые любопытные глаза и каштановые волосы, которая, прежде чем выйти замуж за учителя истории, была дочкой кембриджширского фермера. Которая жила в простом, но крепком доме из желтого кирпича, стоявшем посреди свекловичных полей, и картофельных полей, и склонных к геометрии ирригационных канав. Которая во время Второй мировой войны посещала женскую школу (монастырскую) Св. Гуннхильды в Гилдси, способствуя тем самым становлению и развитию знакомства с будущим учителем истории, который тоже учился в Гилдси. Которую, к полному удовлетворению и к вящей гордости отца, сестры-монахини из школы Св. Гуннхильды числили светлой головой и умницей и приписывали ей тягу к знаниям, но которая при этом, к горькому разочарованию все того же отца, никак не желала ограничивать тягу к знаниям одними только отведенными специально для этого школьными часами, особенно в том, что касалось секса. Чьи изыскания в данной области не замыкались на будущем учителе истории. Которая была склонна к авантюрам, к экспедициям в неведомое и вообще ко всяческой несдержанности. За которой и представить-то было невозможно подобное деяние — запереть-

ся, подобно отшельнице, в подражание нашей местной святой, на три с лишним года в унылом отцовском доме; она, однако, именно так и сделала, на семнадцатом году, осенью 1943-го, чем привела отца в совершеннейшее смятение, наказав себя за любопытство, которое в тот год — и не у нее одной — вдруг все куда-то подевалось.

Давным-давно жила-была будущая жена учителя истории, которая взяла и приняла решительные меры. Которая сказала будущему учителю истории (чем ввела его чуть не в ступор, потому что он и понятия не имел, что нужно делать в подобных ситуациях): «Я знаю, что мне делать». Которая, какое-то время спустя, а в промежутке много чего успело произойти, сказала ему: «Мы должны расстаться». А потом похоронила себя в этом стоящем на отшибе доме — а он закопался в книжки.

Кому-то может показаться, что этим своим заточением она обязана не столько добровольно наложенной на себя епитимье, сколько желанию опозоренного и разгневанного отца, человека, способного на весьма крутые меры, как следует ее проучить: он, возлагавший на нее когда-то большие надежды, но уверившийся — отныне и во веки веков — в ее полной испорченности,

сам-де решил ее запереть, от греха подальше. Однако ваш учитель истории (испуганный свидетель решительных действий своей будущей жены), знает наверное, что ее отец, сколь ни будь он лишен милосердия, играл в данном деле второстепенную роль. Он знает, что Мэри заперлась по собственной воле. Хотя он и понятия не имеет, будучи лишен права не только на свидания, но и на переписку, что там, за эти три года, происходило. Говорил ли к ней Бог (и в ту пору тоже), как говорил Он сквозь завывания демонов к св. Гуннхильде; обрела она путь к спасению; и — не навещал ее, часом, с визитом призрак Сейры Аткинсон, который, согласно местным поверьям, часто является тем, чья жизнь остановилась, хоть им и приходится жить и жить дальше… Или же правда состоит в том, что ничего, ровным счетом ничего за эти три года не произошло и что будущая миссис Крик, глядя изо дня в день сквозь окошко на убийственно ровные поля, всего лишь, вольно или невольно, готовила себя к будущему браку — который тоже будет чем-то вроде фенленда.

Как бы оно там ни было — поскольку будущая жена никогда сей тайны так и не открыла, а будущий учитель истории, призванный в самом

начале 1945 года на военную службу, не обладает даже крохами полученной из первых рук информации, — как бы там ни было, правда состоит в том, что за три года стыд и гнев фермера Меткафа смягчились и переросли в беспокойство за здоровье дочки и за ее благополучие в будущем.

Переступив через собственную гордость — смирившись с мыслью, что дочери не суждено достичь высот в мире, который, кажется, по самой своей природе наклонен опускаться все ниже, — и нарушив зарок никогда не говорить с этим человеком, он наносит визит соседу, Хенри Крику.

Хотя Харольд Меткаф вдовец, такой же, как и Хенри Крик, и привык к уединенному образу жизни, его до глубины души поражает запущенный и неприкаянный вид смотрителя, который живет теперь один-одинешенек в доме у шлюза и которого он застает, быть может, за починкой вершей или за тихой беседой с курами.

Хенри Крик встречает его долгим взглядом, удивленным и опасливым. Они начинают ходить вокруг да около. Один жалуется на упадок речного транспорта, другой на беззакония, творимые Военным сельхозкомитетом. Ни тот ни другой не хочет первым поднимать больную тему. На-

конец фермер Меткаф спрашивает Хенри Крика, не слыхал ли тот чего от сына, который теперь квартирует в Кельне, — и тем создает прецедент.

На лимских берегах, быстро найдя общий язык, но изрядно помаявшись, пока не проходит взаимное чувство неудобства, двое мужчин заикаются, вздыхают, рассудительно кивают (Хенри Крик потирает колено) и соглашаются: что было, быльем поросло, дальше так продолжаться не может, и что время, в конце концов, оно великий лекарь всех печалей. Короче говоря, фермер Меткаф предлагает, чтобы Хенри Крик написал сыну письмо и намекнул, что неплохо бы тому прислать другое письмо, ну да он понимает какое, Меткафам на ферму. И Хенри Крик, хоть он и не мастер писать письма, да и в дипломатии не слишком силен, на это согласен; потому что (взять хотя бы его собственный в этом отношении опыт) он уверен: браками заведует Судьба, а Судьба — она великая сила; и если где Судьба подставит плечо, сладить можно даже с самой неподъемной работой.

Хотя зря он так мучается над этим судьбоносным письмом. Потому что его сын, почти успевший оттрубить свое в Армии его величества на Рейне и углядевший свет в конце тоннеля, уже

принял решение — как раз когда отцы наводили мосты — излить на бумагу чернила и прервать затянувшееся в охранительных целях молчание. Он и в самом деле пишет письмо, из тех писем, где Судьба стоит за каждым словом. Однако он тоже предпочитает говорить обиняками. Он описывает, неуверенно и многословно, выпотрошенные города, беженцев, полевые кухни, массовые захоронения, очереди за хлебом. Он пытается объяснить, как все эти вещи дали ему некое новое видение, новую перспективу, и события, происшедшие на реке Лим, кажутся ему теперь, быть может… Но он ни слова не говорит о том, как в силу тех же самых причин его желание постичь тайны истории стало глубже и, более того, усилилась вера в образование. Он дает понять, что тоже прошел свою епитимью, хотя и не осмеливается намекнуть, что здесь они, наверное, тоже квиты и что двух лет, проведенных в казармах и соответствующих месту и времени медитаций на развалинах Европы — не хватит ли этого для отпущения грехов? Он не говорит о планах на будущее, он только спрашивает, не могут ли они, ввиду предстоящих ему демобилизации и возвращения в Англию, хотя бы встретиться.

И словно в доказательство того, что Судьба

приложила здесь руку, он, едва успев отправить письмо, буквально через пару дней получает другое, рожденное в муках и корчах, — отцовское. Так что фермер Меткаф немало подивился, вынув из почтового ящика адресованное дочери письмо со штемпелем города Кельна, той скорости, с которой Хенри Крик осуществил порученную миссию, и как это у него убедительно вышло. В результате (ведь некому было вывести обоих из заблуждения) он склоняется к тому, чтобы переменить привычное мнение об этом несчастном смотрителе, на которого он всегда смотрел как на доверчивого дурня (мозги-то ему, чай, подправили во Фландрии) — чего стоит одна эта его нелепая женитьба.

Вот так оно все и вышло, и в февральский день 1947 года будущая жена учителя истории ждет своего суженого в Гидлси, на вокзале. Вот так и вышло, что уволенный в запас военнослужащий Крик (уже преисполненный решимости стать учителем) едет домой в обличье Принца, который готов развести руками шиповник и паутину и поцелуем вызволить Принцессу из одолевшего ее на три года забытья — какова ни будь природа этого явления. Он готовится встретить на вокзале — и принять — монашенку, Магдалину, фанатич-

ку, истеричку, неизлечимо больную… Но, едва соскочив со ступеньки вагона, он видит женщину (никак не девочку), которая уверенно и твердо стоит на ногах, как если бы она решила провести всю оставшуюся жизнь безо всяких там подпорок и попыток к бегству. И он понимает: пусть даже трехгодичная разлука взрастила в нем иллюзию, что, если они встретятся снова, он должен будет стать опорой для нее (обманчивое ощущение взрослости, заскорузлая корочка армейских будней, знакомство с большим — и разоренным — миром), все будет с точностью до наоборот; она всегда будет, как и в те дни, когда она утратила исследовательский пыл, сильнее, чем он.

Холод стоит собачий. Слежавшийся под коркой наста снег застилает Фены, и, хотя в февральский этот день солнце светит вовсю, морозец хватает за щеки. В привокзальной чайной «Белая роза» происходит сцена, которая у постороннего наблюдателя — но не у протагонистов — могла бы вызвать в памяти привычные кинематографические сцены встреч (луноликий владелец заведения замечает, что чай на столике стынет нетронутый, и подмигивает в камеру): будущая жена учителя истории и будущий учитель истории вместе обдумывают житье. Ясно, что

узы, связавшие их между собой, куда прочней и жестче, чем у подавляющего большинства влюбленных парочек, бегом бегущих под венец; ясно также, что, если они не предназначены друг для друга, для кого тогда каждый из них по отдельности предназначен? Ясно, что, пусть даже в силу определенных обстоятельств… что, пусть они не в состоянии просто вычеркнуть и забыть…

Он, несший, заикаясь, что-то несусветное, останавливается на полуслове. Они смотрят друг другу в глаза. У нее глаза все те же, дымчато-голубые: она по-прежнему — неужто, забыла? — желанна. У нее на голове (в довершение образа бывшей школьницы и бывшего солдата?) простой черный берет. Он говорит с ней сквозь прядки дыма, он курит «Кемел»; специально припрятал несколько пачек, чтобы легче было найти общий язык с Харольдом Меткафом. Ясно, что, пусть они и не были любовниками вот уже три с половиной года, в душе они таковыми остались.

Они покидают чайную «Белая роза» (чай остался нетронутым), где нельзя было целоваться и держаться за руки. Его дыхание и ее дыхание парят единым облачком. Они пересекают Рыночную улицу, идут вниз по Водной. На Узской набережной они обнимаются. Теплая зимняя

одежда приглушает, притупляет непривычное чувство близости. Первый поцелуй. Который не имеет отношения к былому, будто в омут канувшему любопытству и не воскрешает девочки, лежавшей когда-то навзничь в развалинах ветряка. Но и не кажется ему, в то же время, поцелуем женщины, которая все еще взыскует Спасения.

Вот так, у льдистой Узы, пока они шли рука об руку между сугробами счищенного с тротуаров снега (соглядатаи, будь таковые в наличии, могли бы с чистой совестью отвалить восвояси и доложиться Хенри Крику и фермеру Меткафу, что все, мол, в порядке), все и было решено. И там же, на Узской набережной, будущая жена учителя говорит ему две вещи. Сначала (глядя на снежные сугробы); «Половодье будет страшное. А отец не может перегнать скот. Этим идиотам из Дренажного совета за многое придется ответить». А потом (глядя прямо ему в глаза): «Ты ведь, наверное, знаешь, что детей у нас быть не может — вот разве только чудом?»

Давным-давно жила-была будущая жена учителя истории, которая носила школьную форму ржаво-красного цвета, а свои темно-каштановые волосы стригла согласно школьному уставу под прямую челку и надевала сверху школьный же

берет или соломенную шляпку; и которая при этом — ничего или почти ничего на себя не надевши — побуждала будущего учителя истории исследовать лабиринты ее едва народившейся женственности, благоговеть перед тайнами ее менструального цикла — и требовала от него в ответ такой же открытости. Которая так любила прояснять неясности, раскрывать тайны, а потом утратила всякую любознательность. Чья жизнь дошла до некой мертвой точки, когда ей было всего-то шестнадцать, но ей пришлось жить и жить дальше.

Однажды, очень много лет тому назад, жила-была будущая жена учителя истории, которая сказала будущему учителю истории, что они больше никогда не увидят друг друга, а три года спустя вышла за него замуж. И будущий учитель истории увез ее с собой, в 1947 году, из родных кембриджширских Фенов в Лондон. Хотя не раньше, чем потоп, вызванный половодьем, затопил весной того же года большую часть этих самых Фенов. И не раньше, чем этот самый потоп — из-за которого Хенри Крик, продолжавший упорно и добросовестно, ютясь в полузатопленном доме, выполнять обязанности смотрителя, подхватил крупозное воспаление легких, — не раньше, чем

потоп принес с собою смерть отца будущего учителя истории.

Но это уже совсем другая история…

Они переезжают в Лондон. Он становится учителем. А она, просуществовав несколько лет просто как жена учителя истории (провожая его, что ни утро, в школу — отсюда неизбежность иронии, шарад из области «мать—сын»), находит себе работу в местном правительственном учреждении по вопросам заботы о престарелых — ни разу так и не объяснив причин сделанного ею выбора.

Живут они в Гринвиче, лондонском пригороде с богатым историческим наследием: Королевская Обсерватория; парк, где охотился когда-то Генрих VIII; бывший дворец, а ныне Морской музей; не говоря уже о поставленной на вечный прикол «Катти Сарк», чей бушприт неизменно указывает в сторону Острова Псов. Он преподает в классической гимназии (в 1966 году ее переносят и расширяют и делают из нее общеобразовательную школу) в Чарлтоне. Она работает в муниципальном центре, в Льюишеме.

Они приобретают постоянные привычки и разнообразят их лишенными крайностей вариациями. Воскресные прогулки в парке (до

Обсерватории и обратно). Обмен визитами с его (учителя) и ее (соцработники) коллегами. Странное равновесие, существующее между их сферами деятельности — он занимается детьми, она стариками, — служит во время этих дружеских вечеринок (интересно, как сама эта пара реагирует на подобного рода юмор?) стандартным поводом для шуток. (А куда подевалась середина жизни?) Регулярные, примерно раз в полтора месяца, поездки к ее отцу (который не бросит свою ферму и слышать не желает всей этой чепухи насчет каталажек для старичья) в Кембриджшир. Дни рождения и годовщины свадьбы отмечаются в ресторане. Выходы в театр. Экскурсии по выходным. Отпуска: он, блюдя честь мундира, предпочитает исторические места; она нелюбопытна.

Не будучи обременены детьми — и унаследовав в 1969 году часть денег, вырученных от продажи фенлендской фермы, — они не испытывают недостатка в деньгах, более того, они живут с комфортом, пожалуй, даже и неподобающим: «завидный гринвичский особнячок» (эпоха Регентства, портик у парадной двери), из которого в известного рода газетных репортажах сделают целое дело.

Они приобретают постоянные привычки и развлекаются тоже привычно. Настолько, что три десятилетия проходят без особых вех, и не успеешь оглянуться, а им обоим уже за пятьдесят: он — заведующий отделением, отказавшийся в свое время от директорского поста; она уже успела принять очередное решение; в силу причин, ничуть не более ясных, чем те, что заставили ее когда-то устроиться на работу, оставила своих стариков. И когда они гуляют теперь по воскресеньям в парке (прогулки, во время которых — обратите внимание — ежели им случается искать друг у друга опоры, скорее он опирается на нее, нежели наоборот), к ним присоединяется третий участник — золотой ретривер по имени Падди. Он скачет вокруг них, он ластится, время от времени заставляет их улыбнуться или произнести пару слов — одобрение, команду. Золотой ретривер, которого она купила ему в подарок, на пятьдесят два года, и официальный повод был (кишечные колики) — необходимость более подвижного образа жизни как профилактика старения. Но если — хотя бы вскользь — принять во внимание тот факт, что жена решила бросить работу в то самое время, когда у нее начался поздний и оттого довольно болезненный климакс,

объяснение подарку можно подыскать совсем другое…

Они прогуливаются не спеша по аллее у Обсерватории, на негреющем январском солнышке, и за ними плетется Падди, припадая, что ни куст, на все четыре. Глаза прищурены, свет слишком ярок; морозный воздух славно холодит тяжелые — воскресенье, утро — головы. Потому что в субботу вечером был званый ужин у Скоттов, Ребекки и Льюиса.

Льюис, всегда с бутылкой наготове; суетится одетая во что-то светло-вишневое миссис Скотт; младшие Скотты (никак не получается заснуть; взрослые тут разгалделись внизу) вдруг выставляются, как на параде, напоказ в гостиной, одетые в пижамы и ночнушки, застенчивые улыбочки и две-три совершенно неуместные выходки, их, как мух поганых, гонят скопом обратно в постель; за кофе с коньяком нелепая тема противоядерных бомбоубежищ…

И все это, с его точки зрения — хотя она ему и говорит, что у него паранойя, пока они едут к Скоттам, — часть филистерского по сути своей заговора. Просто, чтобы его хоть как-нибудь умаслить. (Когда это Льюис в последний раз приглашал Криков на ужин?)

До него уже дошел слух («Твое здоровье, Том»): Историческое отделение подлежит…

Шарфы и перчатки. Посеребренный асфальт под ногами. Выдох срывается с губ паровозным дымком. Они идут молча — ужин у Скоттов расчленен и расчислен, — каждый погружен в свои дымчато-непрозрачные мысли. Падди тактично держится поодаль.

Она говорит словами, которые уже вертелись у него на языке.

«Что случилось?»

«А — я просто думал об одном из моих детишек. Такой, знаешь, нарушитель спокойствия. По фамилии Прайс».

Она улыбается, она готова сменить тему.

«Расскажи мне о нем».

И он рассказывает ей о Прайсе. Это его заявление в классе: история дошла до точки. Учитель импровизирует теорию: Прайс как будущий революционер. Как всякий наделенный беспокойным умом молодой человек, Прайс хочет переделать мир. Однако Прайс знает, что старые, настоящие революции кончились. Все, проехали. Отсюда его парадоксальная выходка на уроке по Французской революции. О чем мы говорим, какие революции, когда история подходит к…?

Разочарованный революционер становится реакционным радикалом: Прайс не хочет менять мир, он хочет…

«Спасти его?» Ее слова еще раз опережают его слова.

Она берет его за локоть, мягкое пожатие. (Они гуляют так просто, так привычно, в старом парке — и так близки друг другу — в последний раз.)

«Но я не о том. Я хотела сказать — расскажи мне О нем».

«О Прайсе? Шестнадцать лет. Кудрявый. Костлявый. Такой вид, будто его не кормят — или выгнали из дому. И при этом ворчун. Нет, ты не так поняла, дом у него, конечно, есть. Я его както спросил: „Как дела дома?“ А он в ответ: „Им хорошо“. И он еще чем-то мажется — не спрашивай меня почему, — чем-то вроде грязно-белого грима…»

Он путается, ему, похоже, нужно выговориться об этой неполовозрелой занозе в своей учительской плоти.

«Он, в общем-то, отнюдь не дурак. Мне кажется, он в чем-то меня обвиняет. В том, что история… Он — симпатичный, в общем… Мне кажется, он чем-то напуган».

Она слушает, задает вопросы. Дымком отлетает

дыхание. Живые глаза. Морозный воздух.

«Как-то не в твоих это правилах — принимать ученика близко к сердцу».

И не в правилах Мэри — быть любопытной.

Давным-давно жили-были будущий учитель истории и будущая жена учителя истории, у которых все пошло наперекосяк, а потому — поскольку прошлого с рук не сбудешь, поскольку никак не быть не может — им и пришлось обходиться тем, что под рукой.

А под рукой было прошлое, и он, ничтоже сумняшеся, сделал из него себе профессию, из предмета, которого не вырвать с корнем, который копит силы и объем и посягает на новые сферы — лучшей иллюстрацией в данном случае могут служить растущие с каждым годом шеренги книг, которые заполонили комнату во втором этаже гринвичского дома, из которой учитель истории решил устроить себе кабинет, и расползлись понемногу на лестничную площадку и на стену вдоль лестницы. Он стал зарабатывать себе на жизнь — труд всей жизни — прошлым и оправдывать себя детьми, которым он, что ни день, преподносил уроки прошлого. История как напутственный подарок — громоздкий, но небесполезный, — чтобы каждый захватил его с собой

в будущее. И таким образом, учитель истории — хотя в его отношении к питомцам явственно проскальзывают сперва отцовские, а потом и дедовские черты, хотя он все реже видит (но не желает этого признавать) в этих лицах образ будущего и все чаще и чаще что-то такое, что он когда-то потерял, а теперь пытается вернуть — всегда имеет право сказать (последнее время он склонен к парадоксам): он смотрит вспять, чтобы лучше было видно то, что впереди.

А вот у нее (ему так казалось) под рукой и вовсе ничего не оказалось. Не веря, не желая смотреть ни вспять, ни вперед, она училась вести счет времени. Чтобы, по ту сторону шатких временных опор их брака, ей было что противопоставить пустому пространству реальности. Так, чтобы в отличие от него, который никак не мог обойтись без уроков истории и без школьников, она могла в любой момент расстаться со своими Стариками — примите во внимание это добровольное и ни-шагу-в-сторону решение. И пусть он каждый день мчался в школу, он возвращался всегда к одной и той же вполне взрослой женщине, которая в вопросах о том, чему быть и чему не бывать (по крайней мере, ему так казалось), была сильнее его — и которая была ему нужней, как выясни-

лось впоследствии, когда дело дошло до дела, чем всяческая мудрость и утешение истории.

Так что жена вашего, дети, учителя истории была, можно сказать, источником его вдохновения — во всем, о чем бы он вам ни рассказывал…

Давным-давно жила-была жена учителя истории, которая в силу сугубо специфического, сугубо исторического стечения обстоятельств не могла иметь детей. Хотя у мужа детей была целая куча: река детских жизней — всякий раз сначала — течет через классную комнату. Которая могла усыновить ребенка (много раз, в первые годы совместной жизни, муж осторожно — и с надеждой — поднимал эту тему); но так никогда и не усыновила, по той, как считал ее муж, простой и вязкой, как кисель, причине, что усыновить ребенка — это не взаправду, а она не такая женщина, чтобы покупаться на обманки.

Давным-давно жила-была жена учителя истории, которая, будто бы нарочно, чтобы доказать, что она может прожить без детей, находит себе работу среди стариков, среди людей, которые, с тех пор как их жизнь дошла до точки, сделались обузой, источником лишней головной боли для собственных детей, почему и приходится сбывать их понемногу с рук и помещать в Дома. Которая

отдает этой работе двадцать с лишним лет. Однако на пятьдесят третьем году жизни — в тот год, когда она дарит мужу на день рождения собаку по имени Падди, — она внезапно, хотя и не то чтобы повинуясь внезапному порыву, перестает работать со стариками и не оставляет себе других занятий, кроме как присматривать за квартирой и оглядывать — из края в край — плоский и монотонный ландшафт тридцати лет совместной жизни, покуда он оглядывает шеренгу за шеренгой учеников.

Жена учителя истории, которая (по крайней мере, так думалось учителю истории) на мир смотрела трезво. Которой не нужно было (потому что она когда-то хорошо учила уроки) снова ходить в школу. Которая больше не верила в чудеса и всяческие сказки и не верила (вволю наэкспериментировавшись в ранней юности) ни в Новую Жизнь, ни в Спасение.

Но на пятьдесят третьем году ее жизни, в 1980-м, учителю истории начинает казаться, что эта бывшая школьница, которая когда-то не могла пройти мимо тайны, чтобы ее не раскрыть, сама вынашивает некую тайну. Почему она все отмалчивается? (А глаза при этом живые, взгляд острый.) Что она делает со всей этой кучей сво-

бодного времени, пока он разглагольствует перед классом? Почему так часто ее не оказывается дома, когда он, ближе к вечеру, возвращается с занятий? Не провести ли все это по ведомству (как в случае с Томасом Аткинсоном) старческой мнительности, ведущей к острому воспалению ревности? Ибо миссис Крик, вы же видели, дети, это можно понять даже по гнусным газетным снимкам, она совсем неплохо сохранилась.

Наконец она сознается: была у священника. Она исповедуется в том, что была на исповеди — чего не делала уже почти сорок лет. Но больше она ничего говорить не хочет. Она приносит в дом книги, и от одних только названий (Если бы Иисус вернулся; Бог или Бомба) его бросает в дрожь. Он смотрит, как она читает (покуда сам проверяет тетрадки). Она читает с тем глубоким и неподдельным интересом, который он время от времени — в такие минуты на сердце у него делается легко — замечает у слушающих его учеников. Учитель истории говорит себе — имея в виду, что она от него ускользает, имея в виду, что привычная картина мира переворачивается с ног на голову: моя жена опять впадает в детство. Он пытается ее вернуть, обезопасить. Однако по воскресеньям, утром или днем, в привычное для

них обоих время прогулок в парке, она настаивает — в первый раз это случилось через неделю после разговора о Прайсе, — что ей бы лучше прогуляться одной (он остается на пару с собакой): и учителю истории сильно сдается, что целью этих прогулок является очередной визит в церковь.

На вершине Гринвичского холма, в Гринвич-парке, стоит Обсерватория, выстроенная Карлом II, чтобы исследовать тайны звезд. Возле Обсерватории, впаянная в асфальт, извечный повод для туристов пощелкать фотоаппаратами и постоять, раздвинув ноги, — металлическая пластинка, отметка нулевой долготы. Рядышком с нулевой долготой, в плаще и треуголке, стоит, взгромоздившись на постамент, бронзовый генерал Вулф [23] и таращится на Темзу. А под генералом Вулфом, в той же позе неусыпной бдительности, стоит, в пальто и кашне, учитель истории, в –надцатый раз наблюдая всемирно известный вид. Морской музей (личные вещи Кука и Нельсона);

---

[23] Примечания: 23

Один из самых талантливых, удачливых и популярных английских военачальников середины XVIII века. Финальным аккордом в его карьере было отвоевание у французов Канады, в которую он неоднократно вторгался с 1758 по 1760 год. После взятия в 1760 году Квебека исход войны был решен. Вулф погиб в решающий момент этого сражения, взяв командную высоту, — и дал тем самым тему для множества ура-патриотических полотен, речей и т.д.

Военно-Морская Коллегия (расписной потолок с изображениями четырех английских монархов). У истории свои горки с безделушками. Пошлые игры прошлого. Учитель истории, собственной персоной, предводитель буйных (конец семестра) экскурсий. Река: стальная змея, вьется сквозь хаос допотопных верфей и пакгаузов, доков, забытых за давностью лет…

С вершины Гринвичского холма можно не только окинуть взором непроницаемые небеса, но и, счистив лишнее, представить виды былых времен (парусные корабли в Индийском доке; королевские барки, под картинным, как у голландских мастеров, небом, идущие в сторону Дворца), воочию вообразить то дикое водоземье, которое было когда-то на месте этих приречных пригородов. Дептфорд, Миллуолл, Блэкуолл, Вулвич… И, вдалеке, на востоке, вне пределов видимости, бывшую топь, где в 1980 году построили большую дамбу, обезопасили район от наводнений.

Он стоит один-одинешенек и наблюдает вид. Каждое воскресенье, ежели погода позволяет, разными маршрутами, до Обсерватории и обратно. До нулевой долготы и обратно. Остановка на гребне холма; прекрасный вид; молчание и за-

думчивость, вместе, однако и порознь; потом он ей или она ему (улыбка; передергивает холодок): «Домой?» Но сегодня он стоит один, у ног Героя Квебека.

Он стоит один — если не считать золотого ретривера, который трется у ног, и тычется мордой, и клянчит, чтобы с ним опять поиграли в апорт. Потому что жена больше не ходит вместе с ним на прогулки. А ходит своими путями. Как будто, думается ему, она (это при живом-то муже) вдова. Хотя вдова — неправильное слово. Вдовы бывают старые. А она все молодеет. Она уходит от него. Она похожа на женщину, которая вдруг влюбилась…

Низкое зимнее солнце над Флимстидской обсерваторией. Огненные блики на крыше Морского музея. Учитель истории оглядывает развернувшийся перед ним вид. Думает об ученике по фамилии Прайс. Единственное, что по-настоящему имеет смысл… Если честно, он и в самом деле напуган. Если честно, он не знает, что думать. Он рассказывает — сам себе — истории. (Как однажды мальчик с девочкой… Как…) Он боится идти домой. Боится — уже, — что снова будут выходные, воскресенье. Темных вечеров.

Он оборачивается. Наклоняется, — вдруг, — что-

бы преувеличенно ласковым жестом потрепать по загривку потерявшего всякое терпение Падди, который, часто дыша и орудуя что есть силы хвостом, уже — весь предвкушение любимой игры. Он сходит прочь с дорожки, на траву, увлекаемый впавшей в экстаз собакой. В правой, затянутой в перчатку руке он держит уже изрядно погрызенную и вымокшую от слюны палку. «Апорт, Падди! Апорт!»

Учитель истории бросает палку, смотрит, как бежит пес — шустрое светлое пятнышко на самом конце длинной зимней тени — подбирает, приносит, просит еще. Он бросает еще раз. И еще, и еще, наблюдая работу инстинкта. Преследование; подбор; назад; опять преследование.

Ретривер. Золотой ретривер. [24] Второе, третье воскресенье подряд он ходит в парк один; бросает собаке палки. Потом, однажды, она изъявляет желание снова составить ему компанию. Он счастлив, невероятно счастлив, но держит себя в руках. Они надевают пальто. Падди тоже идет на прогулку. Ощущение новизны. Ее лицо, раскрас-

---

[24] Примечания: 24

В названии породы по-английски явственно звучит исходный глагол retrieve со смыслами — вернуть себе; вернуть в первоначальное состояние; исправить (ошибку); реабилитировать; спасать; вспоминать; поправляться; урвать (о времени).

невшееся от мороза, буквально светится изнутри. Они поворачивают к Обсерватории. Окидывают вид. Она хочет немного посидеть на скамейке. Сгущаются февральские сумерки (с наступлением темноты парк закрывается). Потом вдруг она заявляет: «У меня будет ребенок. Потому что Господь так сказал».

Дети, не переставайте спрашивать почему. Не забывайте об этом вашем «почему, сэр?». Почему, сэр? Хотя, чем больше вы спрашиваете, тем труднее найти ответ, тем больше необъяснимого, тем больше боли, и ответам, такое впечатление, никогда и близко не дойти до цели, не пытайтесь избежать этого вопроса — Почему.

13
ЛИЦЕДЕЙСТВО

Потому что, когда я был ваших лет, а Джек Парр спрашивал себя Почемупочемупочему и отец тоже спрашивал Почемупочемупочему, как сладко, как спасительно звучала эта лаконичная и нейтральная в прочем фраза: «В результате несчастного случая». Каким прекрасным и блаженно — обманчиво — тихим казался вид с Уэншемской дороги (блаженные плоские поля, блаженная размеренность канав), покуда я катил, в самый день чудесного спасения Джека Парра, на свидание с Мэри у Лоуда. Потому что краткая эта фраза — официальная формула — означала, что никто не виноват. Если смерть произошла в результате несчастного случая, значит, не было никакого убийства, ведь так? — а раз не было никакого убийства, значит, мой брат не мог быть… А если мой брат не мог, тогда и мы с Мэри тоже никак не… И оставалась всего-то навсего одна небольшая проблема (проблема и в самом деле крошечная, совсем даже ничего пока и не видно, а когда придет время, честное слово, мы пойдем

сперва к отцу Мэри, потом к моему отцу…) с этой маленькой закавыкой у Мэри в животе.

Вот я и сказал (на сей раз я не опоздал; я приехал первый, а Мэри появилась уже потом, на несколько минут позже, вышла из тополевой рощицы): «Все в порядке. Ты слышала? Несчастный случай. Так что все в порядке. Все в порядке. Ничто не изменилось».

А Мэри посмотрела на меня — как мне передать этот взгляд, который словно бы сделал ее на много лет старше, а с меня содрал чуть не десяток лет (у нее и теперь еще бывает — вернее, был — подобный взгляд, у моей супруги-матери, которая собирает утром мужа в школу)? Мэри посмотрела на меня и сказала: «Ничего не в порядке. Потому что это был не несчастный случай. Все изменилось».

И что же сделал этот ваш учитель-в-процессе-становления, услышав такие слова и получивши вдобавок подобный взгляд? Он оглядел невинные видом поля и канавы и увидел в них коварных заговорщиков. Он не мог решиться встать лицом к лицу с лицом любимой женщины, которая, судя по всему, ткнула его лицом же в откровенную ребяческую глупость. Он (опять же, чисто по-детски) психанул. Он пнул ногой кирпичный фундамент

бывшего ветряка на берегу Хоквелл-Лоуда. Он широким шагом рванул вверх по берегу все того же самого Лоуда, яростно выдрав по дороге пук травы, и, встав на гребне, принялся, столь же яростно, метать траву от себя то ошую, а то одесную. Значит, он, выходит, все в той же каше — а он-то думал, что коротенькая фраза протокола разом вытянет его наверх. А он-то купился на иллюзию, что все в порядке, как оно и было раньше, и что они могли бы даже, внутри разрушенного ветряка… А она взяла и все испортила. Как будто это с *ним* сыграли злую шутку. Еще один пук травы выдран с корнем. Будущий учитель истории упивается лицедейством. Он вышагивает, он кипит, он выпрыгивает из штанов, как истинный представитель мужской половины вида. Ты ведь смотришь на меня, а, Мэри? Ты видишь, в каком я *гневе* ? Еще один бессмысленный пучок травы летит вверх. Он смотрит в Лоуд (а непрозрачный Лоуд нахально возвращает взгляд). А Мэри стоит при этом внизу, под дамбой, обхватив себя руками за плечи, и, в общем-то, не обращает на него никакого внимания, ноль эмоций. Он один. Она одна. Он один и бушует; она одна вся в себе, терпеливо и тихо.

Он оборачивается. Стоит июльский теплый

день, а его вдруг пробирает холодом. Он прекрасно знает, что страх, забравшийся в него на берегу реки четыре дня назад, и после, в запертой комнате, не унять короткой протокольной фразой, ни даже если выдрать и пустить на ветер все до единой метелки травы на обоих берегах Хоквелл Лоуда. Он стоит лицом к лицу с неподвижной девочкой. Ему вдруг очень хочется (и не хочется, разом), чтобы это шестнадцатилетнее, теплое телом, суровое лицом и взглядом, на десятой неделе беременное и больше нелюбопытное существо, в котором он увидел вдруг твердость железа, обняло его. Но руки у нее по-прежнему охватывают плечи. Он садится, ощутивши вдруг слабость в коленях, у подножия дамбы. Она стоит, как стояла. Он смотрит на нее снизу вверх и спрашивает (он хочет, чтобы кто-нибудь нашел ответы, хоть какие-то): «Это *ты* ему сказала. *Ты* ему сказала. И что мы теперь будем делать?»

И Мэри твердым тоном отвечает ему: «Я знаю, что мне делать».

И поворачивается, и идет прочь, оставив его сидеть у подножия дамбы, и даже не поворачивает головы, не произносит ни звука, когда он вскакивает на ног и кричит: «О чем ты, Мэри? *Что* ты собираешься делать? Мэри…?»

Он катит обратно в дом при шлюзе, не зная, когда он снова увидится с Мэри у развалин старого ветряка и увидится ли он с ней вообще. Его отец, который копал на участке за домом картошку (копание картошки как средство от вопроса «почему»), вытирает черные, в земле, руки и говорит, голосом, правда, несколько отличным от того, которым он когда-то по вечерам у камина рассказывал байки: «Джек Парр — ты слыхал? Сел на рельсы…» Садится сам, на перевернутый бочонок у курятника. Достает и раскуривает «Лаки страйк» (забыв: из фондов военно-воздушных сил США, через посредство Джека Парра, через посредство Фредди…) Быть может, он думает, глядя на сына — волнение, отчаяние в глазах, зеркальная копия его собственного лица, — не пора ли, в эту пору всеобщей борьбы и сведения счетов, а тут еще и утопленник… рассказать все как есть, всю историю, которую в один прекрасный день его сын так и так узнает. Но взамен говорит, выдохнув табачный дым, отечески, доверительно, заботливо:

«Это у вас серьезно — с Мэри?»

Серьезно?!

Задумчиво квохчут куры. Безмятежное кудахтанье. Тихая река. Обманчивый предвечерний

покой. «Сел на рельсы…» Потому что жизнь продолжается, несмотря на утопленников и на свидетельские показания, невзирая даже и на боевые действия, которые доходят до нас в виде радиосводок и вечерне-ночных затемнений. Отец встает: шестичасовая сводка. Ежедневный ритуал. Отдай-не-греши. Стоит у задней двери, качает головой (опять проутюжили Рур, каково тамошним жителям), потирает подбородок, сводя воедино проблемы местного масштаба с космическими проблемами. Идет обратно на картофельную делянку. И продолжает в бешеном темпе копать картошку.

И даже теперь, на залитых вечерним солнцем аэродромах, экипажи бомбардировщиков проходят инструктаж. И даже теперь, снизу, с дороги на Гилдси, приходит звук, не лишенный сходства с отдаленным гулом заходящего на взлет бомбардировщика. Едет Дик на своем мотоцикле. Знакомый звук, каждый вечер, чуть после шести. Диков мотоцикл, Дик едет домой с работы. Какая злая ирония: жизнь продолжается. И — возможно ли, — чтобы для Дика это был всего лишь следующий день, очередной, такой, как все? Дома чуть после шести. Чтобы он забыл?.. Чтоб настоящее для него застило прошлое? Чтоб он владел

отмычкой от волшебного свойства забвения, беспамятства, умения стирать время, коего так страстно жаждут все, на ком вина…? Ни Прежде; ни Потом. Просто следующий день. Очередная смена на землечерпалке. Отчерпыванье ила.

Отец и сын смотрят, как приближается мотоцикл. Смотрят на единое человек-плюс-мотоцикл живое существо, как оно мчится к ним из Гилдси по ровной и прямой дороге, потом сбавляет скорость и выказывает собственную двусоставность, как только Дик жмет на тормоз, садится прямо, и оба наблюдателя смутно слышат, сквозь шум мотора и облако поднятой Диком пыли — когда он сворачивает на грунтовую дорогу к дому, — лишенный мелодии вой, бессловесную, бесконечную песню любви к мотоциклу, которую Дик всегда поет на ходу.

Отец налегает на вилы. А сын подбирает картофелину («Ольстерский Вождь») и принимается терзать ее ногтями, сдирать с нее кожу, выдалбливать лунки, и спрашивает себя (в который раз): «И что *мне* делать?»

14
DE LA REVOLUTION

Она движется в обе стороны сразу. Она движется вспять, набирая при этом ход вперед. Она крутит петли. Идет окольными путями. Не впадайте в иллюзию, что история подобна дисциплинированной и не ведающей устали колонне, которая, не отклоняясь ни на шаг от курса, марширует в будущее. Помните, я как-то задал вам вопрос — загадку, — как ходит человек? Шаг вперед, шаг назад (и иногда шаг в сторону). Нелепость? Ну уж нет. Потому что, если он не сделает этого шага вперед…

Или — еще одна из моих школьных максим: «Для путешествий во времени не бывает компасов». И если говорить о нашем чувстве направления в этом измерении, которого не нанесешь на карту, мы более всего похожи на заблудившихся в пустыне путников. Мы искренне верим, что движемся вперед, к оазису Утопии. Но откуда нам знать — вот разве что некая воображаемая личность, взирающая на нас из поднебесья (назовемте его Богом) может знать наверное, — что

мы не ходим по большому такому кругу?

Нет смысла, дети, отрицать, что так называемые великие рывки цивилизации, не важно, в области морали или технологии, неизменно влекли за собой соответствующий регресс. Что распространение христианских догматов на области, называемые по привычке варварскими, в истории Европы — не говоря уже о наших миссионерских подвигах за ее пределами — прежде прочего служило причиною войн, массовых убийств, пыток и иных форм варварства. Что открытие печатного пресса привело, в свою очередь, заодно с распространением общедоступных знаний, к возникновению индустрии пропаганды, лжи, к усилению конфронтации и всяческих раздоров. Что изобретение парового двигателя привело к ужасам промышленной эксплуатации и к тому, что десятилетние дети работали в угольных шахтах по шестнадцать часов в день. Что изобретение воздухоплавания привело в период с 1939 по 1945 год к широкомасштабному уничтожению крупнейших городов Европы заодно с гражданским населением (здесь я могу представить в ваше распоряжение мои личные, как очевидца, побывавшего к тому же по обе стороны баррикад, свидетельства: ночные

вылеты бомбардировщиков с баз в Восточной Англии начиная с 1941 года; руины Кельна, Дюссельдорфа и Эссена).

А что до расщепления атома…

А там, где история не роет под себя подкопов и не ставит капканов на такой вот откровенно извращенный лад, она порождает коварнейшую тягу к прошлому. Это зачатое на стороне, однако же балованное дитя, Ностальгию. Как страстно мы мечтаем — как страстно будете и вы когда-нибудь мечтать — вернуться в те времена, когда история еще не успела наложить на нас лапу, когда еще не все пошло насмарку. Как мы грезим хотя бы и о золоте раннего июльского вечера, пусть даже все уже пошло вкривь и вкось, но если сравнивать с тем, что было потом… Как мы тоскуем по Раю. По материнскому молоку. Чтобы отдернуть пелену событий, упавшую меж нами и Золотым веком.

И откуда нам — потерявшим путь в пустыне — знать, что мы идем, что нам нужно идти к оазису грядущего, а не к другим каким Елисейским полям, зеленым и свежим, которые, в незапамятные времена, мы оставили за плечами? И откуда нам знать, что эта гора багажа, именуемая Историей, которую мы вынуждены тащить на себе — из-за

которой наш шаг превращается в тягостную крабью приступочку, и то и дело нас кидает в сторону, — мешает нам идти вперед… или назад? В которой стороне спасение? Неудивительно, что мы ходим кругами. Ну и ладно. Давайте сбросим наш багаж, зашвырнем куда-нибудь все это барахло и оглядимся. Как же часто нас одолевает желание выбросить за борт весь как есть балласт истории, избавиться от тягостного груза. А поскольку история набирает вес, поскольку она год от года делается все тяжелей и трет нам плечи, попытки отделаться от нее (чтобы рвануть — куда бишь мы шли?) делаются все отчаянней и радикальней. Вот потому-то историю время от времени и корежит в конвульсиях, вот потому-то — а она все растет и давит, и ее все труднее нести на себе — человек — который даже и без груза за спиной не знает, куда ему идти, — оказывается вовлечен во все более и более тяжкие катаклизмы.

И что же приводит нас вспять, через посредство катаклизмов и полной безысходности или же просто по велению сердца — туда, откуда мы ушли?

Назовем сей феномен Естественной Историей.

Помните, как мы проходили Французскую революцию? Эту гигантскую веху, большой водораздел истории? Как я объяснял вам скрытые смыслы этого слова — «революция»? Поворот кругом, завершение цикла. Я рассказывал вам, что, пусть даже в привычном смысле слова, революция означает некую радикальную смену курса, полное преобразование — прыжок в будущее, — но едва ли не каждая революция при этом несет в себе и противоположную, пусть даже и не слишком явную, тенденцию — идею возврата вспять. Искупления; восстановления. Утверждения — наново — истинных и фундаментальных ценностей в противовес всему фальшивому и прогнившему. Возврат в точку нового начала…

Вот уж где, казалось бы, не должно быть места Ностальгии, так это в круговерти великих революций. Ан нет. Дайте себе труд поразмыслить над сознательной и тщательно взлелеянной наивностью французских революционеров. Им ведь были нужны не права гражданина, а права Человека. Как они подхватили клич старины Руссо насчет «назад к природе» и «I'homme de libre». [25] Как в 1790-м, когда им показалось, что

---

[25] Примечания: 25
Человек рождается свободным (фр.).

революция окончена (это ли не наивность), они отпраздновали это событие переодеванием, в подражание аркадской счастливой простоте, в пастушков и пастушек и высаживанием юных, трепетных деревьев свободы. Примите во внимание рост религиозных чувств — благочестивые празднества в честь Верховного Существа, — и это в рамках движения, изначальная стратегия которого во многом строилась на воинствующем антиклерикализме, если уж и не откровенном атеизме. И — примите в расчет опасные последствия подобной наивности. Ведь от этого страстного желания чистоты и невинности всего один шаг до всем известной — и печально известной — Робеспьеровой неподкупности; а свобода обернется «Большими чистками»; а эта самая революция, которая, как им казалось, так быстро кончилась, будет вынуждена, ради того чтобы удовлетворить их тягу к первопринципам, возобновляться снова и снова, и всякий раз с еще того пущим рвением, покуда ей не придется, в изнеможении, цепляться за компромисс — если не за откровенную реакцию.

А все эти мессии от революции — Робеспьер, Марат и прочая компания, о которых уж во всяком случае можно сказать, что они были готовы

идти на самые крайние крайности ради того, чтобы создать новый мир, — они действительно грезили неким Обществом Будущего? Да ничего подобного. Моделью им служил идеализированный Древний Рим. Лавровые венки и все такое. Их идеальным сценарием было убийство Цезаря. Герои нашего нового времени — все как один поклонники старого доброго классицизма — и эти тоже мечтали повернуть вспять…

«Но, сэр!»

Мертвецки-бледный Прайс перебивает на полуслове. Тянет, провокатор, руку. И учитель видит у него в глазах — бунтарский блеск, — как весь класс напрягся в предвкушении.

(Сэр! Погодите минутку! Мы живем не в восемнадцатом веке. Как насчет…?)

«Вот вы говорили насчет ностальгии, сэр, — поворачивается за партой с видом нарочитой озадаченности, — что-то я не понимаю, каким таким образом ностальгия могла заставить голодных рабочих заварить всю эту кашу, а?»

Смешки и шепотки по всему классу. (Толпа собирается.) Учитель нервически переносит вес с одной ноги на другую.

(Они, конечно же, все обратили на это внимание: что-то последнее время слишком раздра-

жительным сделался наш старый Крики, этакий недотрога.)

«Я рад, что ты задал этот вопрос, Прайс». (Верный симптом — сейчас учитель уведет вас в сторону.) Потому что он поднимает проблему определения самого понятия революции — с социологической точки зрения. Так же как сама революция склонна к резким и непредсказуемым сменам курса, не представляется возможным и четкое определение ее социальной базы. Ты упомянул голодных рабочих. Так это они устроили революцию? Или это были задавленные налогами буржуа? Революция — это просто спонтанный взрыв, для которого достаточно какого-нибудь чисто внешнего повода, или же чей-то строго продуманный план? И естественно, революцию вряд ли стоит даже и называть революцией в том случае, если конкретное действие не было выражением некой воли. Но чьей? Где нам отыскать средоточие этой революционной воли? Мелкая буржуазия? Оголодавшие массы? Политические клубы? Когда вы пытаетесь определить, что же такое революция, вы точь-в-точь повторяете способ действия самой революции — уничтожение через посредство умственной гильотины всех тех, кто не подходит под некое абсолютизиро-

ванное до полной невероятности представление о революции. Где нам искать воплощения революции? Дантон? Но он собирался покончить со всем поскорей и вернуться в деревню. Робеспьер? Но ведь он-то был безжалостный фанатик. Вот так и приходишь к услужливо расплывчатому понятию «народ» — *Vox populi, vox Dei* . Кто переведет?»

Джуди Добсон, в первом ряду слева (всегда готова): «Глас народа — глас Божий».

«Прекрасно. Но — правда? Кого в данном случае мы должны считать народом? Профессиональных крючкотворов, слетевшихся как мухи на мед в Национальную ассамблею? Ими по большей части руководила жажда власти плюс личные амбиции. Массы? Толпу? Это и есть наши истинные революционеры? Займитесь-ка повнимательней историей парижской толпы с 1789-го по 1795-й, и вы поймете, что единственной ее неизменной характеристикой была полная непоследовательность…»

(Прекрати этот треп. Прайсу лекция не нужна — и он прекрасно видит через все твои дымовые завесы.)

«Сегодня толпа горой стоит за одну партию, завтра за другую, но, как только ее первоочередные

нужды удовлетворены, как только она утолила первичное чувство голода, она готова пойти за Наполеоном с не меньшей готовностью, нежели за Дантоном. Без толпы революций, должно быть, и впрямь не бывает, однако сама по себе толпа отнюдь не революционна…»

Учитель поправляет узел галстука, расходившийся генерал перед мятежным войском.

«Итак — где же она, революция? Может быть, она и впрямь всего лишь термин, для удобства? Неужто ее и в самом деле следует искать в непролазной мешанине обстоятельств, слишком запутанных и сложных, чтобы лезть туда с определениями? Странная, однако, вещь, Прайс, но чем старательнее ты разымаешь, анализируешь события, тем больше почва ускользает у тебя из-под ног — и тем чаще кажется, что они имели место по большей части в людском воображении…»

Учитель делает паузу. Ему вдруг почему-то кажется очень важным услышать, что скажет на это Прайс.

Тот медлит несколько секунд. Потом, дерзко, почти нахально: «Нам что, следует все это записать, а, сэр? Французской революции в действительности не было. Она имела место лишь в

воображении людей».

Смех.

«Не стоит так буквально все понимать, Прайс».

«Да нет, мне кажется, вы и в самом деле правы. Мы знаем едва половину, так что большая половина — наверняка сплошная выдумка. Но вы что, хотите, чтобы мы и в самом деле поверили, что в 1789 году все хотели перевести стрелки часов назад?»

Еще одна волна смешков и полувозгласов-полуфраз. Прайс оборачивается, оглядывает, с едва заметною усмешкой, класс.

(Так вот к чему ты клонишь? И только-то? Все эти древние как мир штучки вроде кнопки на учительском стуле? Старые школьные игры в кто кого: берегитесь, товарищи по классу! Не дайте учителю обмануть себя — ведь он пытается из белого сделать черное. Назвать революцию регрессом. А вывод из всех его умствований один — что у нашего Крики съехала крыша. Как и положено старому маразматику, он ходит задом наперед и смотрит вспять. И ничего нового на дух не переносит…)

«Конечно, это чисто умозрительные рассуждения, Прайс, ты прав. Но разве мы лишены свободы интерпретировать?»

«То есть вы хотите сказать, приписывать истории любые смыслы по нашему усмотрению?»

«Прайс…»

(Но, если честно, я именно так и считаю. И уверяюсь в том все больше и больше. История: счастливый колодец смыслов. События склонны избегать привязки к смыслам, но мы-то ищем именно смыслы. Еще одно определение человека: животное, которое взыскует смысла — хотя и знает…)

«Прайс, — (еще один шаг в сторону), — я привлек внимание к ретроспективной составляющей в Революции только для того, чтобы проиллюстрировать следующее положение: даже революции с их потугами на созидание нового порядка не свободны от одного из наиболее устойчивых исторических мифов. Что история есть упадок, удаление от идеала. И то, чего мы ищем в будущем, есть зачастую всего лишь идеализированный образ воображаемого прошлого».

Он хмурит брови. В первый раз в сегодняшней нашей драке на кулачках он выглядит неуверенным. (А у тебя тоже будет свое утраченное прошлое, Прайс? Когда ты доживешь до моих лет…?)

«Я этого не понимаю, сэр. В том смысле, что это

просто *мистика* какая-то, а, как вы считаете?»

Класс просто счастлив. Учительский взгляд останавливается на виде за окном.

«Здесь ничуть не больше мистики — ничуть не больше, чем в заявлениях насчет того, что в некоем магическом будущем времени нас ожидает рай земной».

Прайс закусывает кончик ручки. Он не смеется вместе с прочими. И он дождется следующего урока, чтобы сделать свое Большое Заявление.

«Я никогда этого не говорил, сэр. Насчет рая, никогда. Но — я хочу, чтоб у меня было будущее». (Класс внезапно стихает.) «Мы все этого хотим. А вы — вы можете и дальше выпендриваться с вашим прошлым!»

Итак, внимательно изучив показания свидетелей и вещественные доказательства, мы должны всерьез поставить перед собой пару вопросов. Как так вышло, что революция во имя свободы и равенства закончилась приходом к власти императора? Как так вышло, что движение за то, чтобы уничтожить навсегда Ancien R'egime, привело к реинкарнации старого доброго «короля-Солнца»?

Как так вышло, что революция, которая и в самом деле перекроила все и вся, не смогла добиться перемен без страха и террора, без того,

чтобы нагромоздить на одних только парижских улицах около (по самым скромным оценкам) шести тысяч трупов, не говоря уже о тысячах трупов во всей остальной Франции или о вовсе неисчислимых трупах итальянцев, австрийцев, пруссаков, русских, испанцев, португальцев, англичан — которые останутся лежать по всей выметенной войнами Европе? Отчего это истории так часто требуется очередная кровавая баня, гекатомба, Армагеддон? И как так получается, что всякий раз предшествующий опыт ничему нас не учит?

Идите за мной, сказал им коротышка-корсиканец, и я вам дам ваш Золотой век. И они пошли за ним — эти цареубийцы, эти ненавистники тиранов.

Как любит она повторяться и течь вспять, как бы мы ни пытались загнать ее в прямое русло. Как она петляет и пишет кренделя. Как она ходит кругами и приводит нас туда, откуда мы вышли.

Итак, ежели вы вознамерились куда-то там идти. Если вам так уж хочется вашего Здесь и Сейчас. Если вы устали от школы и от уроков, если вам захотелось на волю, в этот ваш сегодняшний реальный мир, позвольте мне рассказать вам

15
ОБ УЗЕ

Большая Уза. Уза. Произнесите-ка это слово. У-уза. Медленно. А как еще? Сей звук сочится неторопливостью. Сей звук предполагает медленную, ленивую, вечно текущую реальность, и не обманывает нас. Сей звук рождает плавный ток вод, минимальный музыкальный темп; прохладное, спокойное, бесстрастное движение. Звук, которому по силам охладить даже и горячую, текущую в ваших жилах кровь. Уза, Уза, Уууууууза…

Давным-давно текла себе река и впадала в другую реку, которую люди назовут впоследствии Рейн. В те времена, однако, не было ни людей, ни имен, ни даже Северного моря, ни даже острова под названием Великобритания, и единственными живыми существами, которые имели представление об этой впадавшей в безымянный Рейн реке, были рыбы, что плавали по ней вверх и вниз, а еще гигантские всякие существа, которые паслись себе на мелководьях и о чьих воистину фантастических пропорциях мы бы, наверное, даже и не догадывались, если бы время

от времени им не случалось лечь и помереть в таких специфических условиях, которые сберегли до наших дней их окаменелые кости, так, чтобы миллионы лет спустя они смогли стать предметом ученых наших Штудий.

Потом был ледниковый период, или, если быть точным, несколько последовательных эпох, когда ледники то наступали, то отступали, в каковой период море и втиснулось между тяготеющими друг к другу Узой и Рейном, и земельный массив, известный впоследствии как Великобритания, начал отделяться от континента. И в тот же самый весьма протяженный период первые люди, или же их обезьяноподобные предки, пришедшие бог весть откуда, не то из Африки, не то из Китая, не то и вовсе, следуя окольным путем эволюции, прямо из моря, перебрались через континентальный шельф и начали заселять этот не совсем еще определившийся то ли остров, то ли полуостров, создав тем самым прецедент, коему в дальнейшем следовали неоднократно, хотя в последний раз подобная авантюра увенчалась успехом аж в 1066 году.

Как эти люди, а также их многочисленные, волна за волной, последователи именовали Узу, мы и понятия не имеем, поскольку ровным счетом

ничего не знаем об их языке. Как, однако, сама Уза воспринимала (давайте все же примем во внимание точку зрения этих первобытных людей, которые скорее всего видели в Узе Бога и, следовательно, наделяли ее способностью чувствовать и воспринимать) этих двуногих пришлецов, которые, взявшись преломлять предметы в звук, изобрели, сами того не заметив, феномен, называемый в наши дни Историей — уж в этом сомневаться не приходится, — с полным безразличием. Ибо какое значение могла иметь такая новомодная придумка для реки, которая текла себе, лилась себе — как всегда. Что могли все три каменных века, культура чашников, эпоха бронзы, железный век, племена белгов со всеми их кремнями, горшками, топорами, брошками и способами погребения мертвых значить для реки, которая владела неведомым для человека ни в прошлом, ни в настоящем таинственным свойством вечно двигаться и оставаться при этом самою собой.

Потом пришли римляне. Как они называли Узу, мы тоже не знаем, но мы знаем, что Уош у них назывался Метарис. Им же первым и удалось навязать свою волю надменной, вздорной, медленнотекущей Узе. Поелику они использовали

несколько миль ее русла при строительстве гигантского водоотводного канала, так называемого Кардайк, который тянулся, и след до сей поры заметен, от Кэма до Уитхэма — из окрестностей Кембриджа и чуть не до Линкольна — вкруг всей западной оконечности Фенов, являя тем самым еще одно доказательство римского инженерного гения и неустрашимости перед лицом природы, коим не устает изумляться наш современник.

Однако в те времена Уза текла иным руслом, нежели теперь. Тот факт, что за недолгий срок более или менее близкого соседства с человеческой историей эта упрямая и капризная река несколько раз меняла направление, срезала углы, закладывала глубокие виражи с пируэтами, узурпировала русла других рек, соглашалась течь по свежевырытым каналам и переносила место встречи с морем, характеризует ее как нельзя лучше. Все вышеизложенное можно рассматривать как победу истории (поскольку в большинстве случаев именно людская изобретательность так или иначе влияла на все эти зигзаги), однако с тем же, если не с большим основанием — и как свидетельство непреходящего презрения реки ко всем как есть человеческим потугам. Потому как если бы не вечная, хоть и неспешная наклон-

ность Узы К бунту, если б не ее не признающая узды тяга течь так, как ей того хочется, то во всех этих отводах, каналах и дополнительных руслах, которые до сих пор копают и благодаря которым извилистая, с рептилией схожая Уза оделась сетью меньших водоводов, попросту не было бы никакой нужды.

При римлянах и в эпоху, известную под названием Темных веков [26], которую, правда, многие, и в особенности фенлендский баснописец Чарльз Кингсли, считали самой блистательной и легендарной эпохой в истории Фенов, Уза текла на север чуть не до Марча, прежде чем встретиться с тогдашней речкой по имени Кем. В те времена, когда король Кнут, который умел останавливать реки ничуть не лучше, чем гнать волны вспять, был как-то раз буквально заворожен пением монахов, когда его везли на королевской барке мимо Или, Уза, присвоивши на сестринский манер воды Кема, впадала в море подле Уизбеча (который стоит теперь в десяти милях от берега).

---

[26] Примечания: 26

В английской историографии период, примерно соответствующий раннему Средневековью — с IV–V по IX–XI вв. нашей эры, когда Англия, после ухода римлян, стала постоянным яблоком раздора и предметом дележа между многочисленными кельтскими (бритты, скотты, гэлы, белги) и германскими (англы, саксы, юты, фризы, позже — скандинавы) племенами и государствами.

Однако в Средние века, по милости ряда больших наводнений, Уза сама собой потекла на восток, вверх по одному из своих бывших притоков, и пробила себе дорогу к Кему там, где он и ныне в нее впадает, милях в двенадцати ниже Кембриджа. Примерно в то же самое время она окончательно забила свое прежнее устье неподалеку от Уизбеча мощными наносами ила и нашла себе новое, у Линна. Таким образом, прежняя река пересохла, и появилась новая, огромная, неровная, выгнутая на восток дуга, к вящей радости жителей Или и крохотного поселка под названием Гилдси, которые нежданно-негаданно оказались вдруг не только на торной дороге из Кембриджа в Линн, но и на другой, не менее важной, между Линном и Хантингдоном. И к великому недовольству хантингдонских хлеботорговцев, чьим посудинам приходилось теперь делать по дороге к морю большой крюк.

Потом, как мы знаем, явился Вермуйден, чтоб навести порядок, и выкопал реки Бедфорд и Нью-Бедфорд — две прямые тетивы на выгнутый к востоку лук капризной речки, — и хантингдонцы взыграли духом, потому что у них теперь появился самый удобный за всю историю города выход к морю, жители же Кембриджшира пришли в уны-

ние, ибо их славный, триста-лет-как-отлаженный водный путь сделался с этих пор немногим шире дренажной канавы. И таким вот образом судьба изначальной, природной, теку-где-хочу Узы (именуемой в силу привычки Большой Узой, несмотря на то что большая часть ее вод сбрасывается в море по речной системе Бедфорд) оказалась отныне (ибо теперь мы вступили в пределы периода, который даже и с исторической точки зрения давним никак не назовешь, а уж если исходить из едва ли не беспредельных сроков жизни реки, так это и вовсе вчерашний день) в руках предприимчивого и амбициозного местного люда, а подобных людей на всем этом острове было пруд пруди, и все вместе они составляли костяк нации, которая как раз в это время неудержимо стремилась к звездному часу, к удовлетворению амбиций теперь уже в мировом масштабе — и не последними среди них были Аткинсоны из Норфолка, а впоследствии из Гилдси.

А Уза течет себе и течет, и ей нет дела до амбиций, ни местного, ни мирового масштаба. Она течет теперь по разным руслам, распределяя воды, деля силу на части, все более наклонная к заиливанию и к паводкам. И все-таки она течет — сочится — и течет, как то и должно всякой реке,

в море. И, как все мы знаем, солнце и ветер выкачивают воду из моря и рассеивают ее над землей, вечно питая реки. Так что Уза, она, конечно, течет в море, но на самом-то деле она, как и все прочие реки, течет вспять, сама в себя, к собственным своим истокам; и впечатление, что река течет в одну и ту же сторону, — всего лишь иллюзия. И еще одна иллюзия: то, что вы кинули (или столкнули) в реку, река унесет, проглотит навеки, и оно уже никогда не вернется назад. И этой самой максиме, впервые пущенной в обращение две с половиной тысячи лет назад Гераклитом Эфесским, насчет того, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, тоже доверять не стоит. Потому что мы вечно входим в одну и ту же реку.

Она течет из самого сердца Англии в Уош и в Северное море. Она течет мимо славных английских городов Бедфорда, Хантингдона, Сент-Айвза, Или, Гилдси и Кингз Линна, жители которых видят реку, текущую всегда в одну и ту же сторону — вниз по течению, — и не видят реки, которая следует извечному круговороту вод. Ее имя происходит от санскритского слова «вода». В ней 156 миль — в длину. Ее бассейн занимает площадь в 2067 квадратных миль. У нее целая куча притоков, включая Узель, Айвел, Кем, Малую Узу и

Лим. Лим впадает в Узу чуть ниже Гилдси. Лим течет в Узу, а Уза течет… течет в… А у Лима, в 1943 году, жил смотритель шлюза.

16
НУЛЕВАЯ ДОЛГОТА

Скамейка в парке. Скамейка в Гринвич-парке, ярдах в пятидесяти от линии нулевой долготы. Спускаются зимние сумерки; парк скоро закроют. Деревья преображаются в силуэты деревьев; пламенеющий розовый и голубино-серый — цвета неба. На скамейке сидит пара, на удивление напряженные позы (она вся в себе, и ни шагу назад; он, на самом краешке сиденья, докучлив и преисполнен возмущения), которые предполагают, невзирая на сбрую прожитых лет (толстые зимние пальто, шарфы, ревниво-покорный золотой ретривер привязан тут же, к одному из поручней скамейки), любовную размолвку. Она молчит, словно только что успела выговориться. Он говорит. Он, судя по всему, хочет знать, что она имеет в виду, какого черта это все… Он требует объяснений. Он говорит с ней на манер учителя, который решил пропесочить непокорного ученика. Опытный наблюдатель любовных размолвок на парковых скамьях сказал бы, что женщине есть что скрывать.

Он ее уговаривает. Она стоит на своем. Неужто перед нами знакомая драма из разряда «Между нами все кончено» и «Нам лучше больше не встречаться»? Или другая, не менее популярная сцена на тему «Видишь ли — у меня есть Другой»? С его стороны вспышка ярости; он размахивает руками, он задает вопросы. Знакомые симптомы мужской сцены ревности? Однако, как-то вдруг сойдя с трибуны, словно ошарашенный некой вспышкой, неким озарением, он садится к ней поближе, берет ее за плечи (учитель, он тоже человек), как будто хочет встряхнуть, вывести из транса. До случайного прохожего ветер мог бы донести слова: «врач — ты должна показаться врачу». Так что, наверное, это еще один общеизвестный любовный сюжет; сюжет «Милый, мне кажется, что я…». Однако же в его словах нет обычного мужского форса (прежде всего, я должен быть уверен, прежде всего я…), в них звучит нечто вроде отчаяния — неужто наш скамейно-парковый ухажер вознамерился пустить слезу? — нечто вроде той муки, что в мольбе и в молитве…

Она уходит от него; она его бросает. Вот о чем он думает. Но только это не обычный уход. Не из тех, когда один остается сидеть, а другой встает и

решительно шагает прочь.

Промеж деревьев меркнет свет. Колокольчик смотрителя. Парк вот-вот закроют. Вот-вот, и всем пора идти. Лиловый сумрак нисходит на Обсерваторию, на запертые в ней коллекции допотопных хронометров, астролябий, секстантов, телескопов — инструментов измерения Вселенной. Мерцающий переблеск на поверхности Темзы. Здесь, в этом бывшем королевском охотничьем парке, где Генрих VIII обхаживал, говорят, Анну Болейн, где в более пышные имперские времена под звуки духовых оркестров нянюшки из состоятельных семей прогуливали туда-сюда младенцев в колясках и упражнялись в жанре нянюшкиных сплетен, он вынужден сказать жене весьма употребительную, но и таинственную притом, и даже порой чудодейственную фразу: «Я люблю тебя. Я тебя люблю». Ему приходится сжать жену в объятиях, как будто для того, чтобы удостовериться: она все еще здесь. Ибо в сумеречном свете гаснущего дня ему и впрямь кажется, что она, не сходя с места, удаляется, блекнет, превращается в призрак.

Она ничего не объясняет. Она говорит: «Погоди — ты сам все увидишь». Глаза у нее голубые, с дымком. Она не говорит: «Я просто пошути-

ла». Он не знает, как играть в придуманную ею безумную игру. В смятении он снова прибегает к позе педагога, он надевает маску этакого практика-есть-критерий-истины классного наставника, учителя, скажем, физики. На всякий вопрос должен быть позитивный ответ. Звонит смотрительский колокольчик. Он повторяет: «Я думаю, будет лучше, если ты покажешься врачу. Я хочу, чтобы ты сходила ко врачу». Он верит: есть такое состояние, именуемое шизофренией. Он верит: только потому, что люди когда-то ничего о подобных вещах не знали, они и верили, что… Он верит: это Мэри; это скамейка; это пес. И менее всего на свете он хочет верить в то, что он в волшебной стране, в стране из сказки.

17
О СМОТРИТЕЛЕ ШЛЮЗА

А у Лима жил смотритель шлюза. Который был моим отцом. Который был человек флегматичный, но чуткий душой. Который говаривал мне, когда лет мне было даже меньше, чем вам, что всякий входящий в мир был когда-то крошечным… И что звезды… Который был ранен в третьем сражении под Ипром. И в той же самой битве потерял брата. Который всякий раз, когда его просили рассказать о войне, отвечал одно и то же: он ничего не помнит. И при всем при том, когда его никто ни о чем не просил, рассказывал иногда причудливые байки о давно ушедших в прошлое траншеях и о слепленных из грязи пейзажах, которые вроде как напрочь вылетели у него из памяти — как если бы говорил о вещах далеких и фантастических, к коим он сам имел касательство сугубо условное. Например, как фландрские угри, коих бесчисленные множества издавна облюбовали тамошние низинные, обильные водой места, потревоженные вселенской свистопляской, которая взялась методично

разрушать их привычные обиталища, набивались в залитые водою сапы и даже в воронки, где не знали недостатка в доспевающей, как раз по их вкусу, пище…

Который и сам ловил угрей в своих родных Фенах. Который показывал мне, совсем еще мальчишке, всевозможные способы, как их готовить — варенными в воде с уксусом; под белым соусом; под зеленым соусом; запеченными в тесте; тушенными с луком и сельдереем; в заливном, под хреном; или просто порубить, на вертел, да и обжарить на открытом огне — так что и я, с ним наравне, причастился их нежной пружинистой плоти. И мой брат вместе с нами. А вот мама, хоть она и была из потомственных фенменов и особой брезгливостью не отличалась, терпеть их не могла. И вскрикивала всякий раз, когда замечала, как недобитый угорь начинает извиваться на разделочном столе…

Который, вернувшись в восемнадцатом году с Великой войны не только раненным в колено, но и повредившимся в уме, четыре года кочевал из госпиталя в госпиталь. И попал в конце концов в Кесслинг-холл, бывший до недавних пор загородной резиденцией семейства Аткинсон, а ныне превращенный в реабилитационный

центр для инвалидов войны. Который весной и летом 1922 года неделю за неделей просиживал на уютных, отгороженных от большого мира густыми купами деревьев лужайках означенного лечебного учреждения вместе с другими — все в шрамах, костылях и заплатах — пациентами, и в каждом из них под внешнею личиной покоя и безмятежности (а с тех пор как отгремели пушки, прошло уже четыре года) шла отчаянная борьба за утраченные навыки мирной жизни.

Который влюбился в одну из сиделок. Который вернулся домой с войны, израненный солдат, и женился на сиделке, которая высидела его обратно к жизни. Романтическая сказка на историческую тему. Который, выжив в катаклизме, никак не мог поверить, что эта волшебная череда событий происходит именно с ним. Чья любовь нашла ответный отклик — и на удивление быстро. Который в августе 1922-го женился на этой женщине, которую совсем недавно его разладившийся, впавший в ступор мозг воспринимал не иначе как «сиделку, брюнетку», и которая даже после того, как к нему вернулась ясность мысли — и несмотря на их растущую взаимную склонность, — не хотела открывать своего имени. Которому еще очень не скоро удалось выяснить,

что эта одетая в белый фартучек сиделка, добровольно устроившаяся работать в госпиталь во время войны, а теперь зачисленная в штат, которая была на удивление хорошо знакома со всеми закоулками и закутками Кесслинг-холла, на самом деле дочка известного — если не сказать знаменитого, — а ныне окончательно опустившегося пивовара.

Который через посредство этой женщины (остатки отцовского влияния в еще сохранившемся в те годы Лимском товариществе по судоходству и дренажу) получил место смотрителя при шлюзе и заслонке Нью-Аткинсон. Который научился, по крайней мере так казалось мальчику, который вместе с ним ходил ловить вершами угрей, находить разом и утешение, и источник таинственного, вечно дремлющего под спудом беспокойства — в самой этой ситуации: ни шагу в сторону от дома, вечный ток реки, плоский ландшафт; красавица жена. Который произвел на свет двоих сыновей (г. р. 1923 и 1927), и первый оказался влюбленным в мотоцикл полудурком.

А потом эта бывшая сиделка, эта красивая женщина, которая была мне матерью, этот нежданный дар от сумеречной зоны между войной и привычной мирной жизнью, эта пивоварова

дочка, которая — даже если не брать в расчет ее практических навыков — была наделена свыше даром красоты, равно духовной и физической, воображением, скрытыми глубинами, а также искусством (коим она отчасти обязана мужу, но отчасти, вероятно, и двоюродным бабкам, Доре и Луизе, которые буквально запоем читали всякие нелепые сказки, как в стихах, так и в прозе) рассказывать истории, вдруг умерла.

Отец, на лимском бечевнике, в профиль на фоне фенлендских небес. Последовательность стертых, скатанных временем форм. Нос прямой, линия понемногу грубеет; подбородок когда-то, наверное, был острый; шея, на которой все больше морщин и складочек (узнали своего учителя? Видишь, Прайс, как сильно мы склонны возвращаться к прототипам?). Но глаза (анфас, когда он поворачивает кругом) быстрые, беспокойные, всегда настороже, на посту, и первое впечатление флегматичной, ухабистой ухватки приходится забыть. И эта его вечная ходьба…

Много лет я мучился мыслью, что же заставляло отца ходить туда-сюда, как пес на привязи; почему даже и среди ночи его можно было застать, тень бесплотную, шатающимся по-над шлюзом. Много лет я мучился этой мыслью — пока тело

мальчика (твоего, кстати, ровесника, Прайс), в смерти которого я сыграл свою роль, не прибило течением к заслонке.

18
IN LOGO PARENTIS [27]

Да, дети, это правда, что ваш достославный директор, Льюис Скотт, тайком заглядывает в рюмку. У него в кабинете, в нижнем ящике зеленого картотечного шкафа справа от окна, за стопкой девственно-чистых бланков отчетности: одна — нет, две — бутылки «Джей-энд-Би».

Он разливает в две бледно-голубые казенные чашки. И подталкивает одну через стол ко мне.

Человек прилежный, настойчивый. И к детям со всей душой… Всякий раз, как у него самого прибавление в семействе, этот вопросительный взгляд, отчасти любопытствующий, отчасти свысока, посреди поздравительных — и чисто дружеских — излияний в учительской, в сторону старшего годами, но младшего по службе коллеги (и уважаемого спарринг-партнера): а ты-то что же, Том? Почему у тебя своих-то?..

(Все дело в Мэри. Видишь ли…)

Этак по-отцовски, авторитетно; этак по-от-

---

[27] Примечания: 27
Вместо родителей, в родительском качестве (лат.).

цовски, снисходительно. Даже по отношению к старшему, чем он, на полных пять лет заведующему историческим отделением. Да, конечно, Том, сомневаться не приходится, двадцать лет перед классом, и ты начинаешь кое-что понимать в детях — но как только у тебя заводятся свои…

Этак по-отцовски, и отцовского все больше и больше, даже по отношению к сотрудникам, людям вполне взрослым.

Подталкивает в мою сторону чашку с виски, щедрым жестом благородного отца, который открывает сыну (пришедшему пред очи за очередной головомойкой) доступ в чисто мужское царство крепких спиртных. Смотрит на меня с хитринкой, с легкой толикой печали, как будто я и в самом деле неразумное дитя, трудный ученик. Ну а теперь о твоем поведении — так дальше продолжаться не может.

А и в самом деле? Эти нелепые уроки. Явственные — и очень, к сожалению, ранние — симптомы старческого маразма. Второе детство…

Дети, берегитесь отеческих инстинктов (да-да, Прайс, прекрасно понимаю твою недоверчивость), когда они взыграют вдруг у ваших имеющих официальный статус и профессионально подготовленных менторов. На кого такой ин-

стинкт работает, к чьей вящей пользе? Страсть брать под крыло и кормить из клюва, страсть вести и указывать путь; страсть быть среди детей, там, где всегда все только начинается, где мир пребывает в будущем времени…

«Ты же понимаешь, Том, — (ладони — искреннейшим жестом — открыть), — у меня просто нет выбора».

«Конечно нет. Прекрасно понимаю. Ты хочешь сказать, что, если бы даже определенные… обстоятельства… не возникли, ты бы все равно стал добиваться моей отставки. Не потому, что ты этого хочешь. Политика».

Он смотрит на меня так, будто я, неблагодарный, только что отверг крайне выгодное предложение.

«Или — давай слегка изменим формулировку. Эти обстоятельства — в которые я не стану вдаваться, ведь ты же не хочешь, чтобы я в них вдавался, — предоставили весьма удобную возможность провести в жизнь, и безо всякого противодействия, давно сложившееся намерение».

«А вот это уже неправда. И — думай, что говоришь. Я уже сказал, что ни о какой вендетте и речи быть не может».

«Может, оно и так, но я не собираюсь в силу каких бы то ни было… обстоятельств… дать обвести себя вокруг пальца: получить свою пенсию и даже не пикнуть насчет того, что мой предмет выводят из учебного плана».

«На это я мог бы возразить, что ты уже успел выказать свое отношение к учебному плану, превратив свои уроки в эти — посиделки».

«Темой этих посиделок остается тем не менее история».

«Еще бы. В любом возможном смысле слова. Давай-ка еще скотча, а? Мне казалось, существует общепринятая точка зрения, что прошлое должно чему-то нас учить. Из прошлого опыта…»

«Если бы так, история была бы отчетом о бесконечном прогрессе, а, как тебе кажется? А будущее сияло бы, что ни год, все лучистей и ярче».

(Это «сияло» Прайс бы оценил.)

Он выпрямляется. Глядит на меня сквозь очки в черной оправе. Как будто собирается с духом, чтобы сказать: а разве это не так? Не так?

Но не говорит, не закатывает мне одну из своих обычных, для общего собрания, жизнерадостных речуг. Он глотает виски.

«Лу, а ты знаешь, что мои старшеклассники видят во сне?»

«Бога ради, Том. Так у тебя там не только истории. Вы еще и сны друг дружке рассказываете?»

«Я серьезно. Ты знаешь, что мои — что наши, твои — старшеклассники видят во сне?»

«Понятия не имею…»

«Это выплыло как-то само собой, совсем недавно, в группе „А“. Девять человек из шестнадцати сказали, что им снятся кошмары о ядерной войне. В нескольких случаях кошмар повторяется не по одному разу. Им снится конец света».

«А это?..»

«Это вышло наружу — мы принялись считать сны, — потому что один из группы, Прайс…»

«Я знаю Прайса. Мажется еще этой дрянью, да? Ему ведь сколько раз…»

«У него хорошая голова».

«Тем более…»

«Прайс вдруг заявил посреди урока, что история — не больше, чем сказка; видишь, он, можно сказать, на твоей стороне. А потом он сказал — что и вывело нас в конце концов на его собственные кошмары и на кошмары всех прочих: „Единственное, что имеет смысл в истории, так это что сама история достигла той стадии, после которой вообще никакой истории может не быть“.

«Ну что же, разве это не еще один аргумент в

пользу?..»

«И я всерьез задумался, Лу: что может образование, что оно в состоянии предложить, если мы лишим его непременного партнера, будущего, а взамен оставим лицом к лицу с — отсутствием всякого будущего?»

Глаза у него сужаются. На лице появляется обычное учительское выражение для тех случаев, когда ученик переходит всякие границы, когда он ничего не желает понимать и приходится возвращаться в некую исходную точку. (Я тоже так умею, Лу. И применяю на практике. Я знаю, какие мускулы напряглись у тебя на лице. Правильно, пройдись туда-сюда, покипятись, прямо как учитель в классе. Перед Прайсом, например.)

Он встает, с чашкой в руке. Идет к окну. Темнеет; расплываются очертания многоэтажек. Как же мы цепляемся за наши должности, как же беззаветно мы преданы учебному плану.

Он оборачивается, он суров лицом, он готов ответить обвинением на обвинение.

«Мне вот что пришло в голову, Том. Ты никогда не давал себе труда задуматься, что изучение твоего распрекрасного предмета именно и наводит человека на… мрачные мысли? Да, возможно, ты прав, и мы действительно ничему не учимся

у прошлого. Более того, в результате излишне усердных занятий этим твоим предметом именно и рождается пораженческий, желчный взгляд на вещи…»

(Итак, дети, все под контролем. И нечего бояться. С вами Льюис. Оставьте мрачные мысли. Ото всех этих страшных снов есть простое, испытанное средство — противоатомное бомбоубежище.)

Он проводит рукой по лбу, лоб нахмурен и морщинист.

«Я всегда говорил, что…– (Он никогда этого не говорил. Но думал. А теперь говорит. Будем знать.) — История порождает пессимизм».

«Или реализм. Реальный взгляд на вещи. Если из истории следует, что спектр человеческих бедствий становится шире. Если свидетельства истории подтверждаются интуитивным опытом моих учеников…»

Он снова садится. Еще виски.

«Так что ты там говорил — и тебе тоже снятся такие сны?»

Нет, Лу, мне по ночам не снится конец света. Может быть, просто потому, что в отличие от моих учеников я не ребенок (пятьдесят три года от роду). Я не жду, не жажду будущего. И существуют не десятки, не сотни, а миллионы-миллиарды

способов, которыми может кончиться мир…

Рассказать тебе сон? Мой сон? Ведь так это, кажется, и делают: через рассказывание снов. Они пробуют эту штуку на Мэри, прямо сейчас. В заведении, которое больше не принято называть психушкой. Сперва ты рассказываешь сны. Выговариваешь все свои самые сокровенные страхи. А потом остальное — вся твоя история. До самого начала, даже до тех пор, когда ты был крошечным…

Давай попробуем, Льюис. А вдруг получится. У нас вся ночь впереди. И бутылка в помощь. Ты мог бы сказать: «Ну, Том, как же оно все так вышло?» А я бы в ответ: «Оно — что? Язва, Лу? Или виски в одного? Или этот закосневший оптимизм?»

Мой сон другой. Не такой яркий. Вот только снится мне из ночи в ночь. Дело происходит зимним вечером в пригородном супермаркете. Темнеет. Вот видишь, уже выходит история. Дело в пятницу вечером, самый час пик. Все что ни есть мамаши, обремененные семьями, закупают продуктов с запасом на выходные. Все что ни есть парочки в авто ждут не дождутся, когда же наконец они доберутся до дома. Они затаривают все великолепие кулинарных и прочих благ, коими обилен супермаркет. Они затаривают свои

консервированные супы и замороженное мясо, хлопья на завтрак и чищеные овощи в полиэтиленовых пакетах; они затаривают кошачий корм, собачий корм, стиральный порошок, бумажные салфетки, самоклеящуюся пленку и алюминиевую фольгу. Но кто-то чего-то затарить не смог. Потому что посреди всей этой давки, суеты и корзинно-тележечной толкотни вдруг начинает истошно вопить женщина. И она кричит, и кричит, и никак не умолкнет…

«Вот скажи-ка ты мне, Льюис. Наше дело — дети. Скажи, ты веришь в детей?»

19
О МОЕМ ДЕДЕ

Можно ли винить его, моего деда, Эрнеста Аткинсона, в том, что он был ренегат, отступник? Можно ли винить его в том, что он не видел особого интереса в перспективе сделаться со временем главой пивоваренного «Аткинсон» и водно-транспортной компании «Аткинсон»? Можно винить его — отправленного отцом, Артуром Аткинсоном (ЧП [28]), в Эммануэль-колледж, Кембриджский университет, получать самое блестящее образование, которое когда-либо получал человек по фамилии Аткинсон, — за то, что он растратил время на студенческие выходки и причуды, за то, что он крутил романы с идеями (европейский социализм, фабианство, работы Маркса), прямо направленными противу консервативных принципов его отца; за то, что большую часть каникул он проводил в самых гнусных лондонских притонах, откуда и был как-то раз доставлен в полицию с тем,

---

[28] Примечания: 28
Член парламента.

чтобы объяснить свое присутствие на митинге безработных (он был там «из любопытства») и откуда он, собственно, и привез с собой в 1895 году обратно в Кесслинг-холл женщину, Рейчел Уильямс, дочь низкооплачиваемого журналиста, с которой, как он бесстыднейшим образом заявил (не упомянув при этом разных прочих дамочек, с коими развлекался в свое удовольствие), он уже успел связать себя помолвкой?

Он был рожден в памятные дни великого потопа 1874 года, рожден в атмосфере сплетен и клеветы, и более того, рожден в те времена, когда доходы от продаж (подозрительно слабого) эля «Аткинсон» явственно пошли на убыль, так стоит ли винить его, и только его, в том, что он был склонен к упрямству и поиску не самых прямых путей? И стоит ли удивляться тому, что, когда в 1904 году, будучи в том возрасте, когда молодость, оставаясь молодостью, теряет острые углы, он, тридцатилетний отец восьмилетней дочери по имени Хелен, стал директором как пивоваренного, так и водно-транспортной, он принял свою судьбу как некую неизбежность, но только после долгих колебаний, тяжких раздумий и борьбы с дурными предчувствиями?

Потому что Эрнест Ричард, мой дед, был пер-

вым из пивоварящих Аткинсонов, кто принял положенное ему наследство, не будучи уверен в необходимости очередной и обязательной экспансии, не веруя свято в Прогресс и в то, что на старости лет он будет богаче и влиятельней, чем в молодые годы.

А ведь после наводнения 1874 года начали выказывать тенденцию к снижению не только прибыли с пива «Аткинсон». Потому что последняя четверть девятнадцатого века, которую, дети мои, мы могли бы попристальней рассмотреть, будь она спецтемой нашей группы уровня «А», и в которой вполне уместно видеть период некой кульминации, преддверие столь любезного коллективной мифологической памяти англичан жаркого и долгого эдвардианского лета, была, по правде говоря, периодом экономической стагнации, от которой мы так никогда и не оправились. Периода, когда владелец водно-транспортной компании — при том, что в масштабах всей страны водный транспорт и речное судоходство приходили в упадок, проигрывая раунд за раундом в борьбе с расползающимися все шире железными дорогами, — вряд ли мог с уверенностью смотреть в будущее.

Как же Артур Аткинсон, который не был хо-

зяином настоящего, но слугою будущего, смог вынести подобные — неумолимые — свидетельства упадка? Предаваясь со все большим усердием политической деятельности (пять раз переизбирался от Гилдси), будучи твердокаменным сторонником экспансионистской имперской политики (потому что здесь в конечном счете расширение все еще представлялось возможным), напоминая фенлендским своим избирателям о большом мире и о национальной миссии; ставши в конце концов вполне карикатурным государственным деятелем — и окончательно оттолкнув единственного сына.

А как же Эрнест Аткинсон воспринял эти огненные письмена на стенах? Он просто вспомнил, когда ушла его блудная, полная проб на пределы дозволенного юность, вспомнил, кто он такой и откуда взялся.

В 1904 году, когда Балфур и Лубэ дергали кайзера за усы, подписывая англо-французскую Антанту, Эрнест Аткинсон проникся, как никто из Аткинсонов за последние четыре поколения не проникался, неизбывной, изначальною тоскою Фенов. Под влиянием, быть может, водянистых обстоятельств своего рождения он возмечтал о возможности вернуться в давно ушедшую эпоху

диких топей, когда все еще только предстояло свершить, когда из ничто еще можно было сотворить нечто; и восстал в нем дух прапрадеда, Уильяма Аткинсона, стоявшего средь зреющих ячменей. Раз уж ему суждено стать пивоваром, пусть даже дело и пришло в упадок, что еще ему оставалось, как не служить своему призванию, и служить честно, и варить доброе пиво? И каких еще причин искать для усердных трудов, когда есть возможность снабдить сей скорбный мир малой толикою веселья?

Ну а веселье — обязательно ли весел тот, кто его производит? Свидетельства из тех времен — убедительнейшим образом подтвержденные как обстоятельствами последних лет его жизни, так и доставшимися мне по наследству фотопортретами деда по материнской линии (насупленные брови, глубоко посаженные глаза с тяжелым взглядом) — доказывают, что даже и в беспокойные годы юности Эрнест Аткинсон был человек задумчивый и склонный к меланхолии. Что причуды юношеских лет всего-то навсего должны были — как то нередко случается — загнать куда подальше врожденную мрачность; что баловство с идеями социализма обязано своим происхождением отнюдь не только желанию позлить отца,

но и наклонности (в соответствии с именем [29]) принимать мир всерьез; что он посвятил себя производству разлитого по бутылкам веселья оттого, что сам был одержим унынием, а еще оттого, что — но это уже чистая спекуляция, чистейший домысел учителя истории — он такого понаузнал (о чем поведал ему на смертном одре, перед тем как отправиться в 1904 году на кладбище, старый Артур Аткинсон?) насчет своих дальних и ближних предков, что отныне ему хотелось быть всего лишь честным и лишенным каких бы то ни было амбиций поставщиком разливного счастья.

В 1905 году Эрнест Аткинсон приступил к распродаже основного движимого и недвижимого имущества водно-транспортной компании и большей части Гилдси-дока (этот кусок отхватила компания «Газ и кокс» — в качестве места под производственную застройку), оставив себе только баржи и лихтеры для того, чтобы возить из Кесслинга солод, и отведя остаток воднорожденных своих интересов в создание компании по организации увеселительных водных прогулок: в составе трех паровых катеров, «Св. Гуннхильда», «Св. Гатлек» и «Королева Фенов». Поездки до Или,

---

[29] Примечания: 29

Имя Ernest омофонно прилагательному earnest: со значениями: серьезный, искренний, убежденный, честный, ревностный и т.д.

Кембриджа и Кингз-Линна. Увеселительные, заметьте себе.

В это же самое время он начал подолгу совещаться с работавшими на него старыми пивоварами и экспериментировать, с ловкостью профессионального химика-исследователя, с различными сортами хмеля, дрожжей и сахара, с пропорциями и температурными режимами, и произвел на свет в 1906 году «Новый» эль, каковой напиток знающие толк и привыкшие держаться до последнего завсегдатаи «Лебедя» и «Шкипера», или по крайней мере те из них, кто успел застать былые времена, единодушно провозгласили ничуть не хуже — да нет, что там, лучше — эля «Аткинсон» середины прошлого века.

Однако жители города Гилдси в большинстве своем не одобряли проводимую Эрнестом политику сворачивания лишних дел, которая, как им казалось, не делала чести их некогда процветающему городу. Они не одобряли Аткинсона, который, пусть даже он и звался пивоваром, в самом деле закатывал рукава и совершал унизительные для человека с такой фамилией действия, лично руководя пробными варками и ферментациями. Ибо таков был присущий Эрнесту стиль работы; поговаривали даже, что

в Кесслинг-холле, в специально оборудованных для этой цели надворных постройках, он варил напитки куда более сильные, чем те, что когда-либо производились на пивоваренном в Гилдси. И не только варил, но и лично их пил, и в немалом количестве. Они с возмущением восприняли его намерение — и стали называть ее в ту эпоху гонки вооружений и политики канонерок антипатриотическим уклонизмом — держаться по возможности подальше от сфер политических, где его отец снискал себе заслуженные лавры. Но оставили тем не менее за собою право распространять слухи, что Эрнест, мол, якшается с социалистами. Они пили Эрнестов «Новый» эль, но, судя по всему, утратили простую веру в то, что дух празднества и радости можно добыть из коричневой бутылки в любое время, а не только, как то было в последний раз в Гилдси в ночь Мейфкинга [30], по случаю общенациональных торжеств.

И словно для того, чтобы врожденной (предпо-

[30] Примечания: 30

17 мая 1900 года английские войска сняли с южноафриканского городка Мейфкиига многомесячную осаду буров. Известие об этой, в общем-то не слишком великой, победе численно и технически куда более мощных английских войск вызвало бурю ликования среди урапатриотических слоев населения в самой Англии — с полуночными шествиями, братанием на улицах и битьем стекол в домах известных противников войны.

лагаемой) душевной скорби деду не показалось мало, он узнал, что люди не всегда хотят веселья, даже если ты им сам его предлагаешь.

И словно для того, чтобы врожденной душевной скорби деду не показалось мало, прибыли на пивоваренном продолжают падать.

И словно для того, чтобы врожденной (и бог бы с ними, с предположениями) душевной скорби деду не показалось мало, Рейчел, его жена и моя бабка, заболевает астмой в самой что ни есть жестокой форме, в чем, наверное, отчасти виноват сырой воздух Фенов, вслед за чем в апреле 1908 года и наступает, на случай, если деду все еще мало, безвременная смерть.

Боже мой, какие же моря веселья нам необходимы и какими глубокими глотками его нужно пить, чтоб только уравновесить все те печали, коих у жизни в запасе…

Люди, падкие на самые незамысловатые сравнения и умозаключения, люди, чье историческое чувство было не развито, которым казалось, что прошлое неизменно дергает настоящее за рукав, люди из тех, которые брались когда-то утверждать, что видели Сейру Аткинсон, когда Сейра Аткинсон была уже мертва, снова начали поговаривать о тяготеющем над Аткинсонами

проклятии…

А Эрнест Аткинсон, который в скорбном уединении своем, в Кесслинг-холле, выводил, утешения ради, рецепт сусла для пусть еще и не доведенного до ума, но весьма и весьма крепкого пива, при помощи, кстати говоря, своей двенадцатилетней дочери, начал поговаривать о своем «Особом».

В ноябре 1909 года на встрече с избирателями в городском собрании Гилдси мой овдовевший дед объявил о возвращении семейства Аткинсон на политическую арену, поставив сограждан в известность о намерении выставить свою кандидатуру в качестве кандидата от либералов на казавшихся тогда неизбежными всеобщих выборах. [31] Коснувшись в общих чертах своего политического кредо, он обрушился на консервативную традицию, которая так долго держала в оковах его родной город. Не отрицая былых социалистических симпатий, он одобрил недавние либеральные реформы и встал на защиту «взвешенной и просвещенной политики» Ллойд

[31] Примечания: 31

В 1909 году получивший к этому времени пост министра финансов Ллойд Джордж внес в традиционно консервативную палату лордов откровенно непроходной проект бюджета, желая спровоцировать тем самым внеочередные всеобщие выборы, на которых либеральная партия надеялась одержать внушительную победу. Выборы состоялись в 1910 году, однако в силу ряда причин — на часть из них sapienti sat намекает далее Свифт — победы не получилось.

Джорджа. [32] Он не остановился перед обвинениями в адрес собственного отца (возмущенный ропот в зале), перед тем, чтобы охарактеризовать его как одного из тех, кто кормил народ мечтами о величии, раздутом до несоразмерности и давно уже не отвечающем реалиям современной ситуации, кто отравил их души призраком Империи (каковому призраку после позора Южно-Африканской войны [33] (лучше вообще не показываться людям на глаза), тем самым отвратив их от предметов куда более насущных и близких. В то время как он, сын своего отца, выступает за политику сдержанную и реалистичную, за возврат ко временам простоты и достатка и, если учесть его место в жизни как владельца городской пивоварни — шутка упала, однако, на каменистую почву, — за счастливое возвращение от напыщенной мрачности к честному и доброму веселью.

Он описал — у меня хранится стенографическая

---

[32] Примечания: 32

Имеются в виду достаточно радикальные по тем временам реформы кабинета Ллойд Джорджа, касающиеся в основном соцобеспечения и земельного законодательства.

[33] Примечания: 33

Более известной у нас как англо-бурская. Ллойд Джордж в свое время заслужил репутацию радикала именно благодаря своим резким антивоенным выступлениям.

запись этой смелой и роковой во всех смыслах речи, — как один лишь только голос совести, а не любовь к публичным позам (выкрики с мест) заставила его обратить свои взоры к политике. Как страх за будущее своей страны уже успел отравить ему славную, несущую людям радость роль пивовара. Как он предвидит в ближайшем будущем катастрофические последствия, если только не обуздать существующий дух джингоизма и не сдержать милитаристские игрища современных наций. Как цивилизации (неужто Эрнест унаследовал пророческий дух Сейры? Или он — а многие обратили на это внимание и не замедлили, легкими тычками локтей, обратить на это внимание соседей — был просто-напросто пьян) грозит величайший в истории кризис. Как, если никто не возьмет на себя смелости предпринять… ад кромешный…

Выкрики все чаще, все громче, под улыбочки более умудренных представителей консервативной партии, с ходу оценивших, как одним ударом и в самом начале предвыборной гонки Эрнест похоронил все свои шансы. Некто в зале встает, чтобы его слышали все: «Если ваш, сударь, отец, отравлял наши души империализмом, что делаете вы при посредстве выпускаемого вами

пойла?» Смех, аплодисменты. Еще один оратор, с эпиграмматической краткостью:

«Господин председатель, не к лицу пивовару быть пьяным!» Снова смех, аплодисменты громче. «Или оскорблять собственного отца!» (еще один). «Или свою страну!» (и еще один). Завывания, кошачий мяв; председательствующий молотит по столу молотком («Я вынужден попросить джентльмена в аудитории взять назад свои…).

Мой дед (перекрывая рев зала); «Я предупреждаю вас… если вы не прислушаетесь… я предвижу… если… я предвижу…»

Однако, вернувшись в жуткую тишину Кейбл-хауса, отдавая себе отчет в том, что на его репутации можно ставить крест, обнявши дочку Хелен, которой теперь уже тринадцать лет, так горячо — если было кому подглядеть эту сцену, — как человек способен обнимать одно лишь единственное свое утешение в жизни, он, может быть, крутит в голове это возникшее из ниоткуда и больно резанувшее его слово: пьянство.

Пьянство. Не веселье, нет, — пьянство.

И, вернувшись в свинцовое уединение Кесслинг-холла, он диктует дочери — которая старательно заносит в записную книжку цифры,

пропорции и даже названия кое-каких дополнительных ингредиентов, коим судьба до сей поры остаться тайной и тайною же пребыть вовеки, — и улучшает, улучшает свое «Особое».

Да, для меня не секрет: кое-что из дедовской громокипящей и притом не слишком уверенно стоящей на ногах риторики оказало влияние и на мое учительское краснобайство. Кое-что от унизительного положения, в которое он попал перед набитым под завязку городским залом, от тогдашних выкриков и улюлюканий возрождается порой в моем классе, когда я наталкиваюсь на вскипающую поверх парт волну враждебности и отторжения. И все же — в ком, по-вашему, я сегодня наблюдаю ту же дедовскую меланхолию и дедовский же страх перед будущим? В кудрявом парнишке по фамилии Прайс.

20
ОБЪЯСНЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Коего я призываю к порядку, коего я резко обрываю: «Прекрасно, Прайс. Довольно. Зайди ко мне после уроков». (Его нескрываемое разочарование во мне: грубость, авторитарность.) Однако это его «вы можете и дальше выпендриваться»... Педагогическая паника. Научи их насчет революции, и они — Страх, что в классе вспыхнет бунт, подпитываемый страхом преследований свыше (Льюис просит слова), подогреваемый страхами полной анархии в личной жизни (анархии? Но ведь его жена обрела веру, она обратилась к Господу нашему). Изобразить деспота. Отыграться на... Тирания и неуверенность:

«Так что будь добр, Прайс, оставь эту улыбочку при себе, — (если честно, он вовсе и не улыбался), — и в четыре часа жду тебя в кабинете».

И вот Прайс стоит перед моим столом, после уроков, и тоже прекрасно разыгрывает роль: устыдившийся лицом — но не раскаявшийся — обидчик.

«Либо то, либо другое, Прайс. Ты сам записался

на историческое. Время от времени ты показываешь весьма неплохие результаты. Но так, чтобы ходить на уроки истории и не заниматься при этом историей, — не бывает. Ты не можешь спорить со мной о неких частностях Французской революции — в чем лично я не вижу ничего дурного — и в то же самое время отвергать необходимость всего предмета в целом».

Кабинет истории, четыре часа пополудни. Школа пуста; за окнами зимняя тьма. Пустые парты; следы от подошв на полу; крошки мела. Мы выполняем положенную последовательность жестов, шарада из области «учитель — ученик». Дисциплина превыше всего. Мы ищем — или, по крайней мере, я ищу — общей почвы, возможности сказать: черт возьми, мы же разумные люди… и: да боже ж ты мой, неужели нам непременно нужно… Однако утыкаемся все в ту же самую стену, мы вынуждены быть такими, как предписывает роль, а значит, по разные стороны баррикады.

«Ну?»

Прайс пожимает плечами. «Вы же сами все объяснили на уроке. Это ваш театр, ваше представление. Вы — главный. И объясняете тоже вы».

«Понятно. Ну что ж, позиция выражена четко — давай в таком случае начистоту. Если я главный, если я веду уроки, значит, я имею право на то, чтобы мои уроки не срывались».

Прайс ничего не говорит, но на его губах появляется тень смутной, неопределенного сорта улыбки.

«А если мой урок все-таки срывают, я имею право знать — почему я тебя, собственно, сюда и пригласил — почему?»

Все та же улыбка.

«Может быть, теперь ты попробуешь что-нибудь объяснить?»

Ему, однако, нужды нет вдаваться в объяснения. И вообще что-либо делать, кроме как стоять передо мной с неуловимо-иронической миной на лице. Потому что ситуация сама за себя говорит, живая картина: угнетатель и угнетенный. (Обрати внимание, Прайс, между делом: как многое в истории зависит от распределения ролей и сколько всего и всякого случилось только оттого, что никто не взял на себя смелости сказать, чего же он в действительности…)

Любительская драматизация событий. Оставь его после уроков: пускай хоть что-нибудь, да случится.

«Ну?»

«Ну — все очень просто, сэр. Я сорвал ваш урок — потому что хотел этого».

«Вполне естественно. И — мы живем в свободной стране. Однако это ничего не объясняет. Ибо я тут же задаю себе вопрос, почему одному только Прайсу пришло на ум сорвать урок, в то время как остальные шестнадцать человек, которые, по большей части, народ вполне приятный…»

«То есть вы хотите сказать, они делают то, что им сказано».

«Это одна из возможных интерпретаций. Но все-таки, как насчет твоих объяснений?»

«Я здесь для того, чтобы учиться, сэр».

«Я тронут твоим доверием, равно как и смирением — которых тебе так недостает во время уроков. И раз уж ты хочешь, чтобы я объяснил вместо тебя… Насколько я понимаю, скрытый смысл твоего протеста направлен не против формы или там манеры ведения урока, да и вообще не на какие подобного рода частности. Если бы проблема заключалась именно в этом, мы могли бы и в самом деле обсудить методы и подходы — ничего нездорового или неуместного я здесь не вижу — и даже прийти к полюбовному соглашению, что мы с тобой придерживаемся разных

взглядов. Твой протест, однако, носит характер более чистый и более радикальный. Твоя позиция состоит в том — я правильно понял? — что история есть своего рода обманка; и что смысл имеет одно лишь настоящее. Отсюда логически вытекает, что нам не следует тратить время на изучение Французской революции — каковая тема, учитывая свойственный ей привкус бунта и прочей подрывной деятельности, все-таки не лишена для тебя, на мой взгляд, определенной привлекательности. А взамен мы должны сесть и заняться пристальным изучением Афганистана, Ирана, Северной Ирландии, а также всяких скорбей и горестей нашей несчастной дряхлеющей страны».

Я встаю из-за стола. Говорю и начинаю при этом ходить по комнате, не глядя на Прайса. Опять выходит вздор. Слишком много слов. Риторические пассы руками над пустыми партами. Как будто я обращаюсь к классу, а не к…

«Похвальное намерение, Прайс. И я уверен, что обсудить все эти темы можно было бы в часы, отведенные под общие дисциплины, с мистером Уоллесом».

«Да он просто старый…»

«Стоп, стоп. Постольку, поскольку имеется в

виду мое участие во всем этом предприятии, перед нами встает одно препятствие сугубо практического свойства. А именно учебный план. А именно то обстоятельство, что мне платят деньги как учителю истории, за то, что я преподаю вам историю согласно учебному плану, каковой учебный план включает — наряду с прочими совершенно неуместными темами — также и Французскую революцию, чем мы, собственно говоря, и занимаемся».

(Выйди из этой роли. Слезь с трибуны.)

«Класс! Как я рад, что у вас это все так глубоко продумано!»

Сказано едко, со злостью, с болью, с отчаянием и разочарованием — моей учительской уравновешенности как не бывало, и я уже иду обратно по ближнему к учительскому столу проходу.

Вот — вот он, твой шанс.

«Прайс, мне иногда кажется, что тебя что-то… беспокоит. О чем даже и близко речи у нас не идет. Что мы все время говорим не о том. Если я могу…»

Рука поднялась — но не для риторического жеста. Рука поднялась, почти неосознанно, чтобы тронуть Прайса за плечо.

На секунду в выражении его лица проскальзы-

вает смятение, потом лицо застывает, готовность перейти в контратаку, вызов. Я разворачиваюсь, отступаю, иду обратно, между партами.

«В смысле, если я чем-то могу помочь…»

Остановка у окна. Взгляд в темноту. Молчание.

«Не знаю, сэр. Вы думаете, история, помогает?»

«Прайс?»

«То есть — я не понял этой фразы „если я могу помочь“. Я не знал, что такие вещи предусмотрены учебным планом».

Все, к черту, себе дороже: пусть катится куда глаза глядят.

Его фигура, у меня за спиной, отраженная в окне. Стоя у стола, где обычно я сам стою лицом к лицу с классом. Призрак школьника, застывшего на месте своего учителя перед призрачным классом, плывет в заоконной мгле…

Как же быстро мы забываем, каково оно, вот так-то. Когда тебе шестнадцать лет и ты плывешь… Как быстро мы забываем. Как судорожно мы цепляемся за учебный план. Покуда…

(Прайс, уж я-то не без задней мысли.)

«Ладно. Ты совершенно прав. Предложения помощи не значатся в учебном плане. И давай забудем о моей выходящей за всякие рамки попытке проявить заботу. С другой стороны, я

оставил тебя после уроков не для того, чтобы читать тебе дополнительные лекции. Я все еще жду объяснений».

Все так же, спиной к нему. Он медленно идет в глубь класса, как если бы и впрямь (минутная иллюзия с моей стороны?) почувствовал за меня беспокойство. Люди, стоящие у окон третьего этажа…

«Итак?»

Неправильно выбрал время. Он останавливается. Я оборачиваюсь.

«Вы знаете, сэр, в чем ваша беда? Вы зациклились на объяснениях. Объясняете, объясняете. Все должно иметь свое объяснение».

Человеческий инстинкт, Прайс. Приходит с опытом…

«Но ведь ты же сам сказал: объясняете тоже…»

«Потому что я могу обойтись безо всяких объяснений…»

Лицо вдруг дергается, искажается совершенно.

«Потому что мне не нужны объяснения…»

Голос дрожит. Он явно пытается вытолкнуть некий перл, ключевую фразу. Берег напоследок?

«Потому что объяснение — это способ проходить мимо фактов, делая при этом вид, что ты подбираешься к ним поближе…»

Молодчина, Прайс. Глубоко, весьма глубоко. Так и просится в Призовую Книгу Афоризмов Прайса. Но это перепуганное лицо?..

«А люди пускаются в объяснения только тогда, когда у них все идет насмарку, разве не так, а не тогда, когда они правы? И чем больше слушаешь всяких объяснений, тем больше тебе сдается: крепко же мы, должно быть, влипли, если столько всего приходится объяснять».

Молчание. Румянец под мертвенно-бледной боевой раскраской. Глаза горят, потом гаснут.

Он смотрит на часы.

«Я уже могу идти, сэр? Время позднее».

Итак, послание обнародовано. Итак. Не по этой ли причине ты и явился на мое маленькое дисциплинарное рандеву? Бросить Вызов. Манифест классного оратора, делегата и ходока. Прайсово Объяснение Объяснения. Пусть старичок Крики потрудит мозги. А он потрудит. Он уже…

«Да, время позднее».

«Так я могу идти?»

«Прайс, я…» (Но рука остается на месте.) «Да, ты свободен».

Он решительно, демонстративно идет к двери. Прежде чем выйти, оборачивается:

«Ну, увидимся на завтрашнем уроке».

21
AUX ARMES [34]

На котором Оратор и Делегат, вернувшийся из ставки Деспота, окруженный (моя тактическая ошибка) аурой героя и мученика, заслуживает всеобщий почет и внимание. Становится центром смутного мельтешения. Ну и что он сказал? А ты что сказал? И какой он, кстати, когда возьмешь его за жабры? Он что, на самом деле — ну, сам знаешь — немного того?..

На котором сплошь одни перешептывания и шевеления. Дух безрассудной смелости. На котором весь класс как-то разом устал ото всех этих нудных копаний в причинах, предпосылках; от аналитических разборов. Объяснение, объяснение. Разговоры, разговоры. Национальная Ассамблея; почему она появилась; ее состав; исполнители главных ролей. Дебаты по конституции; диалог; риторика и реальность; теория и практика; история и лицедейство…

Эй, постойте, а мы-то думали, революция — это

---

[34] Примечания: 34
К оружию (фр.).

действие. Это баррикады и кровь. Как насчет всего этого?

Видишь, как ты их всех завел, Прайс. Как ты их подначил. И что, за правое дело? Против Истории? Учебного плана? Но дело-то не в самом учебном плане, а в том, что он слишком долго не дает пас, никак не доберется до самого интересного. Школьникам подавай сражения и казни. (Мне тоже когда-то, во времена чернильно-черной школьной формы.)

Так чего ты добивался, Прайс? К черту прошлое. Но — ты видишь, как им всем нужны старые, старые как мир истории. Видишь, как они рванули — и не они первые — разносить по камушку большую злую легендарную Бастилию. Действие и атавизм. Доставайте поскорей костюмы. Когда история дает модель протеста в натуральную величину…

Оратор и Делегат молчит среди общего ропота. Внимательно следит за учителем. Парадоксы революции: если наш предмет революция, как ты против нее восстанешь? Когда прошлое пытается свести с собою счеты, как ты будешь сводить счеты с прошлым? Это перекошенное лицо. На следующем уроке (Декларация прав человека) он вбросит, выждав нужное время, конец света.

Но — как насчет баррикад и кровопролития? А насчет гильотин? Ну, давайте.

Значит, вам подавай драму? Вам подавай действие? Вам подавай апокалипсическую нотку? Тогда позвольте рассказать вам

22
ОБ ЭЛЕ «КОРОНАЦИЯ»

Он возвращается в Кесслинг-холл, пивовар по профессии, политик по внезапному и ложному порыву. Пивовар — тот, кто заставляет бродить сусло.

На выборах в январе 1910 года мой дед набирает всего тысячу сто голосов и, несмотря на имя и на все преимущества местного уроженца, уступает явному аутсайдеру, чужаку, Джону Сайксу из Йоркшира, который, учуяв легкую поживу, мигом ввязался в драку и был вознагражден местом члена парламента от консервативной партии, хотя и при либеральном правительстве. Дед принимает поражение, хотя он, может статься, ничего другого и не ждал; уже приговорив себя к роли политической Кассандры и к потере вложенных в избирательную кампанию средств.

Однако он готов принять поражение, но не бездействие. Он ждет возможности дать людям то, чего они жаждут.

И такая возможность ему представляется летом 1911 года.

Летом 1911 года, как вы все прекрасно знаете, если выучили в свое время наизусть британских монархов со всеми их датами, старый добрый бродяга король Эдвард умер, а на престол взошел примерный семьянин — но все ж таки король и император — Георг V. А когда король восходит на престол, должна быть коронация, чтобы дать людям повод лишний раз порадоваться и выплеснуть верноподданнический пыл.

И какая редкая удача, тютелька в тютельку, что подобный случай представился в такое время. Когда программа строительства дредноутов [35] даже при либеральном правительстве, была удвоена; когда кайзер допускал в Европе одну неосторожность за другой; когда британцы вошли во второе, судьбоносное десятилетие два-

[35] Примечания: 35

Речь идет о революционной в военно-морском деле программе, принятой по настоянию адмирала Дж. Фишера, первого лорда Британского Адмиралтейства с 1904 по 1910 год. В 1906 году был спущен на воду первый корабль нового класса, названный «Dread-nought», буквально «сводящий угрозу (страх) на нет», хотя полученное в результате словосочетание звучало похоже и на «Dread note» — «страшная весть», «грозное предупреждение». Корабль по всем основным параметрам (кроме толщины брони) — по водоизмещению, габаритам, мощности двигателей, скорости — оставлял далеко позади составлявшие к этому времени костяк военно-морского флота всех крупных морских держав эскадренные броненосцы, а кроме того, вместо обычных на эскадренном броненосце четырех орудий главного калибра (280–343 мм) нес десять 305-миллиметровых орудий. В бою подобный корабль, имея преимущество в скорости, дальнобойности и огневой мощи, попросту расстреливал издалека любой броненосец, не давая тому возможности

подойти на дистанцию огня среднекалиберных пушек. Программа перевода основных ударных сил британского флота на новый класс корабля (имя дредноут вскоре стало общим названием) была принята незамедлительно — впрочем, в гонку морских перевооружений тут же включились и все остальные державы. К началу 1910-х годов относится и расширение программы за счет строительства линейных крейсеров (крейсерский аналог дредноута) по типу «Инвинсибл» (1907, 8 орудий 305 мм, 26 узлов против 22 у «Дредноута») и супердредноутов по типу «Орион» (1912, 10 орудий 343 мм, замена «малых» орудий с трехдюймовок на четырехдюймовки).

дцатого века.

В июне 1911 года, когда весь Гилдси готовился к коронации Георга V, когда вывешивались флаги, раскладывались костры, высаживались поздравительные надписи из цветов и обсуждались программы банкетов, мой дед, мрачный и не любимый в народе городской пивовар, предложил внести свой собственный вклад в празднество, поставив для него новый, специально в честь этой даты выпущенный сорт бутылочного эля, названный, в полном соответствии с поводом, «Коронация»; первая тысяча бутылок разойдется бесплатно, но ни единая капля не должна попасть на уста жителей Гилдси, покуда сам акт коронации не будет произведен.

Хотя оно уже и прежде попадало, в форме, известной под незамысловатым именем «Особого», на уста моего деда. И не исключено, что также и на входящие в самый сок и цвет уста Хелен Аткинсон, моей матери.

Согретые патриотическим пылом и размякшие от духа общенационального примирения (раз уж такое дело, и сварливый пивовар тоже имеет право сказать свое Боже, Храни Короля, как и всякий нормальный человек), горожане решили на время забыть о своих распрях с Эрнестом Аткин-

соном. Такой славный день на носу. Им пришли на память иные времена, когда в особо торжественных случаях их до отвала поили славным пивом; пришли на память «Бриллиантовый» и «Золотой юбилей» и даже «Гранд-51», а за ними и те далекие безмятежные деньки, когда фортуна дарила город ласковым своим вниманием. Неужто эти дни ушли навеки? И нельзя ли присовокупить к празднованию общегосударственного события — Эрнест Аткинсон отважился внести предложение на заседании оргкомитета по проведению Торжеств, ни словом не обмолвившись о политике, но, правда, не без странного этакого огонька в глазах — событие местного масштаба? Ибо разве не ровно сто лет тому назад, или почти сто лет тому назад, добавил он, и огонек в глазах сверкнул еще более странно, Томас Аткинсон получил наконец, несмотря на все препоны (неловкие смешки отдельных членов комитета) отдельных местных клик, права на Лимское навигационное товарищество, тем самым дав начало процессу, благодаря которому сей некогда заштатный фенлендский городишко занял свое достойное место на карте страны — если уж, да что там, и не на карте мира?

Что было в этом эле «Коронация», разлитом в

темно-коричневые бутылки, продолговатые и более узкие, чем то было принято после войны, с выдавленной надписью «Аткинсон — Гилдси» и с этикеткой, на которой по центру большая корона, а по краю бордюр из маленьких корон и «Юнион Джеков»? Нектар? Отрава? Веселье? Безумие? Загнанные в бутылку мании подданных его величества?

Но в чем уж вы точно можете быть уверены, так это что, покуда в Вестминстере надсаживались толпы, палили пушки и звенели колокола Аббатства, на берегах Узы пили не обычный эль. Потому что, когда граждане Гилдси битком набились в «Угря и щуку» и в «Веселого шкипера», чтоб непременно попасть в первую тысячу счастливчиков, которые получат по бутылочке задаром, и в самом добром и добропорядочном из расположений духа поднять стаканы за короля, они вдруг выяснили, что патриотический сей напиток с невероятной скоростью прогнал их через все как есть наступающие обыкновенно в должном порядке и оттого поддающиеся волевому контролю фазы опьянения: радость, удовлетворение, довольство жизнью, возбуждение, легкость, горячность, помутнение рассудка, помрачение рассудка, исступление, крайняя раздражитель-

ность, желание дать в морду, утрата чувства равновесия, полное расстройство двигательных функций — и весь диапазон в одной бутылке. А уж если накатить еще по одной…

Точные сведения о тогдашних событиях раздобыть до крайности непросто. Во-первых, по той причине, что Гилдси всеми силами пытался вычеркнуть сей день из памяти; а во-вторых, по той, куда более уместной причине, что большая часть заслуживающих доверия свидетелей была в это самое время безнадежно пьяна.

С пугающей регулярностью горожанок призывали вмешаться и хоть как-то обуздать проявляемую их мужьями несдержанность, подвергая их самих неодолимому искушению попробовать состав, который вызвал столь замечательный эффект. Владельцы двадцати трех городских пабов начали всерьез опасаться за доброе имя и за физическую сохранность своих заведений. Процессия школьников, которая должна была пройти вдоль по Водной улице с целью демонстрации невинной, флажками помавающей преданности новому государю, была напрочь испоганена хриплым — и, чего никак нельзя исключать, непристойным — ревом, разносившимся окрест из «Лебедя» и из «Угря и щуки». Ракеты и римские

свечи, предназначенные для захватывающего дух вечернего представления, были запущены средь бела дня и по весьма опасным траекториям. Только чудо помогло избежать кошмарного несчастного случая на воде с кораблекрушением и множеством человеческих жертв, когда «Св. Гатлека», чей кормчий уже успел осушить свою бутылочку, так же как и большая часть пассажиров, и который вдруг пошел зигзагом поперек реки, распушивши вымпелы с флажками и надсадно ревя гудком, едва не отправила на дно «Королева Фенов», управляемая столь же твердой рукой.

Пьянство. Пока колокола Св. Гуннхильды вызванивали новому победителю здравицу. Пьянство во множестве неожиданных и самых невероятных форм.

В полотняном сооружении, известном как «Павильон коронации», к Эрнесту Аткинсону обратилась депутация из двух местных высших полицейских чинов; настоятельным образом высказав пожелание, что в целях соблюдения законности и порядка все городские пабы следует закрыть, они поинтересовались между делом, что же там такое в этих самых бутылках и существует ли противоядие. На что, говорят, Эрнест ответил,

откровенно пародируя стиль собственной предвыборной речи, что действия, направленные на пресечение имеющей в виду воздать должную честь королю и родине патриотической акции, да еще в такой исключительный день, были бы достойны всяческого сожаления; что он, конечно, несет ответственность за пиво, но ответственности за тех (слово в слово), кто не пьет его с должной мудростью, он нести не может. И для того чтобы проиллюстрировать эту последнюю мысль, он умудрился на глазах у полицейского начальства осушить в один прием бутылку пресловутого эля (коего несколько ящиков проникло и в «Павильон коронации») безо всякого видимого эффекта, тем самым опровергнув клеветнические измышления, рожденные во время упомянутой предвыборной речи, и лишний раз подтвердив, что пивовар от собственного пива не пьянеет. Начальство также было сердечнейшим образом приглашено отведать. Но поскольку было облачено в наипараднейшую форму, от приглашения отказалось.

Этому самому начальству еще предстояло с чувством глубокого прискорбия и стыда выслушать рапорт, и не один, о том, что и констебли поддались всеобщему помрачению и причасти-

лись экстраординарного напитка. Один юный бражник пытался залезть на флагшток и сломал ногу. График процессий и мероприятий летел в тартарары. Большое число задействованных граждан, коим даже в этот день следовало бы сохранять должную долю трезвости, не оправдало возложенной ответственности, включая сюда и участников Духового оркестра лиги в защиту свободной торговли города Гилдси, чья отрепетированная тысячу раз программа пострадала от дичайших импровизаций и чья аранжировка Эльгаровой увертюры про счастливую страну Кокейн [36] с треском провалилась.

Перед теми, кто еще сохранял трезвость мысли, встала непростая дилемма: если, скажем, изъять из продажи это уже по достоинству оцененное народом пиво, не приведет ли подобный шаг к еще большим беспорядкам, нежели потребление оного.

По ходу безумного этого дня ряд лиц, приглашенных на банкет в честь коронации (в восемь, в большой зале городского собрания), начал по-

---

[36] Примечания: 36

Кокейн, Кокэн, Кукань и т. д. — в западноевропейском средневековом фольклоре счастливая страна, смесь кельтских Блаженных Островов и Рая Земного. Легенда впоследствии дала почву для литературно-философской разработки — от Мора и Рабле до робинзонад XVIII — начала XX в.

думывать, как бы им (учитывая, что они тоже пили…) поделикатнее отказаться от участия в столь почетном и почтенном заседании. Но никакому банкету в честь коронации состояться была не судьба. Ибо кульминация этой возмутительной оргии была еще впереди.

Никто не знает, как оно так вышло. Правда ли, что некие одиночки пытались поднять тревогу (и от них отмахивались, как от очередного розыгрыша, очередной галлюцинации) или же весь город в одночасье осознал грубую реальность факта. Но едва спустились сумерки этого более чем праздничного дня, стало ясно, что пивоварня, что пивоваренный «Новый Аткинсон», построенный в 1849-м Джорджем и Элфредом Аткинсонами, горит. Густеющие траурные покровы дыма быстро набухли изнутри бойкими языками пламени, а затем пошел и треск, и вроде как взрывы — то бишь явственные симптомы вовсю разгулявшегося пожара.

Набежала и замельтешила толпа. Банкет в честь Коронации, перед лицом столь явной угрозы, был отменен окончательно. Была вызвана пожарная бригада города Гилдси (учредитель — Элфред Аткинсон) в полном составе, как один человек. Вот только вопрос — была ли в ту страш-

ную ночь от данного доблестного формирования, с тремя специальными пожарными машинами и двумя вспомогательными, хоть какая-то польза. Потому что, во-первых, на пожарной станции весь божий день по явному недосмотру властей персонала было явно недостаточно (одна из пожарных машин, украшенная флагами и ленточками, принимала участие в праздничном шествии), а во-вторых, едва ли не каждый пожарный, а они сейчас изо всех сил старались разом протрезветь и втиснуться в громоздкую пожарную сбрую, выпил свою бутылку эля; а в результате, когда пожарные машины прибыли наконец на место происшествия, в полном беспорядке, кто как добрался, с надсадным звоном, а одна так и вовсе разукрашенная патриотическими розеточками, спасти пивоваренный было уже невозможно. А со слов целого ряда свидетелей выясняется, что доблестная эта команда потратила на совершенно неуместное озорство (на поливание, к примеру, из шлангов собравшейся толпы), куда больше рвения и сил, нежели на тушение пожара.

Итак, огонь разошелся вовсю. Внеся свой вклад в систему праздничных костров и прочих запланированных на вечер пиротехнических забав.

Толпа, в глазах у которой отплясывали как отблески пламени, так и пьяные пивные чертенята, и в самом деле пялилась на пожар так, словно перед ней была вовсе не городская пивоварня, которая вот-вот выгорит дотла, а некое затейливое огненное действо, загодя приготовленное на потеху и для услады зрения местной публики. А может, так оно и было. Неуместные выходки пожарной бригады нашли в толпе одобрение и понимание. Тревоги, паники, ощущения опасности не запомнил почти никто. В тех случаях, когда пожару удавались особо эффектные трюки (лопнули одновременно все до единого окна в верхнем ряду, подобием бортового корабельного залпа), их встречали дружными аплодисментами; а когда ровно в полночь (ибо сей час навечно застыл на циферблате башенных часов) труба пивоваренного дрогнула, пошатнулась и, вместе с фризами в итальянском стиле и парализованными отныне стальными стрелками часов, рухнула единомоментно, вертикально, в полыхающую прорву пивоварни, ее провожала дружная и долго не смолкавшая овация — и это несмотря на тот факт, что, выбери труба иной угол падения, она бы раздавила не один десяток зрителей.

Неземного сияния отблеск зажегся в ту ночь

на коньках сбившихся до кучи крыш города Гилдси. По маслянисто-черной Узе поразбежались, поперепутались огненные бусы. На пустынной, разувешанной гирляндами рыночной площади подрагивали камни мостовой, а в городском собрании, где стояли накрытые для так и не состоявшегося банкета столы, тени от высоких, как то и должно в муниципальном здании, оконных переплетов выплясывали на стенах. В безупречной монотонности фенлендских горизонтов пожар, подобием некоего странного атмосферического явления, был виден на мили и мили вокруг — какой подарок местной тяге к знамениям и знакам; а утром двадцать третьего июня на месте привычной трубы поднялся дымный столб и стоял так не день и не два.

Не стоит ли искать причину происшедшего — ибо не успело еще погаснуть зарево, а по городу уже вовсю гуляли домыслы и слухи — в том, что эль «Коронация», который так успешно разводил внутри у каждого, кто его пил, свой маленький пожар, в том, что этот эль обрел-таки способ овеществить, показать свою силу во внешнем мире и, в процессе внезапного самовозгорания, спалил свой собственный исток? Или же сей феноменальный напиток, имевший целью порадовать

соотечественников в день национального праздничества, всего лишь воочию показал безумный, поджигательский характер их джингоистского пыла и объяснил на пальцах, что разрушение им куда милей, чем единение и радость? И не в этом ли смысл загадочной и горькой реплики, произнесенной Эрнестом в 1914 году, когда он навсегда покинул Гилдси: «Один большой пожар пришелся вам по сердцу, что ж, следующий не за горами»? Не был ли пожар на пивоваренном делом рук — а многие были твердо в том убеждены — пьяных гуляк, которые, когда им не хватило, вломились в поисках выпивки на завод и, по нечаянности или в силу других каких причин, подпалив какую-нибудь мелочь, открыли в себе новую и куда более сильную жажду? Или же, как гласит противоположная версия, красного петуха на пивоваренный подпустило городское начальство в качестве крайней, отчаянной меры, желая разом предотвратить полномасштабный, на весь город ночной погром и уничтожить одним махом все запасы взрывоопасного пойла? Потому что и в самом деле, после того как исчез с лица земли пивоваренный, никто не видел больше в природе (и не пил) эля «Коронация» (за одним исключением). А тайна его приготовления

— так и осталась тайной.

Пивоваренный выгорел — не увидеть ли в том совершенного и окончательного доказательства слухам о проклятии, тяготеющем над семейством Аткинсон? Однако, если так, как можно совместить сие с другой теорией, которая сперва не пользовалась особой популярностью и подняла голову только лишь в последующие годы, когда Эрнест, даже и не пытаясь отстроиться заново, продал оставшиеся активы и удалился — как будто и впрямь рыльце у него было в пушку — в Кесслинг-холл? Будто Эрнест, напоив для верности весь город, сам поджег свой завод. Потому, что хотел прибрать к рукам немалые страховые суммы.

И потому, что (позвольте вашему учителю истории эту причудливую, но никак не лишенную оснований догадку) он был искренне рад сыграть роль — никак не жертвы проклятия, нет, но его орудия. Потому, что он не видел будущего ни для семейного дела Аткинсонов, ни для их процветавшей в годы оны империи, не говоря уже о согражданах, которые, казалось, лезли вон из шкуры, чтобы поскорее накликать на себя беду. Потому, что лучшего выхода, чем разрушить пивоваренный до основания и забыть про него,

он и придумать бы не смог. И стереть, как мокрой тряпкой с доски.

Таков, может статься, был ход его мыслей в тот октябрьский день 1914 года, когда, на просторном заднем сиденье лимузина фирмы «Даймлер», бок о бок со своей единственной дочерью (красавицей осьмнадцати лет), его везли из Гилдси в Кесслинг, где не было когда-то ни Кесслинг-холла, ни солодовен, ни судовой развязки. Об этом он и размышлял, неотвязно и мрачно, проезжая через плоские окрестности Лима, столь схожие с плоскою равниной между Лисом и Изером, где стольким человеческим жизням суждено вскорости оборваться и где Хенри Крик получит свою рану в колено. Чего добились Аткинсоны, быть может, задавался он вопросом, принеся широкий мир на задворки, в тихий омут?

И — подумайте над этим, дети, — не занимались ли Аткинсоны-пивовары, по большому счету, тем же самым, чем занимался отец Фредди Парра, когда он пристрастился к выпивке? Пытались залить, загнать вглубь чувство пустоты. Поднять настроение. Добыть огонь, добыть брожение из водянистого ничто…

Вердикт официального следствия по делу вкупе с инспекторами страховой компании: несчаст-

ный случай.

Прибрать к рукам страховые суммы. Взять то, что причитается ему по справедливости с города, который освистал его предвыборную речь и не дал ему места в парламенте. Выставить их всех дураками (ибо протрезвели-то они довольно быстро). А что, если все это была некая чудовищная шутка, и что, если, попади он в ту роковую ночь к ним в руки, они бы взяли да и зашвырнули его в самое полымя?

Потому что — где, спрашивается, был Эрнест Аткинсон, пока горел его завод? Никто его не видел. Хотя все признавали, что он вроде должен был находиться где-то рядом, среди бестолкового стада сбитых с толку и возбужденных отцов города, многие из которых, так и не снявши надетых на банкет регалий, принимали на фоне пышущего жаром пивоваренного самые неожиданные позы, никто впоследствии не мог с уверенностью сказать, что видел его. Хотя он был в «Павильоне коронации» и появился, как из-под земли, еще раз (умерив кой-какие страхи), уже наутро, чтобы осмотреть раскаленные докрасна руины, никто не взялся бы подтвердить, что он делал в промежутке. Тут и вправду было над чем подумать.

Однако, покуда Эрнест ушел в тень, дало о себе

знать присутствие иной, не сказать чтоб не имеющей к делу касательства фигуры. Ибо не один и не два человека, оказавшихся в ту ночь в толпе наблюдавших за пожаром зевак, и списывайте это, если вам угодно, на действие вызванной смесью эля с пламенем галлюцинации, вспоминали о некой женщине — о женщине, которая внезапно заставила их вспомнить нелепую старую историю. А когда, примерно в половине двенадцатого, принялись искать и не нашли Эрнеста Аткинсона и направили двух полицейских констеблей (трезвых ли, нет, о том история умалчивает) в Кейбл-холл, они и в самом деле обнаружили там горничную, Джейн Шоу, одну-одинешеньку (все прочие слуги ушли смотреть пожар) и взвинченную до крайности; каковая горничная клялась и божилась, что, во-первых, даже и не притронулась к жуткому этому элю, а во-вторых, что пошла себе тихо-смирно в комнату наверху поглядеть, как оно там горит, потому как на улицу выходить не решилась из опасений за собственную безопасность, и увидела — она видела — Сейру Аткинсон. Потому что она знала ее в лицо из портрета, который висит в городском собрании, и еще по другим карточкам, в доме есть. Потому что она слышала эти глупые старые

россказни, а теперь знает, что все это чистая правда. Сейра стояла у окна, откуда были видны гигантские языки пламени, взлетавшие аж до самой маковки уже обреченной заводской трубы, и говорила она, с ухмылкой на лице, те самые слова, смысл которых когда-то был не внятен ни мужу, ни обоим любящим и преданным сыновьям: «Пожар! Дым! Горим!»

23
QUATORZE JUILLET [37]

Но давайте не будем переоценивать ни действительного характера, ни действительных результатов падения Бастилии. Семерых заключенных отпустили на волю (ровно столько, сколько сидело на тот момент в крепости): двух сумасшедших, четверых фальшивомонетчиков и незадачливого повесу. Семь голов — коменданта и шестерых охранников — пронесли воздетыми на пики. Двести, или около того, принимавших участие в осаде парижан были убиты и ранены. Сами по себе камни Бастилии, гора битого булыжника, были свезены профессиональными подрядчиками, и проданы, и принесли хорошую прибыль…

Но нет, истинную значимость этого безвкусного действа стоит искать не в материальных выгодах, но в знамениях и символах. Его величества твердыня захвачена подданными его величества. Отсюда знаменитый триколор —

---

[37] Примечания: 37
Четырнадцатое июля (фр.).

красный и синий цвета города Парижа неусыпно бдят за белым цветом дома Бурбонов, — ставший расхожим знаком революции, так же как падшая во прах Бастилия стала историческим ее архетипом. Именно революции — хоть ему и была судьба пройтись в грядущие десятилетия по двум империям и реять затем все чаще и чаще на бурных и норовистых ветрах национализма и даже соединиться ради общего дела, в 1904 году, с таким же красно-бело-синим флагом империалистической и монархической Великобритании, бывшего заклятого врага.

Ах уж эти иконы и идолы, эмблемы и тотемы истории. Ведь стоит нам скинуть один, как тут же другой займет его место. Ведь нам никуда не деться — даже если ты, Прайс, и сподобишься — от сказок. Ведь даже в те времена, когда ваш учитель был маленьким (если вы в состоянии подобное вообразить), в эпоху Великой депрессии, которая с тех пор так и бродит за нами по пятам и ведет счет нашим бедам, все так же регулярно и с никак не меньшим энтузиазмом отмечался День

империи [38] (и безо всяких там напоминаний о сгоревших пивоварнях).

И все мы знаем, чем занимаются французы (семь голов на пиках и груда камня) в день четырнадцатого июля, каждый год.

[38] Примечания: 38

Введен в 1900 году — как реакция на англо-бурскую войну. Отмечался 24 мая, в день рождения королевы Виктории. Официально празднуется с 1916 года. В 1958 году в связи с фактическим развалом империи переименован в День Содружества, и вот уже несколько десятков лет в самой Великобритании почти никто про него не вспоминает. Отмечается, однако, до сих пор в некоторых странах Британского Содружества.

24
ДЕТСКАЯ ИГРА

Однако же четырнадцатого июля 1940 года французы были не слишком в настроении отмечать день взятия Бастилии, да и нетленную свою победу над тиранией им тоже праздновать не очень-то хотелось. К четырнадцатому июля 1940 года Франция вот уже три недели как лежала под немцами, мигом пришедшими на смену таявшему на глазах сопротивлению. А все потому — и грядущие поколения осуждающе тычут пальчиком, — что этот старый пораженец и предатель маршал Петэн (который причиной катастрофы объявил, ни много ни мало, тлетворный дух Великой революции) продал собственную страну к чертям собачьим; или еще — чтоб не валить все подряд на одного-единственного козла отпущения — потому, что предыдущие недоброй памяти набеги из-за Рейна повышибли из наших бравых, привыкших брать Бастилии французов боевой дух.

В июле 1940-го немецкая армия оккупирует ту самую землю, за которую, с четырнадцатого по

восемнадцатый включительно, полтора миллиона французов отдали свои жизни и за которую этот самый Петэн героически сражался под Верденом. В июле 1940-го Гитлер строит — прямо как Наполеон в 1805-м — планы вторжения в Англию. Только для того, чтоб отложить их и отправиться — марш-марш — в Россию. Прямо как Наполеон.

Так кто тут говорил, что история не движется по кругу?

И в том же июле 1940-го, когда Гитлер держал совет с Герингом, а бедные эвакуированные горожане ручейками растекались по фенлендским деревням, становясь мишенью для насмешек местной детворы, Том Крик (будущий учитель истории), Фредди Парр, Питер Бейн, Терри Коу (друзья вышеупомянутого) и Дик Крик, все в разноцветных шерстяных плавках и, за исключением Фредди Парра, с мокрыми волосами и выпачканными илом руками-ногами, заодно с Мэри Меткаф и Ширли Элфорд (разных тонов хлопчатобумажные юбки и блузки, белые гольфы и сандалии), сошлись на берегах Хоквелл-Лоуда, и заняты они делом, вряд ли способным повлиять на смутно погромыхивающие вдалеке всемирно-исторические события — как, собственно, и наоборот.

Все дело в том, что некие неровности, явственно обтянутые шерстяными плавками Тома Крика, Фредди Парра, Питера Бейна и Терри Коу, вызывают любопытство и у Мэри Меткаф, и, хоть и не настолько бесстыдное, у Ширли Элфорд, чьи глаза, в силу достаточно сложных причин, уже успевших между делом подрумянить ей щеки, в буквальном смысле слова не находят себе места, разрываясь меж настоятельною тягой посмотреть и не менее явным желанием отвести взгляд прочь.

А Мери Меткаф говорит: «Ну покажите, покажите нам». (Ритуальные слова в ритуальном противостоянии, и неровности под шерстяною тканью становятся еще заметнее.)

А Фредди Парр говорит: «Сначала вам придется…»

Велосипеды брошены в бурьяне. Заливаются жаворонки. Гудит самолет (нация в состоянии войны). Бутылка виски, пустая более чем наполовину, не без задней мысли угнездилась у Фредди между бедер: минуту назад ее пустили вкруговую, для храбрости. Питер Бейн приложился, Терри Коу приложился, ваш учитель истории приложился, Фредди Парр тоже приложился (и почище прочих), а вот Дик отказался наотрез, и Ширли Эл-

форд тоже, этак по-девичьи застенчиво; тогда как Мэри Меткаф, словно ей до тонкостей знакомы все нюансы ситуаций, в которых джентльмены угощают дам дурманящими голову напитками, но все ж таки не в силах противостоять неуемному своему любопытству, лихо опрокидывает бутылку только для того, чтобы обжечь кончик языка и выдохнуть, передав бутылку дальше: «Ух!»

А виски этот, надо вам сказать, настоящий, шотландский, украденный через посредство тысячи уловок Фредди у собственного отца. Поскольку эпоха черного рынка и американской контрабанды все еще впереди.

Пахнет спекшаяся грязь, пахнет река, раскаленное синее небо, теплый ветер… Если уж на то пошло, сымпровизирую-ка я теорию: о том, что на плоских ландшафтах, там, где слабеет ток вод, сексуальность выявляет себя с большей готовностью, нежели в лесистых или горных регионах, где природные фаллические вертикали подавляют человеческие, мужские, — или в городах, где тысячи искусственных эрекций (трубы пивоварен, дома-башни) лишают нас животной нашей силы.

Короче говоря, я хотел бы особо подчеркнуть,

что (невзирая на доступность и разнообразие противозачаточных средств, на снижение возрастного порога беременности среди школьниц и невзирая на, по всей видимости, более раннее физическое, половое и — ну конечно же, Прайс — даже и умственное созревание нынешней молодежи) у вашего поколения нет монополии…

А эта на провокациях и риске построенная игра возле Хоквелл-Лоуда затевалась уже не в первый раз, но никогда еще не достигала кульминации (как бы вы себе это ни представляли), и мешала ей в том отчасти природная застенчивость участников (чей средний возраст, если не брать в расчет Дика, был равен тринадцати с половиной годам); отчасти же то обстоятельство, что в сей жаркий, в сей пылающий июльский полдень, когда все и впрямь давно уже могло зайти чуть дальше, они стеснялись чужих глаз, то есть глаз моего брата, человека отнюдь не компанейского, в лучшем случае замкнутого, нелюдимого и вообще переносимого с трудом, который прежде в подобных делах участия не принимал. И сказать с уверенностью, как он теперь ко всему этому относится, было попросту невозможно.

«Сначала, — говорит Фредди, — вам придется снять сандалии и гольфы». Каковому требова-

нию Мэри, и даже Ширли Элфорд, подчиняются с легкостью.

Стилизованная пауза: взгляд Мэри застывает на неровностях под нашими трусами, Ширли же возводит очи горе.

«А теперь вам придется снять… — и, не то под воздействием папашиного виски, не то из чистого нетерпения, Фредди решает обойтись без обычного перебора предметов, благодаря которому эта игра имеет свойство никогда не добираться до финальной точки, и проговаривает, явственно и плотоядно сверкнув глазами, — всю свою одежду».

Что обеих тут же повергает в ужас и оцепенение, хотя Ширли цепенеет куда натуральней. Ибо принятая прежде, тщательно регламентированная последовательность стадий — «теперь блузки?», «теперь юбки» — допускала по крайней мере возможность компромисса: чтоб обе стороны держались хоть каких-то рамок, чтоб можно было выдвигать условия («вот до сих, и не дальше») или требовать уступок за уступки («только если вы сперва»), а не то и вообще свести все дело к хихонькам или к обидам. Ибо сама игра, вызванная к жизни взаимным любопытством, несла в себе и элемент противоборства.

«Раньше мы так не играли», — говорит Ширли.

«А теперь играем, — отвечает Фредди и, отхлебнув еще глоток, опускает руку на все еще прикрытый тканью бугорок. — Правила переменились».

Мэри — а за ней, не без колебаний, и Ширли — начинает снимать с себя блузку и юбку. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что смотрит она при этом не на Фредди, Питера Бейна, Терри Коу или там на меня и не на наши пресловутые плавки, а на Дика, который сидит, подобрав колени, на берегу, на самом краешке, этаким немым третейским судией, и смотрит.

Лишившись юбки и блузки, Ширли сразу попадает в невыгодное положение. Ибо, в то время как зреющие формы Мэри требуют пусть крошечного, но лифчика, Ширли лифчика не носит. Ее соски, маленькие и совершенно плоские, ничем не отличаются от аналогичного анатомического излишества на наших собственных грудных клетках. Итак, Ширли стушевывается, и взоры обращаются к Мэри.

Мэри снимает лифчик, и тут же обхватывает себя руками за плечи.

«А теперь...» Но Фредди никак не может заставить себя выговорить слово «трусики» без того,

чтобы лицо его не перекривилось и желание хихикнуть не стало очевидным.

Мэри, не разжимая рук, качает головой. «Нет. Теперь мы на равных». (Их с Ширли фланелевые трусики [39] против наших плавок.) «Теперь ваша очередь». И пристально глядит на Фредди, на его — хоть я и не могу ручаться — опадающий под ее взглядом бугорок.

Молчание. Языком по сухим губам.

Потом Фредди Парр, качнувшись вдруг вперед, отрывает руку Мэри от левого плеча, прижимает ладошку к плавкам и говорит: «Вот, дотронулась. А теперь…»

В ответ на это Ширли, перепуганная вусмерть, хватает вещи в охапку, отбегает в сторону, одевается второпях и уносится на велосипеде прочь, под вопли и кошачий мяв.

Итак, что перевесит, любопытство или стыд.

Мэри, опять скрестивши руки на юной девичьей груди: «Сначала вы».

Питер Бейн: «Но нас-то четверо».

Мэри: «Что, хочешь, чтобы я выбрала? К тому же вас пятеро».

---

[39] Примечания: 39

В английских школах принята особая форма нижнего белья для девочек — так называемые школьные трусики из плотной ткани, в которых девочки могут заниматься гимнастикой, не надевая трико.

И она глядит вверх, туда, где на берегу, на самом краешке, сидит Дик. Одинокий и отрешенный (потому что мотоцикла у Дика еще нет).

И Фредди Парр, он в особенности, замечает этот взгляд.

«Ну, давайте». С командной этакой ноткой. Как будто бегство Ширли прибавило ей уверенности или как будто этот ее взгляд на Дика наложил на нас своего рода магический обет исполнять ее волю.

Июльское солнце на берегах Хоквелл-Лоуда. Четыре пары плавок, двое синих, черные и темно-бордовые, приспущены при свете солнца с едва ли не девической кротостью, но и с ревнивым доглядом — не дай бог сделать это чуть раньше или чуть позже соседа. Четыре сморщенных, застенчивых, чуть влажноватых члена явлены взору, в окружении чахлых островков лобковой поросли; они порываются было встать, но запинаются и лишь подергиваются едва заметно. Благодарить ли нам предательское действие краденого виски (и в головах, и на донышках желудков у нас уже нелады) или просто природную стыдливость, но мы никак не можем — пусть только что, пока мы ждали, все было как положено, пусть даже Мэри убрала, подбадривая нас, руки с детских своих

грудей — достичь достойного прямостояния. А крошечная пипка вашего учителя — вот видите, я не останавливаюсь ни перед чем — и вовсе виснет намертво.

Мэри, после беглого осмотра, отворачивается в сторону. (Четыре пары плавок мигом возвращаются на место.) Она разочарована. Ее надули. Ради такого жалкого зрелища она и не подумает спускать свои темно-синие, как и положено в монастырской школе, трусики.

Четверка в плавках — экзамен провален — стоит понуро. Фредди наспех прикладывается к бутылке. У Терри Коу — да неужели? — на глазах слезы. А ваш учитель истории не знает, куда ему девать глаза.

«Значит, вам придется, — говорит Мэри; она думает вслух и откровенно наслаждается обретенным ни с того ни с сего чувством абсолютного превосходства, — вам придется… сначала пройти испытание».

«Какое испытание?»

Четыре опасливо вскинутые головы.

Мэри смотрит на гладкую поверхность Лоуда. «Плывите. С деревянного мостика. Кто дальше проплывет — *под* водой. Ему — ему я покажу».

«Но я плавать не умею, ты же знаешь», — гово-

рит Фредди.

«Тем хуже для тебя. Придется научиться».

Под «деревянным мостиком» Мэри имеет в виду шаткое сооружение из толстых досок и тонких поперечин, снабженное единственным поручнем, переброшенное через Лоуд и приподнятое в средней части на двух опорах футов примерно на восемь над водой, так, чтобы могли ходить лихтеры.

«Ну, вперед». И Мэри, чтобы лишний раз нас поддеть, еще раз отнимает руки от своих едва пустившихся в рост, но уже вполне различимых грудок и тут же закрывается опять.

Мы трогаемся с места; виски мешает нам держать вертикаль, и к горлу снова подкатывает тошнота. И неясно уже, что искушает нас сильнее: увидеть мельком, в качестве награды, у Мэри между ног то самое, что делает ее не похожей на нас, или просто желание друг друга переплюнуть. А может быть, и Мэри, в свою очередь, давно уже движима не любопытством, а этим, новым для нее, чувством власти: она ощутила его и теперь смакует.

Но, едва успев свернуть вдоль берега к мостику, мы останавливаемся; нашей мужской гордости и женскому всевластию Мэри приходится пройти

еще одно испытание. Потому что к нам присоединяется Дик. Он как раз спустился с насыпи. И не один; с ним вместе движется едва прикрытое натянутыми плавками, едва в них уместившееся цилиндрическое тело размеров куда как внушительных, если не сказать вызывающих.

Что ж, на правах брата мне и раньше доводилось лицезреть его член — обвисший, болтающийся вяло, никакой. Вполне достойный экземпляр, не маленький, но и ничего особенного, в спокойном состоянии. Но я ни разу не видал — мне даже казалось — если принять во внимание все прочие особенности Дика, эту его дурацкую башку, и то, что слов ему не хватает, и мутный взгляд, — что ему это все просто неинтересно. Но я ни разу не видал…

Да и Дик, наверное, тоже. Наверное, для него, как и для всех нас, сей случай явил удивительное и болезненное по сути своей откровение. Ибо Дик несет перед собой свое сокровище, обхватив себя ладонями за таз, так, словно держит на вытянутых руках нечто подозрительное, на чей счет он еще не решил, стоит ли это вообще оставлять при себе.

«Я тоже. Я тоже п-плаваю».

Глаза у Мэри — мы все обратили внимание

— раскрылись шире некуда. Щеки вспыхивают румянцем. Лоб собирается морщинами. И пока все это с ней творится, она, вероятнее всего, соображает (моя быстрая и горькая догадка), что, если даже не брать в расчет сих и впрямь поразительных габаритов, Дик на четыре года старше нас всех. И перед ней, в конце концов, пусть даже в детских смешных одежках, мужчина (маленький пучок волос у Дика в самой середине груди). Какие еще удивительные свойства может таить в себе тупое это и бессловесное в обычной жизни существо?

У Мэри в глазах, опять разгоревшихся, засверкавших, любопытство. И страх. Маленькая искорка страха. И этот страх, поскольку он уже вступил в противоборство с любопытством и поскольку есть в нем еще кое-что — привкус жалости, странного такого, сострадательного свойства, — дает весьма взрывоопасный конкокт.

К деревянному мостику. Мигом. Чтобы скрыть за горячечным, отчаянным жестом суть происшедшего: кот среди голубей, козлище между агнцами. Чтобы по крайней мере не стоять и не пялиться больше на маленького этого гиганта. Даже Фредди, вопреки своей отнюдь не беспочвенной попытке возразить, мчится вдоль по

берегу Лоуда. Потому что он будет пробовать, он будет учиться.

В центральной части моста пять фигур, в следующем порядке, справа налево: Питер Бейн, Терри Коу, Том Крик, Фредди Парр, Дик Крик, все застыли в живописных позах, и бравада, и в то же время страх (и, в одном из случаев, явственное сексуальное возбуждение), и (за одним исключением) различные стадии опьянения. Все пятеро глядят в Хоквелл Лоуд — в рукотворный водный путь, впадающий в реку Лим, а та, в свою очередь, впадает в реку Узу — и ждут сигнала.

В искусстве подводного плавания в том виде, в каком его практикует мужская часть детского поголовья Хоквелла, Вэншама и прочих разных мест, нет ничего мудреного, но и без должной сноровки тут тоже делать нечего. Заключается оно в сочетании мускульной силы с объемом легких; в качестве противодействующей — мутные, илистые воды Хоквелл Лоуда, благодаря которым выбор между стилями плавания — вслепую или с открытыми глазами — лишен особого смысла и которые, когда, израсходовав весь воздух, глотнешь ненароком, как положено, водички, вкус имеют преотвратный. Оно и в былые времена давало почву и для состязаний, и для небольших

пари, и просто для пижонства. Но еще ни разу ставки не были так высоки.

Ваш учитель истории склонен считать, что в искусстве этом он не новичок. Он уверен, что сможет оставить позади Питера Бейна и Терри Коу (им уже случалось оставаться позади). Что же до Фредди Парра… Но мельтешение чувств, но неожиданный соперник: и, покуда он стоит на деревянном настиле, его бросает в дрожь.

Пять фигур на деревянном мостике. И еще одна на берегу (в темно-синих трусиках), которая — все так же обхватив себя руками за плечи — кричит:

«Внимание!» И безжалостно тянет паузу, так, что добрая половина схваченного яростно — по полной — воздуха расходуется впустую. Потом: «Марш!»

Младший из братьев Крик ныряет и тут же теряет соперников из виду. Полный решимости пожертвовать собственными легкими, лишь бы только не дать Мэри повода презирать его (не говоря уже об отказе показать свою…), он уходит глубоко под воду. Дисквалифицировать его за преждевременный выход на поверхность — нет уж, дудки. Перед глазами тихая коричневая муть. Илистая взвесь. Взбаламученный ил. Слой, где земля с водой перемешались. Руки-ноги работают

что есть силы, горлом — частые глотательные движения. Вынырнуть (а как себя чувствуешь, когда тонешь?), он должен вынырнуть…

И он выныривает, в пятнадцати ярдах от мостика, чтоб откусить ртом воздух, и еще раз, и увидеть Питера Бейна, тоже задохнувшегося, ярдах в трех позади, и Терри Коу, еще ярдом дальше. Но только нет Мэри поблизости на берегу, чтобы она провозгласила: Том Крик был первым, Том Крик победитель. И — что там творится у моста? Там Фредди Парр берет урок плавания. Фредди Парр и в самом деле, дабы не усугублять унижения своего, прыгнул в воду, и вот теперь он барахтается, лупит по воде руками, поднимает тучи брызг, вопит, крутится на месте, исчезает под водой, выныривает снова, захлебывается, опять исчезает. Мэри застыла на берегу. А мой брат, который так и не стал нырять, стоит на мосту и смотрит вниз, на Фредди, будто зачарованный, и еще — с видом человека, решившего не двигаться столько-то и столько-то секунд; потом он — прочие ныряльщики подплывают тем временем все ближе к месту происшествия — встает на колени, ложится, перегибается через край настила, цепляется одной рукой, а другую, без особой спешки, протягивает Фредди. Тот

цепляется, и вот — в унижении, перед которым прежнее пустяк — вытянут уже на мостик могучей и спасительной рукой.

Короткий, безжалостный допрос, как только Питер Бейн, Терри Коу и я, как только все мы выбираемся на берег.

«Жить будет».

«Что случилось?»

«Сам виноват».

«Это не Дик его толкнул?»

«Да нет, он сам — вроде как нырнул».

«Придурок ненормальный».

«А нечего было. Никто его не заставлял».

И только Дик ничего не говорит. Он стоит на мостике с отсутствующим видом, и плавки у него оттянуты еще сильней, чем прежде.

Фредди валится как мешок на берег, ребра ходят ходуном.

«Ну, видела? Видела, кто победил?» Нетерпеливо, назойливо. (Поскольку, даже рискуя показаться занудой, ваш учитель истории не может допустить, чтобы его рекорд канул в Лету.)

«Видела…» — говорит Мэри и направляется, этак бочком, туда, где лежит ее одежда.

Она еще не успела договорить, но раздается хриплый выкрик и громкий всплеск, и головы

поворачиваются к реке.

Дик нырнул. Дик дал понять, что состязание еще не кончено.

Рябь. Пузырьки. Смутный отблеск трупного цвета фигуры сквозь толщу грязно-бурой воды. Потом — ничего. Долго-долго — ничего. Пятнадцать, тридцать секунд — ничего. И опять — ничего. Потом, когда ничто уже должно было дойти до последнего мыслимого предела, снова ничего. И после последнего, растянутого удивленно предела возможного, покуда Фредди, вставшего на четвереньки, выворачивает на травку струей пахнущей виски рвоты, все еще ничего. Так, что все (кроме Фредди) встают на ноги, и Мэри (забыв, что нужно хотя бы соски прикрыть полностью) поднимает руку козырьком к глазам. Ибо, если вести отсчет дистанции сообразно с ходом времени, смотреть теперь приходится в переливчатую солнечную даль.

Дымчато-голубое небо. Раскаленные берега. Плоские, плоские Фены. Скрежещущий шорох камыша. Грязь между пальцами ног. Плакучие ивы. Мэри…

И когда уже начинает казаться, что поразительное это ничто претворилось в магическую,

в невероятную Во Веки Вечные возможность, голова — то бишь далекий темный поплавок — пробивает поверхность воды ярдах в семидесяти — или, нет, не может быть, в восьмидесяти или даже в ста? — от места, где мы стоим. Отряхивается по-собачьи; не выказывает даже и намека на спешку, как если бы вынырнуть именно здесь ее побудила чистая прихоть, а не насущная необходимость; движется к берегу; вытягивает за собой (длинное, бесконечное, несоразмерное ни с чем) голое, без признаков чешуи тело брата; и, без паузы, без передышки, направляется к нам, водруженная на свои привычные шесть футов тощей, картофельного цвета плоти, а мы глядим (и даже Фредди, проблевавшись, воскрес из мертвых и тоже глядит) в священном ужасе.

Каких еще чудес нам ждать вдобавок к водной этой феерии и к дубинообразному телу в плавках? Захочет Дик получить награду? А Мэри, она согласится? Куда они пойдут, чтобы Мэри могла там снять свои трусики без нас, без жалких неудачников, а Дик (хоть он и не обязан) мог выпустить на волю свой?..

Но чем ближе к нам подходит Дик, тем более заметным делается — то есть заметным делается как раз отсутствие чего-то главного. Эта чудо-

вищная вздутость, взнузданная эта дубина — он больше не несет ее перед собой. Она исчезла — или утонула? — она съежилась в неприметный мешочек, для которого достанет места в любых мужских плавках и на котором, после выхода из воды, собираются капли, чтобы капать, капать, капать.

В чем искать причину этого исчезновения? Может быть, Дик просто испугался? И вот теперь, когда момент почти настал, он тоже стал жертвой противоестественного нашего недуга? А может, прохладные воды Лоуда вкупе с титаническим напряжением сил на время отвели его энергию в иное русло и через миг умершие восстанут? А может быть, Дик и нырял-то главным образом для того, чтобы призвать к порядку сей взбунтовавшийся живой жезл? Или — еще того пуще, еще одна загадка этого долгого и таинственного погружения — не может ли так случиться, что Дик достиг таким образом некоего удовлетворения, некоего экстаза, какого даже Мэри не в состоянии дать, и что он уже?.. Так, что даже и сейчас перекрученные пряди свернувшегося, как молоко, Дикова семени плывут себе в сторону Лима, а там наверняка выйдут в Узу и через Узу — в море. Или, по крайней мере, могли бы проде-

лать весь этот путь, если их не слопает по дороге голодная какая-нибудь рыба.

Мэри делает шаг назад, шаг вперед, не отрывая напуганных, удивленных глаз от плавок Дика, готовая принадлежать, как пленница, как рабыня, ступающему тяжко победителю. Но Диков взгляд водянист (из-под поблескивающих влагой ресниц), вернее, взгляда сразу два — один для Мэри (неуверенный, может, даже с ноткою печали), другой для нас, прочих (безразличный, может, даже с ноткою укора), — и Дик не требует награды. Он запинается на миг, проходя мимо Мэри. Идет дальше. Подбирает бутылку виски, в которой все еще болтыхается пальца на три разогретой солнцем жидкости. Зашвыривает ее в Лоуд. Окидывает нас всех пустым, без тени смысла взглядом. Тяжело взбирается (обогнув наделанную Фредди лужу) на дамбу, на прежнее свое место. Садится; подбирает колени; обхватывает их руками, смотрит поверх. Замкнутый и угрюмый.

«Эй, как ты это сделал?»

«Мой виски. Мой виски…»

«Как ты держал дыхание?»

«Как ты?..»

«Но ведь ты же не, а? Ты же не стал себе в…?»

Ответа нет. Быстро дрожат ресницы.

«Эй, Мэри, а как насчет?»

Ответа нет. Туго натянутое молчание.

«Мэри, ты сказала…»

Мэри направляется туда, где сбросила, как лишний такелаж, свою одежду.

«Ты что, выходишь из игры? Так, что ли?»

Питер Бейн заступает ей дорогу, ловко подхватывает большую половину ее разбросанных по земле вещей; отскакивает в сторону; останавливается; взявши юбку за поясок, укрывает ею собственные бедра; вихляется: как в хула-хуле; отдергивает — неловким этаким тореадором — юбку в сторону, чуть только Мэри кинулась за ней; уворачивается; перебрасывает часть добычи Терри Коу, который, как всегда, начеку, ловит ее и переходит к следующей — на два движения — фигуре танца, приложив микроскопический бюстгальтер Мэри к собственной груди.

Игра в собачки, в а-ну-ка-отними, вверх-вниз по берегу, вещи переходят из рук в руки, а Мэри вертится, крутится, ловит рукой воздух и все пытается другой рукой прикрыться; но в этой игре ни Дик, который сидит, хлопая ресницами, и смотрит, ни брат его Том (в силу причин, называемых обыкновенно «братскими чувствами»,

но и в силу собственных своих резонов тоже) не принимают участия.

Не присоединяется к ней и Фредди. И тоже в силу собственных причин. Потому что Фредди следит вполглаза за игрой в собачки, другая же, большая половина его внимания сосредоточена на Дике. Потому что, пока игра в собачки только-только началась и все глаза ею заняты, Фредди скользит вдоль берега к деревянному мостику и через мостик, туда, где, Фредди это знает наверняка, стоят верши. У него своя игра на уме. Потому что, когда перебрасываться, и пытаться поймать, и метаться взад-вперед становится уже неинтересно и Питер Бейн с Терри Коу решают разбросать вещички Мэри вдоль по бережку, так, чтобы та могла, ежели не слишком гордая, заполучить их обратно, со стороны моста показывается вдруг Фредди, и бежит он так быстро, что нет даже времени рассмотреть, что там у него в руках, и, как только Мэри, ничего не подозревая, нагибается, чтобы подобрать с земли юбку, обхватывает ее со спины, оттягивает, уцепив покрепче тугую резинку форменных школьных трусиков у нее на животе, а другой рукой запихивает угря, приличного, в три четверти фунта угря — вовнутрь.

И Мэри, потеряв внезапно всякий интерес и к юбке, и к столь трепетной необходимости прикрывать себе грудь, передергивается, вжимает голову в плечи, упирает локти в ребра, выбрасывает в стороны две трясущиеся мелко ладошки, втягивает воздух и, без звука, без единой даже попытки хоть что-нибудь предпринять себе в помощь (нет привычки к такого рода ситуациям) застывает намертво, с открытым ртом, покуда нечто шевелится, извивается, ворочается у нее в трусах и, наконец (поскольку угри мастера выкручиваться из самых что ни на есть затруднительных ситуаций), протискивается в пройму вдоль бедра, шлепается в траву и, следуя извечному инстинкту, ползет по-змеиному к Лоуду.

А Мэри заходится в припадке долгого и неожиданно резкого смеха.

25
ДА НУ ЕЕ, БАСТИЛИЮ

Ого, вот это да. Вот это смачно. Да ну ее, Бастилию. Бог бы с ним, с Ходом Истории. Давайте еще. Он, значит, правда сунул ей угря в? А у вашего брата был большой? И. А что значит, большой? Ну, давайте, рассказывайте.

По классу блудливый шепоток. Перестрелка взглядами. Джуди Добсон и Гита Хан скрещивают ноги, по-женски опасливо, ощущая, вне всякого сомнения, внутри собственных трусиков, темно-синих или каких там еще, некоторое неудобство; но выше пояса — глаза горят и ушки на макушке.

Значит, наш история-нас-учит, наш старый чудак Крики способен так вот просто взять и наплевать. И не прочь признать, что он когда-то…

Значит, он это серьезно. Он и в самом деле собирается преподавать то, что ему, черт побери, по вкусу. И послать по адресу учебный план…

И лишь у Прайса вид настороженный, и только Прайс надулся как мышь на крупу. Не потому ли, что я их всех приворожил, и не слишком-то

честными приемами? И сделал подрывную деятельность легальной?

(Товарищи по классу, будьте бдительны! Глядите, что он хочет сделать. Уловка, старая как мир. Что будто бы он — один из вас. Король, он тоже человек, тираны созданы из плоти и крови. Не попадайтесь на наживку общечеловеческих чувств. И берегитесь еще одной плутни, которую он тем временем пытается с вами разыграть. Он потворствует скабрезным разговорам, он апеллирует к досужему вашему любопытству, чтобы отвлечь мятежный ваш дух, чтобы ваш революционный порыв отвести в иное русло…)

Ну и кто у нас будет бунтарь?

Но допустим, что все не так, Прайс. Допустим, что все совсем наоборот. Допустим, что именно революции препятствуют врожденному нашему любопытству и уводят его в сторону. Допустим, что именно любопытство — то самое, что вдохновляет нас на изыскания в области секса и питает нашу страсть слушать и рассказывать истории, — и есть естественное и фундаментальное условие нашего существования. Допустим, что ненасытная и горячечная страсть к познанию вещей, к познанию друг друга, к тому, чтобы выведывать, вынюхивать, именно и есть

единственный и полноправный вдохновитель всяческого бунта и побивает даже общий наш порыв к историческому развитию. Вам никогда не приходило в голову, что великое множество исторических движений, и не только революционных, терпит крах, разваливается изнутри по одной простой причине: они не хотят принимать во внимание тех сложных и непредсказуемых форм, которые склонно принимать наше любопытство? Которое не хочет просто идти вперед, которое всегда готово сказать: эй, да ведь это интересно, давайте остановимся ненадолго, давайте поглядим, давайте вернемся немного назад, по собственным следам — а почему нам не свернуть в другую сторону? Куда мы так летим? Что за спешка? Давайте разберемся.

И примите еще во внимание, что в любую эпоху, сколько бы событий воистину мирового значения ни стояло во внешней, видимой ее повестке дня, не было недостатка в любопытных людях — астрономах и ботаниках, охотниках за окаменелостями и путешественниках по высоким широтам, не говоря уже о скромных историках, — чей упрямый и своенравный исследовательский дух заслуживает с нашей стороны по меньшей мере уважения. Учтите, что изуче-

ние истории есть прямая противоположность, и даже прямое противодействие, творению оной. Подумайте о своем семнадцатилетнем учителе истории, который в самый разгар неистовой Битвы за Европу, когда мы берем верх во Франции, а русские рвутся к Берлину, и думать забывает о Великих Событиях (события местной значимости, и тоже разрушительные, затмили для него их историческую важность) и погружается взамен в исследования невразумительного и всепоглощающего свойства: процесс мелиорации (и пивоварения) в восточных Фенах, протоколы Лимского товарищества по судоходству и дренажу, история двух семейств, Крик и Аткинсон, выбираемая по крохам из живой человеческой памяти и из записей характера как общедоступного, так и сугубо личного.

И какая же любопытная, какая странная история начинает понемногу…

Да-да, есть нечто — и имени-то толком не подберешь, — чему нет дела до Истории, или, вернее, до того, что в учебниках привыкли называть Историей.

И даже в то самое время, когда Прайс рассказывает нам, куда Историю непременно занесет, и когда мы поверяем друг другу наши ядерные

ночные кошмары, даже и тогда можно найти время…

Значит, вам любопытно. Вам любопытно. Вы согласны променять историю падения королей на незначащую и более чем скользкую историю. Тогда позвольте рассказать вам

26
ОБ УГРЕ

Образчик коего, засунутый Фредди Парром в июле 1940 года в школьные трусики Мэри, был не жалующимся на здоровье представителем единственного, но весьма распространенного в "Европе пресноводного вида — а именно Anguilla anguilla, угорь европейский.

Теперь: угорь бы многое мог нам поведать о любопытстве — наверное, даже больше, чем любопытство может поведать нам об угре. Вас не удивляет, к примеру, тот факт, что только лишь в двадцатые годы нашего века людям удалось наконец выяснить, как появляются на свет новорожденные угри, и что на протяжении всей истории человечества велись неутихающие споры о до сих пор не до конца проясненном жизненном цикле этих змееподобных, рыбообразных, деликатесных — не говоря уже о явном символическом фаллоподобии — существах?

Он был известен египтянам, известен грекам, известен римлянам, коими превозносился за высокие вкусовые качества; но ни единый из этих в

высшей степени одаренных народов так и не смог обнаружить, где же угорь скрывает свои органы размножения, если такие у него вообще имеются, и ни единый не смог выловить (да и не сможет вовеки веков) во всех что ни есть привычных для европейского угря водоемах, от Норт-Кейпа до Нила, икряную самку угря.

Человеческое любопытство подобных загадок стороной не обходит. Аристотель придерживался мнения, что на самом деле угорь — существо бесполое, а потомство родится само собой из грязи. Плиний утверждал, что угорь, одолеваемый желанием продолжить род, трется о камни и молодняк вырастает из получаемых таким образом кусочков кожи. Кроме того, способы воспроизводства этого, судя но всему, обиженного природой вида объясняли следующим образом: он появляется из всякой гнили; выходит из жабр других рыб; выводится из упавших в воду конских волос; берет свое начало в сладкой майской утренней росе; не говоря уже о странном местном фенлендском поверье, что угри суть не что иное, как расплодившаяся мутация живших и грешивших когда-то давным-давно неправедных попов и монахов, которых св. Дунстан, во гневе святом и чудодейственном, обрек на вечное искупление

грехов посредством пресмыкания на брюхе, подарив тем самым городу, где стоял единственный на все Фены кафедральный собор, его нынешнее имя: Или — угревище. [40]

В восемнадцатом веке великий Линней, который уж кем-кем, а дилетантом не был, объявил угря живородящим, то есть имел в виду внутреннее оплодотворение и производство на свет готового к жизни потомства, — теория, которая лопнула (хотя Линней от нее так и не отказался), когда Франческо Реди из Пизы представил очевидные доказательства того, что принимаемые ранее за мальков угря существа в маточной полости взрослых особей суть всего-то навсего паразитические черви.

Маточная полость? Какая маточная полость? Ибо только лишь в 1777 году некто Карло Мондини заявил, что ему удалось локализовать микроскопические органы, которые и в самом деле оказались яичниками угря. Открытие, которое заставило усомниться Спаланцани, соотечественника Мондини и сторонника Реди contra Линней, который задал простейший, однако же до крайности неудобный вопрос: если это яичники, где

[40] Примечания: 40
Угорь по-английски — eel.

тогда яйца? Таким образом — после множества опровержений, и контропровержений, и весьма оживленной раздачи пинков на страницах научных журналов — истинность открытия Мондини была подтверждена не ранее 1850 года (бедняга между тем уже не первый год лежал в могиле) поляком по имени Мартин Ратке, который в этом самом году опубликовал не оставляющий никаких сомнений отчет об исследовании женских гениталий у Anguilla anguila.

Обратите внимание, какую борьбу, какое кипение страстей, какие затраты энергии и неустанные поиски порождает человеческое любопытство. Обратите внимание, что в то время, когда трещал по швам Старый Режим, когда Европа входила в революционную фазу и едва ли не каждое поколение приносило с собой новый проект грядущих судеб человечества, были такие люди, которые неразрывно связали собственные судьбы с проблемой происхождения угря.

И все же в 1850 году, когда ученым удалось описать яичники, тестикулы продолжали оставаться тайной — доступной для всех желающих попробовать силы — и в скрытой от человеческого разумения половой жизни угря просветов по-прежнему было не видно. Скрытая или еще

какая, она, судя по всему, шла своим чередом, ибо, несмотря на вселенское неведение относительно свойственных им процессов воспроизводства, огромные количества угревой молоди продолжали, что ни весна, скапливаться в устьях излюбленных издавна рек — Нила, Дуная, По, Эльбы, Рейна — и подниматься вверх по течению точно так же, как они делали сие и во времена недоуменно взиравшего на них старика Аристотеля, и еще того раньше. И следует, наверное, упомянуть, что в 1850-м, хотя с исследовательскими успехами польского зоолога данный факт может состоять исключительно в самой что ни на есть мистической связи, угреход, то бишь ход угревой молоди вверх по течению восточноанглийской реки Большая Уза, был необычайно обилен. За один только день было выловлено две с половиной тонны малька, каковую цифру в ее количественном наполнении можно оценить, если учесть, что на фунт идет до двенадцати тысяч штук.

В 1874 году, когда, если вы помните, на этой самой реке случилось большое наводнение, а мой прапрадед стал не только отцом, но и Членом Парламента (консервативная фракция) от Гилдси, другой поляк, Шимон Сырский, профессор

Лембергского университета, совершил долгожданное открытие тестикул угря европейского — и удостоился за сей прорыв в науке славы куда большей, нежели в свое время Мондини. Ибо эти крошечные угревые яички известны также — вне всякого сомнения, давая время от времени повод для разного рода шуточек — как органы Сырского. Это, однако, не помешало Юлиусу Мюнтеру, директору Грайфсвальдского зоологического музея, распластавшему подряд около трех тысяч угрей, заявить в тот же самый год, что все до единой исследованные им особи оказались самками, и сделать на этом основании вывод о том, что данный вид размножается партеногенетически — то бишь через непорочное зачатие.

И все же при наличии двух этих жизненно важных и прекрасно дополняющих друг друга органов — яичников и тестикул — где, когда и каким таким образом они соединяются, дабы сделать свое дело?

Мы еще не добрались до самого увлекательного эпизода в этих псевдомифологических поисках происхождения угря. Нужно только предварительно уяснить себе, что в естественной среде обитания, то есть в пресноводных водоемах и эстуариях Европы и Северной Африки, угорь

встречается в двух разных формах. Большую часть своей взрослой жизни он носит окраску в диапазоне от оливково-зеленого до желтовато-бурого, и нос у него вздернутый. Однако после энного количества лет морда у него заостряется, глаза становятся больше, бока приобретают серебристый отблеск, спина чернеет, и все эти метаморфозы суть сигнал к началу путешествия обратно в море. А поскольку в путь он пускается осенью, а ход малька вверх по течению приходится на весну, есть основания предполагать, что последний есть потомство первого и что икрометание происходит зимой где-нибудь невдалеке от суши. И все-таки (повторяю) кто и когда выловил икряную самку, не говоря уже об угревой икре или свежевылупившейся личинке угря в прибрежных водах Европы?

В 1856 году — после Ратке, но задолго до Сырского — в теплых токах Мессинского пролива была в один прекрасный день поймана крохотная рыбка, никак не похожая на угря, каковую рыбку объявили новым видом. Сорок лет спустя такой же точно образец, выловленный в том же Мессинском проливе, подержали подольше в неводе, и он оказался, несмотря на внешнее неугреподобие, не чем иным, как личинкой угря

европейского. И все же, если взрослых угрей так много, почему же их личинки попадаются с такой завидной редкостью?

Самое время представить еще одного героя нашей истории, Йоханнеса Шмидта, датского океанографа и ихтиолога. Кто из вас слышал об Йоханнесе Шмидте? Говорят, что в нынешние времена перевелись Ясоны и Синдбады, не говоря уже о Магелланах и Дрейках, что эра великих морских путешествий ушла вслед за капитаном Куком. Йоханнес Шмидт — исключение. Есть те, кто определяет ход истории, и те, кто ее изучает; есть те, по чьей милости происходят события, и те, кто задается вопросом почему. А среди этих последних есть такие, кто в деятельности первых склонен видеть всего лишь препятствие к достижению поставленных целей; кто и впрямь, низведя историю до своего рода фоновых звучаний и повернувшись спиной к ее эфемерическим императивам, с головой уходит в достойные волшебной сказки поиски выходящей за рамки времен неизведанности. Таким человеком — таким жрецом человеческой любознательности — и был Йоханнес Шмидт.

В 1904 году, когда великие европейские державы отпихивали друг друга локтями в общей

свалке за дележ колониального пирога, Йоханнес Шмидт отправился на поиски месторождения европейского угря. Он путешествовал от Исландии до Канарских островов, от Северной Африки до Северной Америки на корабле, который из-за недостатка средств был плохо снаряжен и малопригоден для научных исследований. Поймав свой первый экземпляр личинки к западу от Фарерских островов — первый в истории выловленный вне пределов Средиземного моря, — он принялся извлекать из воды в разных частях Атлантики все более и более молодые образцы. Одновременно он изучал и статистически классифицировал изрядные количества взрослых угрей и получил наконец возможность утверждать — чего раньше никто продемонстрировать так и не смог, — что европейский угорь есть единый гомогенный вид, Anguilla anguilla, и, как таковой, отличен от своего ближайшего родственника, американского угря, Anguilla rostrata.

С 1908 по 1910 год, покуда в Боснии разгорался кризис, Италия алчно поглядывала в сторону Триполи, а британский народ, неудовлетворенный тем, что со стапелей сходит каждый год всего по четыре дредноута, принялся твердить свое «Мы хотим восемь, и мы это дело не бросим», Шмидт

вдоль и поперек избороздил Средиземное море, извлекая личинки угря даже в таких сомнительных местах, как воды, омывающие Марокко, или прибрежные воды взрывоопасных Балкан. Он обнаружил, что чем дальше к западу, тем крупнее личинки, и сделал вывод: угри из средиземноморских стран мечут икру не в Средиземном море, а где-то в Атлантике. Лярвы, пойманные в Атлантике, а они почти всегда мельче средиземноморских, подтвердили гипотезу о миграции личинок с запада на восток и указали, что нерестилища нужно искать в западной части океана. Шмидт понял: для того чтобы локализовать сей таинственный район, необходимо вылавливать все более и более мелкие экземпляры, наносить места поимки на карту, и тогда в конце концов он непременно доберется до искомого Места Рождения Угрей.

В 1911-м, когда немецкая канонерка на всех парах вошла в порт Агадир, а мой дед, у которого только что, при более чем странных обстоятельствах, сгорел пивоваренный завод, ликвидировал дела, с тем чтобы заточить себя в Кесслинг-холле и дать тем самым еще один повод для сплетен, Йоханнес Шмидт надоедал судовладельцам трансатлантических рейсов предложениями по-

сотрудничать в сборе и классификации личинок угря. В итоге на него работало не менее двадцати трех судов. Не успокоившись на достигнутом, Шмидт безостановочно путешествовал и сам, на собственной шхуне под названием «Маргрете» — с Азор на Бермуды, а с Бермудов на острова Карибского моря.

Как жаль, что любопытство не может помешать истории идти своим путем. Как жаль, что у Шмидта нет иного выбора, кроме как приостановить свои поиски, спустить на «Маргрете» паруса и мучиться нетерпением, покуда Европа на четыре года впадает в приступ буйного, с пролитием крови, помешательства. Как жаль, что с 1914 по 1918 год Европа озабочена вовсе не происхождением собственного гомогенного вида под названием угорь, а озабочена самой что ни на есть гетерогенной диспозицией национальных интересов и вооруженных сил. Как жаль, что на первое место в умах европейских судовладельцев вышла не проблема присутствия в Атлантике крохотных лярв, бесстрашно пустившихся в долгий путь на восток, а скорее проблема присутствия немецких подлодок, которые, выйдя из Кильского канала или из Вильгельмсхафена, идут в обратную сторону, на запад.

И все же нельзя не признать, что катастрофический сей интервал, к коему применялись, и не без оснований, такие страшные слова, как апокалипсис, катаклизм и Армагеддон, не прервал жизненного цикла угря. По весне миллионы молодых угрей все так же собирались в устьях По, Дуная, Рейна и Эльбы, совсем как в дни Александра или Карла Великого. И даже в самом эпицентре человекоубийства, на печально известном Западном фронте, они переводиться не собирались, и Хенри Крик вам бы непременно это подтвердил. Если бы угри и впрямь родились из грязи, они бы там просто кишмя кишели; а если из разлагающейся плоти, так урожай побил бы все рекорды.

Не повлияла эта четырехлетняя интермедия и на решимость Йоханнеса Шмидта, хотя нельзя сказать, чтобы она не испытывала его терпение. Ибо вскоре после ее завершения, возрадовавшись тому, что история закончила наконец свои дела, он опять выходит в море. Он снова ловит личинок угря — на сей раз в Западной Атлантике. И уже в начале двадцатых он — вот такой был неустанный труженик — в состоянии обнародовать свои открытия; он утверждает, что, ежели принять за территорию икрометания угря ту область,

где было выловлено наибольшее количество самых маленьких лярв, тогда эта столь долго почитавшаяся фантастической область, это белое пятно расположено между 20° и 30° северной широты и 50° и 65° западной долготы — то бишь в таинственном пространстве, полном плавучей морской травы, известном под названием Саргассова моря.

Вот и выходит, что в те годы, когда мой отец стал смотрителем при шлюзе Аткинсон и принялся, в подражание предкам, старым Крикам, ловить вершами угрей на речке Лим и на соседних с ней дренах, человеческий ум, после двух с лишком тысяч лет научных дебатов, только-только добрался до фактов, которые могли бы разъяснить отцу, откуда эти самые угри берутся. Не то чтобы он — тогда или в другое какое время — действительно узнал, как обстоят дела с угрем. Ибо откуда, спрашивается, ему, в его английских Фенах, знать о таком-то и таком-то датском биологе? И все же я уверен, что, доведись ему об этом услышать, скажи ему кто-нибудь, что угри, которых он вынимает из вершей, добирались до места назначения три, а то и четыре тысячи миль из странного морского царства на другой стороне океана, глаза бы у него расширились, а

губы сложились бы в явственную литеру «О».

Но на этом истории об угре не конец. Любопытство рождает контрлюбопытство, знание плодит скептицизм. Даже при условии, заявляют скептики, что угорь в стадии лярвы действительно проходит расстояние в три, четыре, а то и пять тысяч миль до родимых отческих мест; даже при условии, что угревая молодь через все плотины, водопады и шлюзы взбирается вверх по течению рек и, даже пресмыкаясь кое-где по земле, добирается до исконных прудов и ручьев, неужто мы обязаны верить, что взрослый угорь после нескольких лет жизни в пресной воде или на слабосоленых мелководьях вдруг ни с того ни с сего обретает разом волю и силы отправиться в обратный путь с единственной целью выметать перед смертью икру? Какие доказательства может представить Шмидт в пользу наличия в средней части Атлантики целых косяков плывущих на запад угрей? (К сожалению, Шмидт, судя по всему, решительно не в состоянии ничего подобного представить.)

Представим себе: Шмидт ошибся в своем заключении, что угорь европейский есть чисто европейский вид, отличный от американской родни. Представим себе, что различия между так

называемым европейским угрем и так называемым угрем американским носят не генетический, а чисто физиологический характер и обусловлены фактором среды обитания. Разве не логично будет предположить, что угорь европейский, уйдя за тысячи миль от родных нерестилищ, и в самом деле погибает затем в континентальных водах, не оставив по себе потомства, а популяция поддерживается стараниями американского угря (так называемого), которому и не снились такие убийственные расстояния? И что определяющую роль в том, кто из новорожденных угрей получит постоянную прописку в Новом Свете, а кто в Старом, играет, собственно, конкретное место икрометания в пределах нерестилища и, соответственно, превалирующие в данном районе течения?

Зачем, однако, матушке-природе позволять себе такую роскошь? Неужто Европа и впрямь всего лишь кладбище трагически осиротелых и бездетных угрей? И в самом ли деле природные условия Америки и Европы настолько различны между собой, что могут создать существенный физиологический контраст, способный, в свою очередь, привести к ошибке в разграничении видов? Можно ли отрицать — ведь в пользу данного факта

свидетельствуют наблюдения тысячелетней давности, — что взрослые угри, переодевшись в серебристый костюм, и в самом деле осенью спускаются в море? А если выдвинуть, в качестве компромисса, предположение, что эти взрослые угри — которым никак не добраться до отмеченных Шмидтом критических показателей долготы и широты, — разве не могут они выметать икру и умереть где-то еще, скажем в восточной или в центральной Атлантике; и разве не может их икра быть, при соответствующих сезонных и климатических условиях, отнесена течением, так же как водоросли относятся течением, в то же самое закрученное водоворотом Саргассово море; так, чтобы морские эти ясли являли собой если уж и не место нереста, то по крайней мере инкубатор?

Любопытство удовлетворить невозможно. Даже теперь, когда мы столько всего знаем, оно не распутало загадку рождения и половой жизни угря. Может быть, есть такие вещи, среди прочих, коим вообще не судьба быть постигнутыми вплоть до конца света. Или, может быть, — но это уже чистой воды спекуляция, здесь мое собственное любопытство лихо ведет меня за нос — мир устроен таким образом, что, когда мы постигнем

всякую в нем вещь, когда любопытство наше иссякнет (следовательно, многая лета любопытству), вот тогда-то и настанет конец света?

Но даже если мы узнаем как, и что, и где, и когда, мы никогда не будем знать — почему? Почемупочему?

Вопрос, который угря ничуть не беспокоит. Равно как и расстояние между Европой и 50° западной долготы. Равно как и появление на сцене человека, единственного на земле существа, коего неослабно занимает этот самый вопрос Почему, наделенного к тому же способностью увидеть в царстве угря, в воде, не только способ передвижения, не только источник энергии и пищи (включая угрей), но и отражение, зеркало для собственной любознательной и склонной к размышлению природы.

Ибо вне зависимости от того, добирается ли одетый в серебро Anguilla anguilla до безбрежного Саргассова моря, совершает ли он свои брачные ритуалы по достижении или задолго до достижения оного, равно справедливо утверждение, что, точно так же, как угревую молодь влекут не только морские течения, но и инстинктивные механизмы, куда более таинственные, быть может, и непроницаемые для нашего разумения,

нежели устройство атома, влекут в какую-то конкретную водную обитель в тысячах миль от места рождения, так и взрослый угорь, влекомый силою, которая перевешивает и дальние дали, и сокрушительную мощь океана, вынужден опять пускаться в море и, прежде чем он умрет и уступит мир своей икре, вернуться, откуда пришел.

Как же долго угри всем этим занимаются? Они начали заниматься этим, повторяя всякий раз одну и ту же древнюю эпическую сказку, задолго до того, как Аристотель, ничтоже сумняшеся, отправил их в грязь. И занимались этим, когда Плиний огласил свою теорию трения о камни. А Линней — живородящую теорию. Они занимались этим, когда народ побежал брать Бастилию, а Наполеон на пару с Гитлером вынашивали планы вторжения в Англию. И они продолжали всем этим заниматься, нарезать свои гигантские, на атавизме замешенные круги, когда в июльский день 1940 года Фредди Парр вынул из верши одного из их числа (каковой экземпляр впоследствии спасся и, возможно, жил себе и жил, покуда не пришла пора внять зову далекого Саргассова моря) и засунул его в темно-синие школьные трусики Мэри Меткаф.

27
ОБ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Ну и что это такое — урок биологии?

Нет, я предпочитаю, подчеркивая контраст, называть сие естественной историей.

Которая никуда не течет. Которая хранит верность самой себе. Которая вечно возвращается туда, откуда пришла.

Дети, есть на свете нечто такое, чего революционеры и провозвестники новых миров, и даже скромные поборники прогресса (вспомните об Аткинсонах и о несчастной живой душе по имени Сейра), просто терпеть не могут. Естественной истории, человеческого естества. Эти волшебные, таинственные материи, эти во веки веков неразрешимые тайны тайн. Ибо стоит только предположить — но строго между нами, — что естественное всегда возьмет над искусственным верх. Всего лишь предположить — только это не для сторонних ушей, — что непостижимая эта материя, из которой мы с вами сотканы, материя, к которой мы всегда в конце концов возвращаемся, — наша любовь к жизни, дети мои, наша

любовь к жизни — куда более анархична и обладает много большим подрывным потенциалом, чем любая Клятва в Зале Для Игры в Мяч. Поэтому от революционера всегда чуть-чуть попахивает тягой к смерти. Потому-то за первым поворотом нас всегда поджидает Террор.

Что всякий строитель нового мира, что всякий революционер хотел бы монополизировать: Реальность. Реальность, приведенную к прямой перспективе. Реальность безо всякой там чуши. Реальность, выкроенную под размер. Реальность минус несколько голов.

Ну что, вернемся к программе? Вернемся к 1790-м и к месье ни-шагу-в-сторону Робеспьеру?

Дети, будьте любопытными. Ничего нет хуже (я знаю, о чем говорю), чем если пропадает любопытство. Ничто так не давит, как попытки подавить любопытство. Из любопытства рождается любовь. Оно венчает нас с миром. Оно — составная часть извращенной, идиотской нашей любви к этой несносной планете, на которой мы все живем. Люди мрут, когда уходит любопытство. Людям надо искать, людям надо знать. О какой такой по-настоящему революционной революции может идти речь, покуда мы не узна-

ем, из чего сделаны?

28
И ОБ ИСТОРИИ ИСКУССТВЕННОЙ

И что же он сделал, столкнувшись лицом к лицу с этой сценой, которая началась с песни жаворонка и закончилась полным раздраем: Мэри бьет изнутри неподконтрольное хи-хи; угорь шпарит, извиваясь (подальше от чокнутых гуманоидов) сквозь траву?

Ваш учитель замечает, как то и должно объективному наблюдателю и добросовестному историку, взгляд, который Дик (посмотрев сперва на угря) переводит на Мэри. Долгий и внимательный взгляд, какого, казалось бы, нечего и ждать от полудурка с картофельной башкой. Прямой, недоуменный, вопросительный, от которого Мэри внезапно, как по команде, перестает хихикать и возвращает его, такой же пристальный, обратно Дику. Он замечает, как Дик глядит на Мэри и как Мэри смотрит на Дика; и еще он замечает, что Фредди Парр тоже ухватил оба эти взгляда, между Диком и Мэри.

И при том, что он глядит на все эти чужие взгляды, у него есть еще и свой собственный, коего

он, не видя себя со стороны, описать не может, но взгляд-то, судя по всему, весьма отчаянный и жалкий, вот разве что, для видимости, с малой толикой вызова. Потому что ваш учитель истории (хотя ей он об этом и словом не обмолвился) влюблен, вне всякого сомнения, в Мэри Меткаф. Потому-то, кстати говоря, его мужское достоинство (за остальных он ручаться не может), когда он, Фредди Парр, Питер Бейн и Терри Коу боязливо приспустили плавки, так грустно поникло. Обычная реакция, неоднократно описанная ведущими сексологами…

Есть нечто особенное в этой сцене. Она по-настоящему перекипает настоящим. Она всклень полна Здесь и Сейчас, в ней всего этого добра через край — как бы поудобнее его назвать? Она рождает у вашего учителя истории странное ощущение в области желудка. И это ощущение, не без помощи Фреддиного виски и пары-тройки глотков мутной лоудской воды, вьется и бьется внутри, совсем как угорь, который ползет, который скользит поскорее к спасительной прохладе Лоуда. И для свойственного вашему учителю истории, но малотренированного покуда чувства исторической объективности, а также для его вчерась-как-из-яйца пубертатных дерзновений

все это немного слишком.

Он находит спасение в книгах по истории.

Потому что он пока еще это умеет. Скакать из царства в царство так, как если бы одно с другим даже и не соприкасалось. Он еще не начал сводить их воедино. Учиться быть амфибией, двоякодышащей тварью. Он еще не начал задавать вопрос: где кончаются истории и начинается реальность? У него еще все впереди.

Поздним летом 1940 года, когда Гитлер открывает лавочку в Париже и строит планы вторжения через Ла Манш, когда на небесах над Южной Англией история расписывается белыми виньетками и наваливает целую кучу материала для будущих легенд, он роется в оставшихся от матери книгах — из коих многие принадлежали когда-то Доре и Луизе, сей книгочейской парочке, — и натыкается на два тома «Хереворда Бдительного» (он и сейчас еще хранит это довольно ценное в наши дни первоиздание), подаренное Луизой Доре в 1866 году. Пока обитатели Лондона и других больших городов вынуждены укрываться в твердокаменных конструкциях бомбоубежищ и на подземных станциях метро, он с головой уходит в прихотливые конструк-

ты исторических баек мистера Кингсли, где, на фоне туманных фенлендских пейзажей (которые прекрасно рифмуются с туманным состоянием влюбленности), история переплетается с вымыслом, факт размывается сказкой…

Как болотные птицы кричали: «Хереворд вернулся»… как Хереворд, надевши заколдованный доспех, убил сэра Фредерика Варренна в Линне… как, переодетый горшечником, он следил за Вильгельмом Завоевателем… как он поджег Фены и поджарил норманнов… как он влюбился в леди Торфриду и женился на ней… как их брак оказался неудачным…

Но пока — все та же сцена на лоудском берегу, которая, как и многие до сей поры не явленные сцены, застрянет в памяти учителя истории, чтобы потом ему было что выкапывать. Мэри, в синих школьных трусиках, которые она совсем недолго делила на двоих со скользким угрем; живая рыба на женском лоне; Дик; Фредди Парр; их взгляды и его взгляд, переплетенные в невидимую «колыбель для кошки». Бутылка плюхнулась в мутный Лоуд; Дик на деревянном мостике; Фредди в воде…

Так кто тут говорил, что история не ходит кругами?

29
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЗУД

Итак, я взял бутылку, которую спрятал перед тем у себя в комнате, и поставил так, чтоб Дик ее заметил.

Потому что любопытство — сильная штука. Даже сильнее страха, сильнее осторожности. И хотя я мог бы зашвырнуть бутылку в реку и забыть про нее, исследовательского зуда таким простым способом не унять; и не мог же я до скончания века мучиться этим вопросом: а мне что теперь делать?

Я поставил бутылку у Дика в комнате, на столик возле койки. А потом — поскольку, хоть любопытство и сильнее страха, бояться оно не мешает — я пошел к себе в комнату, через лестничную площадку, закрыл дверь, запер ее, придвинул к ней стул, сел и стал ждать.

Шесть часов. Время вечерней сводки. Внизу отец, как всегда пунктуальный, настраивается на хриплое, сквозь треск, коммюнике. Но сегодня я вернулся в спальню раньше, чем всегда, и он, должно быть, видит в том добрый знак (значит,

парень повыкинул дурь из головы и опять взялся за книжки) и старательно регулирует громкость, чтоб не мешать. И эта его предупредительность, желание в угоду моей учености приглушить войну только и позволяет мне услышать то, на что давно уже навострены уши: как приближается вдоль по шоссе из Гилдси осиный дрон Дикова драндулета.

А когда наконец-то Дик поднимается вверх по лестнице — и вслед ему куда как неуместный, заботливый некстати наказ отца: «И не вздумай мешать Тому — он занимается», — что он делает?

Долго-долго — ничего. Он открывает дверь, входит. Тяжелые шаги по дощатому полу. Затем закрывает дверь (резко? решительно?). Затем тишина. Только слышно, как на огороде входит в грунт отцовская лопата, где, дослушав сводку, он принялся за свежий ряд.

И что же делает ваш учитель истории? Он поплотнее прижимает ухо к замочной скважине изнутри своей комнаты; пытается заглушить бешеный стук сердца; интерпретировать молчание.

Предательское молчание? Двусмысленное? Виноватое?

Если Дику вообще известно чувство вины. Потому что а вдруг он входит в комнату, видит бутылку, и ничего, никакого воя сирен в голове? Он видит бутылку, которую бутылку он как-то раз забросил в реку, которой бутылкой он как-то раз… Но он не спрашивает КакПочемуКто? А вдруг у Дика на вину иммунитет? На страх, на сомнение, на угрызения совести? На всю мятежную команду человеческих чувств.

Но на любовь-то у него иммунитета нет…

И — молчание не длится вечно. Его нарушают — снова шаги, но уже не такие небрежные, и еще один звук: Дик поднимает дверную щеколду. И теперь уже стука сердца, несмотря на запертую дверь, на которую он налег всем телом, вашему учителю не унять; и сердце только что не выскакивает через рот наружу. Потому что он вполне отдает себе отчет, что силушки Дику не занимать и что та самая, ухватистая, убойная бутылка вполне в состоянии оделить и еще одного, чем одного уже оделила.

Но то, как поднимается у Дика на двери щеколда — так не поднимают щеколду, намереваясь вышибить чужую дверь, в припадке смертоубийственной ярости. Это дело рук осторожного, вороватого, если и не научившегося быть ловким

великана. Отсюда звук — щелчок, тихий скрип — такой, чтобы его не услышали. А звук, которого никто не должен слышать, — это дело куда более предательское, чем просто тишина. Кроме того, за первым звуком следуют другие, такие же сторожкие, не рассчитанные на чужое ухо звуки, слышно, как тяжелый на ногу Дик идет на цыпочках, крадется через лестничную площадку, но не к главной лестнице, а к маленькой, узкой, винтовой, скрытой за собственной, за отдельной дверцей, и ведет она на чердак. И здесь уж тайной Диковой проходке как себя не выдать — потому что, будь вы даже легче легкого на ногу и даже затвори вы за собою дверцу, по этим старым и рассохшимся ступенькам не взойти на чердак, не исполнив по дороге по-секрету-всему-свету попурри из скрипов, скрежетов и стонов. Но Дик таки лезет наверх, и нет его, должно быть, не меньше минуты (почти полная тишина), прежде чем он, все так же осторожно и неловко, спускается назад, запустив в обратном порядке все тот же жалобный хор.

Бедный Дик. Он не понимает, что украдка выдает виноватого там, где лучше вообще не двигаться с места. Он не знает, что хитрость не в хитрой повадке, не в пантомиме хитрости, как и

любви не повторить, повторяя…

А еще он не знает, что я уже слышал все эти дешевой мелодрамой отдающие звуки, эти осторожные шаги, этот скрип рассохшихся ступенек — раньше. Только в прошлый раз они маскировались много лучше — тонули в завываниях и воплях восточного ветра, который дул нещадно, как он дует всякую зиму, пронизывая из края в край беззащитные плоские Фены.

Вот только той зимой нещадней, чем всегда…

Но вот он крадется обратно, через лестничную площадку; и я опять застываю за дверью, потому что откуда мне знать… Но он открывает, все так же осторожно, собственную дверь, переступает порог и несколько секунд спустя появляется снова — на сей раз нарочно стараясь производить как можно больше звуков, и шаги-то у него стали куда тяжелее и тверже, чем нужно, а еще, спускаясь по лестнице, он принимается (за неловкой украдкой наигранная беззаботность) неумело, шепеляво и не попадая в тон свистеть.

Он спускается. Я жду. Короткая отцова просьба — помочь на огороде — оглашает во всеуслышание: Дик вышел из дома. Я отпираю дверь. Отодвигаю стул. Иду через площадку к Дику в комнату. Кораблекрушение на кровати. Крото-

вые кучки пахнущей илом одежды. На стене, как раз над кроватью, стеклянный ящик, а в нем чучело щуки, которая весила когда-то двадцать один фунт, пойманной, по странному стечению обстоятельств, одиннадцатого ноября 1918 года [41] Джоном Бэдкоком, бывшим содержателем шлюза.

Бутылки нет.

Я возвращаюсь на лестничную площадку. Повторяю — только без натужной знает-кот-чье-мясо-съел проходки — Диков налет на чердак. И там, меж затхлых запахов и хлама давних лет, негодных матрасов и ящиков, похожих на египетские саркофаги, стоит предмет и цель его вылазки, и я об этом знаю. Сундук. Покрытый черным лаком, меньше среднестатистического по размерам, слегка побитый, но крепкий деревянный сундук. На крышке выцветшие, но не настолько, чтобы их не прочитать, золотые буквы, инициалы Э. Р. А. А еще на крышке — черные канальцы поверх сплошного пыльного налета — свежие следы пальцев. Отметины хоть и свежие, но наблюдательный-то глаз вкупе со следовательским духом непременно отметит, что

[41] Примечания: 41

День подписания в Компьенском лесу общего перемирия, ставший днем фактического окончания Первой мировой войны.

они были оставлены не в одно и то же время. Ибо поверх отдельных канальцев время уже успело нанести тончайший, едва заметный пыльный подмалевок. И так же как синяк способен проявиться из-под синяка, здесь отпечатки легли на отпечатки.

Прошло семь дней с тех пор, как Фредди приплыл к нам по реке.

Я сажусь на корточки и пытаюсь поднять крышку. Заперто. Надо подумать. Черный деревянный сундук с потускневшей медной окантовкой, когда-то он принадлежал деду, потом маме. А потом, однажды, зимой, мама умерла. Но прежде чем умереть, она отдала ключ — моему брату. Черный деревянный сундук, который стоял, сколько я себя помню, здесь, на чердаке, под слуховым окном, но о содержимом которого я и понятия не имею, за исключением разве того обстоятельства, что среди прочего там лежит…

Я вздрагиваю, я вскакиваю на ноги (едва не вписавшись головой в наклонную низкую балку). Дик идет. Он идет вверх по лестнице. Дик, чья шарада на тему хитрости оказалась похитрее моей, заманил меня в ловушку. Он идет вверх по лестнице на чердак, откуда есть один-единственный узкий выход. Но это просто случайная судорога

в рассохшейся доске. Случайное напоминание о том ветре…

Я иду обратно, след в след. Закрываю дверь на чердачную лестницу. Возвращаюсь в комнату. Запираю дверь. Думаю.

Значит, мой брат убийца. Значит, Мэри говорила правду. И теперь Дик знает, что я знаю, что он… Значит, теперь вопрос, кто кого боится больше.

Я подхожу к окну и выглядываю вниз, на огород. Алый цвет вьющейся фасоли. Дик и отец согнулись над картофельным кустом, почти соприкоснувшись головами, и оттого мне кажется, что они о чем-то шепчутся, вовлечены в какой-то заговор, а я в него не посвящен. Дик поднимает голову. Смотрит на мое окно. Видит, как я смотрю из окна вниз. Наши взгляды сплетаются тугой веревочкой страха. Его ресницы пляшут.

Кто он такой, мой брат? Из чего он сделан?

Я должен найти ключ.

30
О СПАСИТЕЛЕ МИРА

Однако после эля «Гранд-51» и эля «Принц-консорт», элей «Императрица Индии», «Золотой» и «Бриллиантовый юбилей», не говоря уже о знаменитом эле «Коронация» 1911 года, не было эля под маркой «Перемирие», который залил бы Фены в ноябре восемнадцатого года. Река Лим текла себе в Узу, мимо шлюза Аткинсон, мимо Хоквелл Лоуда, где много позже Фредди Парр вынет угря… Но не потек рекою эль «Победа», дабы утолить жажду патриотически настроенных граждан города Гилдси и прилегающей к нему низинной местности. Потому что, во-первых, не было пивоваренного, чтобы этот эль сварить; а во-вторых, пивопьющей части населения также в значительной мере не стало.

Может статься, они простили бы Эрнеста Аткинсона. Может статься, они и были готовы забыть ему пророческую диатрибу с трибуны городского собрания и даже ни в какие рамки не лезущий эксперимент с упреждением грядущих бед летом 1911 года. Может статься, они бы сочли,

что уже наказаны. Однако они не имели желания теперь, когда все наконец осталось позади, садиться за парту и внимать урокам истории. И—у них была еще одна причина, чтобы отказать Эрнесту Аткинсону в отпущении грехов: его дочь.

Однако — давайте быть точными — у граждан города Гилдси не было причин в то самое расчудесное лето 1911-е от Р.Х., когда Эрнест покинул их, оставив за спиной не только видимые глазу клубы дыма от сгоревшего завода, но куда более темную пелену скандала, сплетен, слухов и судебных исков, уделять особое внимание именно Хелен Аткинсон — в ту пору невинному, всего и вся пугающемуся ребенку пятнадцати лет. Но в 1914-м, когда ей стукнуло восемнадцать, тут дело другое. Потому что, пусть даже большая часть населения — особенно теперь, когда долгожданная война наконец началась — готово с новыми силами обрушиться на бывшего пивовара, изрядная его часть — и в особенности молодая, мужеска полу, способная-носить-оружие и готовая-вскоре-лицом-к-лицу часть населения — по уши влюблена в его дочку. И хотя Хелен редко появляется на люди, хотя она безвылазно живет во мрачном заточении Кесслинг-холла на пару с отцом и никогда не бывает на публике, кроме

как в его компании, ситуации это не меняет. Ибо юным рыцарям, как нам всем известно, потребны прекрасные дамы — особенно такие, до которых не добраться, которых держат взаперти в заколдованных башнях. Да и сама она пребывает пока еще в мечтательной, рыцарски-романтичной, невзаправду стадии, эта рожденная августовским жарким маревом война.

Не добавить ли нам к списку местных слабостей — суеверие, суесловие, уныние духа и бутылку, к которой эти завязшие по уши в грязи обитатели Фенов имеют явную склонность, — еще одну: Красоту? Особенно такую, которую можно было бы наделить необычайными, возвышенными качествами. И нужно ли нам лишний раз подчеркивать, что Красота уже успела показать свою колдовскую силу как на успевшем с тех пор потускнеть и вылинять семействе Аткинсон, так и (по милости портретов в черном и тому подобного) на всем как есть городе, который она битые сто лет держала в своих тенетах?

Но Хелен, этой последней из пивоваровых дочек, явно не грозит судьба той, былой красавицы, первой дочки пивовара, судьба превратиться в местное меньшое божество. Потому что, во-первых, она в своем уме, чего о Сейре Аткинсон

в последние полвека ее жизни сказать никак нельзя. А во-вторых, она принадлежит не Гилдси и не его наклонным к легковерию гражданам, а только своему отцу. И хотя в четырнадцатом году город дорого дал бы, чтоб заманить входящую в цвет и сок дочь обратно, заодно с нелюбимым отцом (нелюбимым, если не учитывать, что он ее отец), она не покидает Кесслинг-холла.

И город, не желая оставаться в дураках, вынужден измыслить собственную версию столь неподобающего уединения вдвоем. Он должен как-то объяснить, свести воедино два эти по внешней видимости несовместимые лица: скорбную, иссушенную преждевременной старостью отцовскую мину с внезапной уклончивой улыбкой и вспышками темного пламени — и девственно-ясное лицо дочери. И он измышляет на поверхности лежащий миф: Хелен движут отнюдь не дочерние чувства, ее против собственной воли вынуждают жить с отцом, да что там говорить, он просто насильно запер ее, подальше от яркого, манящего мира (яркого и манящего — в четырнадцатом году), в этом своем огрском [42] замке под названием Кесслинг.

---

[42] Примечания: 42

В английском сказочном фольклоре огр — традиционная европейская фигура великана-людоеда.

Миф… Однако в каждом мифе есть зерно истины… Но что же говорит сам Эрнест? Ведь мы еще не слышали его часть истории (Хелен мы, правда, тоже пока не слышали, но дайте срок, услышим, пусть, может быть, не сразу и нехотя). Неужто он заслуживает подобной негодяйской роли? А все эти злобные шпильки, от которых он не смог избавиться, даже покинув город, — их он заслужил? Чем? Какие против него доказательства? Что он пытался поднять свой голос против грядущего Хаоса? Против строительства империи и ура-патриотизма? А когда слова не возымели действия, перешел к действию, и само это действие было как заклинание хаоса? Но ведь хаос — не его вина. Потому что он-то знал, как обращаться с этим джинном в пивной бутылке. Он пил свой эль, и эль не превращал его в психа. Совсем наоборот: он делал терпимей присущую Эрнесту меланхолию, и на душе становилось теплее и легче. Что же до гнусной выдумки, что будто бы он сам поджег пивоваренный, чтобы прибрать к рукам страховку… Пожар на пивоваренном устроили граждане города Гилдси — так же как эль устроил пожар у них в головах. Что же до страховки, которую он действительно получил — хотя сумма была не столь значительной, как утверждалось,

и большая ее часть пошла на компенсационные выплаты и на дорогостоящий процесс ликвидации дела, — она была в конце концов потрачена на основание реабилитационного центра для инвалидов войны, расположившегося нигде иначе, как в его собственном, роскошном во дни оны загородном имении, в Кесслинг-холле. Этот самый Приют Кесслинг-холл (Эрнест Аткинсон не пожелал, чтобы его имя каким бы то ни было образом было увековечено в основанном на его деньги заведении) со временем превратился в Восточно-Кембриджширский госпиталь; и сегодня, перестроенный, расширенный, после чего от изначального здания осталась лишь малая часть, которая используется в административных целях, он является одним из базовых психиатрических учреждений Восточной Англии.

Но мы забегаем вперед. Кесслинг-холл был переоборудован для нового своего назначения — а Хелен Аткинсон приняла решение пополнить собой ряды одного из самых первых контингентов штатных сиделок — лишь в 1918 году. И Эрнест с Хелен перебрались в сторожку при нем — нечто вроде миниатюрной копии самого особняка, окруженной собственной маленькой рощицей, — лишь осенью того же года. Так что еще добрых

четыре года Эрнест, вдвоем с дочерью, жил в старом особняке жизнью убежденного затворника, и комната за комнатой понемногу приходила в запустение, а потом и вовсе запиралась, надворные постройки ветшали, увольнялась и без того немногочисленная прислуга, покуда к 1918 году вообще никого не осталось, если не считать самой Хелен, которая была теперь за экономку, за повара — за сиделку — за все.

За все эти четыре года, с 1914-го по 1918-й, если не брать в расчет различные, весьма нерегулярные, кстати сказать, деловые поездки, Эрнест Аткинсон лишь однажды появился на публике — в том городе, где когда-то его предки твердо держали кормило власти. И надо же было так случиться, что произошло это весной 1915 года, на параде, устроенном с целью проверки боевой готовности Кембриджширского королевского территориального ополчения — когда в Гилдси давал, фигурально выражаясь, представление местный передвижной вербовочный цирк. В силу явной административной ошибки и в нарушение негласного общегородского бойкота, он получил приглашение, во-первых, принять участие в образцово-показательном смотре призывников, а во-вторых, присоединиться к

городским шишкам на импровизированной трибуне, с которой они и будут принимать парад; он получил приглашение и, по какой-то ему одному известной извращенной логике, не захотел его игнорировать. Может быть, ему пригрезился еще один шанс выступить все с тем же, замшелым за давностию лет протестом, а может, он просто собирался напыжиться и молчать в кулачок. Во всяком случае, на самом мероприятии он лишний раз не отсвечивал. Что, поскольку дочь стояла с ним рядом, ему труда не составило.

Переполненная рыночная площадь. Оркестр играет берущие за душу мелодии. Флаги, знамена… Но мы подобное в городе Гилдси уже наблюдали, и если добавить побольше хаки, нескольких полковников, старых хрычей с медалями и похожими на помазки для бритья усами, всеобщего гомона и криков, вышагивающих с важным видом кадровых сержантов-вербовщиков, энное число винтовок; и не забыть при этом убрать кое-что с заднего плана: трубу пивоваренного — вот нам и будет нужная картина.

Марш-парад начинается. Бригадный генерал занимает положенное место и отдает честь. В первых шеренгах демонстрируют выправку тщательно отобранные, вымуштрованные кад-

ровики, вот, мол, что армия, при минимальных затратах, может сотворить с человеком; дальше — ведь без них-то никак — идут свеженькие, необученные, переживающие, как на первом причастии, новобранцы, которые то и дело норовят сбиться с ноги, краснеют и, силясь упредить неуместные ухмылки, маршируют с неуместной же похоронной миной.

Первые шеренги проходят мимо трибуны и отдают честь — вот разве что на долю секунды погрешив против должного ритма — именно так, как и должны были пройти. Но когда положенное направо-равняйсь доходит в свой черед до основной массы свежеиспеченных добровольцев, происходит катастрофа. Ибо команда еще не произнесена, а добрая половина глаз уже глядит направо; и вовсе не на бригадного генерала и не на прочих зардевшихся отцов-командиров, а на Хелен Аткинсон, которая сидит рядом с отцом на импровизированном помосте среди гражданских городских шишек, справа от критической черты. Чуть только уцепив ее краем глаза, они непременно должны глянуть как следует. А как только они глянут как следует, глаз отвести уже никак нельзя. Да и то, разве это зрелище не приятней, чем красномордое чучело в медалях?.. А

поскольку появляется непреодолимое искушение продолжать глядеть даже и через плечо, а проходить марш-марш такой объект внимания и вовсе не хочется, всякая видимость строевого шага и равнения в рядах забывается напрочь, задние шеренги наступают на пятки передним, кто-то спотыкается, падает винтовка — и парад летит в тартарары…

Мама рассказывала эту историю несколько иначе (так что я никак не мог взять в толк, о ком идет речь и что имеет смысл списать на ложную скромность):

Однажды, много лет тому назад, пришла на парад красивая девушка, а глупые солдаты со своими ружьями сбились в кучу и забыли про то, как принято маршировать на парадах, потому что все они хотели посмотреть на красивую девушку. А генерал сперва стал красным как рак, потом пунцовым как свекла…

А у собравшейся в весенний погожий денек поглазеть на парад толпы была своя собственная история:

Это все *его* рук дело — он ведь тоже где-то там, на помосте, — вот он каким-то образом их всех и заставил…

Но вот досада, тем, кто был достаточно близко

от него, чтобы успеть схватить его за руку, тем, кто, вероятнее всего, разделял общенародные подозрения в его адрес, было на что отвлечься: Бог ты мой, в какую редкую жемчужину она успела вырасти — и какая незадача, какой стыд и позор, что она — такая — такая, какая она есть…

А городские шишки сказали себе: что-то в нашем городе не так — нас уже не хватает на Большие Дела…

А заезжий золотопогонник сказал: и тут, фу-ты ну-ты, возникает на трибуне эта телка и весь спектакль катится к такой-то матери. Кстати говоря, девочка-то ай-яй…

А «Гилдси игземинер» сообщил своим читателям:

«Было бы полной бестактностью в наше тяжелое время привлекать излишнее внимание к подобного рода несчастливым случайностям…»

И только у некоторых горожан, из тех, что постарше (невзирая на то, что мы уже второй десяток лет живем в двадцатом веке, который привык опираться на строгие факты и на строгое следование должным технологическим схемам), рождается иная версия: это *она* . Ее работа. Она закрутила воды потопа в семьдесят четвертом, когда ей полагалось тихо-мирно лежать в гробу,

потом забралась в пивные бутылки, свела весь город с ума и учинила пожар на пивоваренном; а теперь вот сглазила парад наших новобранцев…

Однако все эти варианты истолкования одного и того же происшествия ровным счетом ничего не значили для моего деда по сравнению с тем фактом, что его дочь обладает невесть откуда взявшейся властью поставить в идиотское положение весь этот милитаристский цирк собачий — там, где его собственные слова и дела совершенно бессильны. И, может статься, в тот самый апрельский день 1915 года мой дед и влюбился (если язык повернется сказать такое об отцовских чувствах) в собственную дочь.

Считая с апреля пятнадцатого года дед вообще ни разу в Гилдси даже и носа не показал. После злосчастного парада он стал не только убежденным отшельником, но и восторженным поклонником Красоты.

(И это не предположение. Не какие-то там дикие догадки. Я располагаю собственноручными показаниями деда: дневником, который он уже совсем было собрался уничтожить, но в конце концов передумал…)

Ибо, сделавши в своем собственном крошечном уголке мироздания все, что было в его силах,

дабы предупредить человечество о грозящей ему катастрофе, что еще он мог сделать теперь, когда катастрофа стала свершившимся фактом, когда напротив, через море, во Франции, человечество своими руками систематически созидало ад земной, как не приникнуть (я всего лишь передаю, слегка отредактировав, его собственные слова) к случайно уцелевшему осколку рая?

Что же с дедом происходит? Следует ли понимать это так, что и он не устоял перед врожденным заболеванием всех Аткинсонов и у него завелись Идеи? И не просто какая-нибудь там, из привычного набора идей, но идея Красоты — самая платоническая из всех. Идея Идей. Значит ли это, что дед впадает — бог знает во что — в напыщенность и велеречивость?

Но это никакая не идея. Живое существо. Его же собственная дочь, плоть от плоти и кровь от крови.

И никаким платонизмом здесь тоже не пахнет.

Странное дело, но чем дальше развивается война (если войны вообще обладают способностью к развитию), чем больше она утрачивает аромат волшебной сказки, аромат ура-и-да-здравствует, аромат к-Рождеству-мы-будем-дома и становится чем-то ужасным, чем-то совсем не похожим на

волшебную сказку, тем красивее становится его дочь. И тем более разочарованным (в человечестве) и безоглядно влюбленным (в собственную дочь) становится Эрнест. Пока — Джордж и Хенри Крики как раз успели присоединиться к великому марш-броску истории и вляпаться в богатую бациллами безумия фландрскую грязь — Эрнест Аткинсон не ударяется в паническое бегство, назад, обратно, в Рай, и утверждается в вере, что только от этой красавицы и может родиться будущий Спаситель Мира.

Говорят, что после того, как в 1915 году Эрнест Аткинсон окончательно отошел от дел, его былая страсть раскрыть согражданам глаза на будущее переросла в мизантропию (хотя не так-то просто провести по ведомству мизантропии основание госпиталя). Страшная правда о войне, которая к 1917 году начала доходить до оставшихся дома (вместе, скажем, с личными вещами Джорджа Крика и с письмом от его командира), не пробудила в нем самодовольства или желания свести счеты с былыми обидчиками — она всего лишь усугубила питаемое им чувство отвращения к человечеству. Слухи о нем ходили самые разнообразные: что будто бы он уничтожил все оставшиеся у него запасы этого

жуткого эля, а вместе с ним и записи о рецептуре и технологии приготовления; что он стал трезвенником; что один-то ящик он у себя припрятал, но пить не пил; что пил, и еще как, и не только от прежних запасов, а варил вместе с дочкой на домашнем экспериментальном оборудовании, установленном в Кесслинг-холле, еще и еще, для внутреннего, так сказать, употребления, и что именно от непрерывного пьянства, смягчало оно его страсть всех и вся обличать или, напротив, питало ее, и пробудились в нем некие странные позывы, которые и свели его в конечном счете с ума.

В ноябре 1918 года — когда Кесслинг-холл готовился принять первую партию пациентов, а Хелен с отцом обустраивались, ни дать ни взять муж и жена, в сторожке — граждане города Гилдси и жители окрестных лимских деревень могли бы даже и простить Эрнеста Аткинсона. Потому что в учреждении госпиталя, если честно, трудно углядеть дело рук сумасшедшего — или дегенерата. Да и все эти слухи, может, и они тоже…

Но было нечто такое, чего граждане города Гилдси и жители из лимских деревень (и не только они, а вообще всякий нормальный человек) хотели гораздо больше, нежели прощать былые грехи;

им хотелось все это забыть. Однако Приют для инвалидов войны (пусть даже и упрятанный в густом лесу) слишком уж явно бросается в глаза и провоцирует ненужные воспоминания (а может быть, это она и была, месть Эрнеста Аткинсона?). А посему наипростейшим образом избавиться от воспоминаний и от чувства вины и не спускать при этом Эрнеста Аткинсона с короткого поводка можно было, сказав: ну да, конечно, он, может, и учредил этот свой госпиталь, дело хорошее, но вы полюбопытствуйте, что там творится у него в сторожке, а? Гляньте хоть одним глазком, посмотрим, что вы тогда запоете. Конечно, мы же все прекрасно знаем, что самый лучший способ прятать свои гнусные делишки — это делать напоказ разные там добрые дела. И мы — мы и слышать ничего не хотим, премного благодарны, о госпитале, который на позоре выстроен и позором крыт…

(И конечно же, история тому свидетель: Аткинсонам не впервой, в силу причин подлежащих или не подлежащих публичной огласке, учреждать психушку…)

Таким образом, добрые люди, утвердившись в правоте своей и удовлетворенные по всем статьям, потирали руки и возвращались к своим

разумным и полезным делам вроде оптимизации процесса дренажа. Местная дренажная система находилась в самом плачевном состоянии, и не только из-за превратностей военного времени, но и в результате явного небрежения служебными обязанностями со стороны (мы вынуждены еще раз упомянуть это имя) Эрнеста Аткинсона, который, несмотря на то что пивоваренного больше не было, а водно-транспортную он продал, а сельским хозяйством и не думал интересоваться, все еще занимал номинальный руководящий пост в Лимском товариществе по дренажу и судоходству.

И через некоторое, весьма недолгое, время они и впрямь забыли. Они забыли об Эрнесте и Хелен. Забыли об Аткинсонах, которые на протяжении ста с лишним лет были властителями их доходов — и судеб. Они забыли об эле «Коронация» (как же легко забыть подобную нелепость). Они забыли былой мир пивоварен и солодовых барж и публичных приемов — сколько всего ушло, и как быстро, за эти черные четыре года. А потом они забыли и о войне, потому, что о ней-то в первую очередь и хотели забыть, а еще потому, что она как раз и была — самая большая нелепость.

Но Эрнест и Хелен никак не могли забыть — ме-

шал Приют для контуженых, который начинался прямо у них за изгородью. И приютские постояльцы тоже никак не могли забыть — поскольку, собственно, по сей причине они сюда и попали. Через пять, через десять лет — десять лет со дня окончания войны, которая, конечно же, была последней войной в истории человечества, и сколько было разговоров о том, что прошлое должно остаться в прошлом, — кое-кто из них так и живет в приюте. И даже двадцать пять лет спустя, когда Хенри Крик, как мусульманин на молитву, настраивается на вечернюю радиосводку, а бомбардировщики ревут, уходя в ночное небо, а юный Том Крик проявляет нездоровый интерес к одной бутылке из-под пива, малая часть старожилов все еще теплится — но кто о них помнит? — в судорогах той войны, все еще пытается забыть…

Но — не будем забегать вперед. Что бы там ни было в Кесслинге, людей, которым в пришедшую на смену Великой войне эпоху так и не удалось забыть, в каком безумном мире они живут, можно было пересчитать по пальцам.

Хенри Крик забывает. Он говорит: я ничего не помню. Но это просто мозг выкидывает фокусы. Вроде как сказать: а на фига мне помнить, я не

хочу об этом говорить, и точка. И притом, это же вполне естественно, что Хенри Крик хочет забыть, это очень, очень добрый знак, что ему кажется, что он забыл, потому что именно так мы и справляемся с нашими проблемами, забывая о них. Итак, в июне 1921 года (дело-то нескорое), когда Хенри Крик принимается совершенно спокойным и собранным голосом говорить: «Я ничего не помню», лондонские и всякие разные другие врачи, которые три с лишним года бились, пытаясь понять, что же им делать с Хенри Криком, принимают решение отправить его домой. Да-да, прогресс налицо, да и время вышло, и теперь, когда он отделался ото всех неприятных воспоминаний, самое время восстановить воспоминания приятные. И они отправляют его обратно в Хоквелл. Вот деревня-старушка, помнишь? Вот и речка, и мост, и железнодорожная станция. А вот наш старый дом и наши старые добрые маменька с папенькой — они чуток состарились, но ведь ты же их помнишь? (А где брат, Джордж?) Да, нам и вправду кажется, что тебе здесь будет лучше. Путь, конечно, был неблизкий, но зато теперь ты снова там, откуда вышел.

Но вот здесь-то как раз они и ошиблись. Потому что Хенри Крику немного надо, и времени

тоже потребовалось чуть — всего две-три одинокие прогулки вдоль по берегу реки, всего-то несколько недель осенней распутицы, когда бесконечный дождь переполнил канавы и земля под ногами раскисла — и Хенри Крика приходится срочно госпитализировать. Потому что плоский, голый, блеклый Фенленд, который, казалось бы, дом родной для всяческого забвения и нарочно придуман, чтобы привыкать к беспамятству, оказывает на хромого ветерана совершенно противоположное воздействие. А может быть, в этом все и дело: он пытается забыть само забвение, он никак не может отделаться от головокружительного чувства пустоты. Без этого ощущения Ничто снаружи и внутри ему было бы проще.

Однажды в октябре, после обеда, Хенри Крик возвращается домой после долгой прогулки единым сгустком судорог и дрожи, его трясет, его бьет изнутри, и он не в состоянии выговорить ни единого членораздельного слова. Его отправляют в это самое заведение, в Кесслинг, и, судя по всему, выберется он оттуда не скоро. Мистер и миссис Эдвард Крик окончательно падают духом. Один за другим — как двое сонных, одуревших Томми

[43], бредущих слепо в один и тот же пулеметный кегельбан, — они так и валятся в свои могилы. Бедняге Хенри такой подарок и не снился. Он снова там, откуда вышел, — в старой, старой грязи. Но еще он в Кесслинг-холле, а там — Но мы ведь знаем, что с ним случилось в Кесслинг-холле…

В феврале 1919 года, незадолго до своего двадцать третьего по счету дня рождения, Хелен Аткинсон становится сиделкой-практиканткой, вспомогательный контингент (одной из четырнадцати зачисленных в персонал приюта Кесслинг). Тут собственное ее желание — или отцовская воля? Или просто результат неизбежной логики обстоятельств? В конце концов, это его госпиталь; а она его дочь. Каждый день, а иногда и ночью, светя себе под ноги фонариком, она выходит из сторожки (которая, собственно, уже не сторожка в строгом смысле слова, потому что у госпиталя есть теперь свой собственный въезд, с дороги Кесслинг — Эптон) и, в отличие от прочих сиделок, которые либо живут при госпитале, либо снимают жилье где-нибудь неподалеку и приезжают на велосипедах, она идет на работу по старой, сохранившейся от прежних Аткинсонов,

[43] Примечания: 43
Стандартное прозвище английского рядового-пехотинца.

подъездной аллее. (Вот чего Хенри Крик никак не может понять — с тех пор, как он снова обретает способность что бы то ни было понимать, — почему она всегда приходит и уходит именно по этой дороге.) В положенной по штату полумонашеской униформе, плащ и накидка, она прощается со вдовым отцом (мужчиной сорока четырех лет, хотя на вид вы наверняка накинули бы ему еще как минимум лет десять) и пропадает между высаженных правильными рядами деревьев.

И Эрнесту Аткинсону нравится смотреть, как она уходит. Потому что Эрнест Аткинсон, хоть с головой у него, может быть, и не все в порядке, человек — в отличие от некоего предка по отцовской линии — никак не ревнивый, не одержимый инстинктом собственника. Он совсем, совсем другое дело. Он представляет себе, как его дочь скользит меж потерявших человеческий облик несчастных в госпитале, этакая Леди с

Лампадой. [44] Он представляет, как она чудесным образом излечивает безнадежно больных, и не привычным мастерством сиделки, а только лишь посредством волшебного своего присутствия, колдовского дара Красоты. И он видит, как возрожденное, искупившее свои грехи человечество сходит со ступеней госпиталя.

Именно так Эрнест себе все это и представляет. Не верите? В дневнике так и написано, черным по белому.

И — хотите верьте, хотите нет — но чудеса и впрямь случаются: с Хенри Криком.

Да, конечно, приписывайте это, если вам угодно, улучшению терапевтических методов, «ноу-хау» кесслингских врачей или просто целительному ходу времени, но Хенри Крик скажет вам, что вернул его к жизни не кто и не что иное, как сей ангел в обличье сиделки, эта затянутая в белый фартучек богиня. Она, и только она.

---

[44] Примечания: 44

Имеется в виду Флоренс Найтингейл, самоотверженный и талантливый организатор медицинской службы в действующей английской армии во время Крымской войны. Реорганизовав всю систему полевых госпиталей, находившуюся к началу кампании в традиционно плачевном состоянии, она заработала репутацию едва ли не святой. В традиционной кичевой иконографии представляется именно в качестве Леди с Лампадой (буквальный перевод «с фонарем» несет ненужные фарсовые коннотации), обходящей ночью госпиталь под восхищенными взглядами умирающих воинов. Богородичные и средневеково-куртуазные аллюзии напрашиваются сами собой.

Хенри Крик открыл для себя любовь. Всю весну 1922 года (1922-го — как так могло получиться? Неужто не 1917-го?) он — напролет — проводит в раю.

И это ему не снится. Потому что она тоже любит его. Она сама так говорит. И в этой их любви нет ничего воздушного, никаких заоблачных фантазий. Чем скорее выздоравливает Хенри Крик, тем более ощутимой она становится, тем более страстной. Упустив, из-за того, что на отведенное ему время — не говоря уже об отведенном ему рассудке — наложили лапу дела большого мира, большую часть своих юных, для любви предназначенных лет, Хенри Крик мало смыслит в любви, и любовник он до крайности неловкий. Но Хелен Аткинсон ведет и направляет его. Она прекрасный учитель (да, но откуда бы ей самой понабраться всех этих знаний?). И она его исцеляет.

Значит ли это, что Хелен Аткинсон тоже верит в чудеса? Нет, но вот в истории она верит. Она верит в то, что истории суть способ сжиться с тем, от чего никак нельзя избавиться, способ находить смысл даже в полном безумии. В каждой сиделке сидит мать, и за три года, проведенные в Кесслингском приюте для неврастеников, Хелен

привыкла смотреть на несчастных, лишившихся рассудка здешних обитателей как на детей. Им, как напуганным детям, больше всего нужны были именно истории. А из этого открытия она и вывела рецепт: нет, ничего не нужно забывать. Стирать из памяти — не нужно. Все равно забыть ты не сможешь. Но — сделай из этого историю. Обыкновенную историю. Да, конечно, весь мир сошел с ума. И где она, реальность? Ничего, собственно, и нет, кроме историй. Одни истории…

И Хенри Крик, который учится любить, учится одновременно рассказывать истории о Фландрии, те самые, что, много позже, расцвеченные и приукрашенные, он будет рассказывать по второму кругу, у шлюза, или у огня, или ночью, покуда руки вынимают из воды и опускают обратно плетеные верши, и они приведут в свою очередь к другим историям, покуда боль, за вычетом спорадических спазмов в колене, почти совсем не уйдет. (Хотя другого рода боль…) Старая склонность Криков травить байки, совсем было отдавшая концы в залитых водой окопах, опять выходит наружу. Он даже умудряется приберечь на будущее, хотя, быть может, и сам того не знает, историю о том необычайном, захватывающем дух приключении, которое он в данный момент

переживает, об этой встрече с волшебной сиделкой (а как иначе, спрашивается, вы объясните чудо? тут остается только развести руками и сказать: все было так-так так-то). Хотя истории этой он никому рассказывать не станет, долго, очень долго, пока не почувствует приближение смерти и за ним не станет ухаживать другая женщина…

Они не только становятся любовниками, эти двое, странным образом нашедшие друг друга, они еще и рассказывают друг другу истории.

И какую же историю слышит Хенри Крик из уст Хелен Аткинсон?

Давным-давно жил-был один отец, который влюбился в собственную дочь (и давайте на сей раз оставим экивоки, речь идет отнюдь не только об отцовских чувствах). А жили они, отец — который много лет назад потерял любимую жену — и дочь, в бывшей сторожке на самом краю больничного парка. Одинокий, стоящий меж большими деревьями, этот домик был похож на домик из волшебной сказки — пряничный домик, избушка дровосека; но в действительности отец когда-то был очень богатым и влиятельным человеком — среди прочих богатств он владел пивоварней, — хотя, мало-помалу, от богатств его почти ничего не осталось; а ведь когда-то он жил

в большом доме, в том самом, где был теперь госпиталь. А за морем, в далекой стране, была война, и госпиталь был полон солдат, и у некоторых было изранено тело, а душа была изранена у всех. И ничего не менялось, хотя война и кончилась, уже три года как.

Перед тем как она началась, отец предупреждал своих земляков насчет этой войны, которой все они ждали с нетерпением, как великого приключения. Он говорил им, что, когда она начнется, она будет ужасна и принесет много бед. Но люди только смеялись над ним и бранили его. А в довершение всех бед однажды ночью сгорела его пивоварня. Вот и стал он жить как изгой, вдвоем с дочерью, в большом загородном доме, который потом станет госпиталем.

Потом началась война, и она была именно такой, какой нарисовал ее отец, и отец затосковал, а рядом с ним, для утешения в скорбях, была одна только дочь. Иногда, одинокими вечерами в большом пустом доме, где, желая скоротать идущие тоскливой чередой часы, они рассказывали друг другу истории и варили себе к ужину пивка, он принимался рассказывать дочери, что старый мир умирает; он никогда уже не будет таким, как прежде. Вся его молодость, весь его

цвет иссохли. Но даже говоря все это, он не мог не видеть (человек не молодой и не старый, но быстро стареющий), как расцветает дочка, прямо у него на глазах. И даже говоря все это, он, наверное, уже был в нее влюблен. И дочь наверняка об этом знала. Потому что однажды вечером они вдруг перестали рассказывать истории и обняли друг друга так, как дочери не следует обниматься с отцом.

Любовь же, которая всегда отыщет брешь, имеет свои этапы. Начинается она с обожания. Обожание переходит в страсть, страсть в верность, верность в единение душ и тел. И все эти этапы отец и дочь вполне в состоянии пройти вдвоем, пусть это и противоестественно. И все эти этапы дочь согласилась пройти, потому что она и в самом деле обожала бедного своего отца и сострадала ему в скорбях, и, раз уж так вышло, что она была единственным и самым преданным его спутником с самого раннего детства, откуда ей было знать, что естественно, а что нет? Что же до стадии, которая следует обыкновенно за единением душ и тел, до зачатия плодов любви (ибо такова была отцовская воля — он хотел ребенка, и не простого, а совершенно особенного), она вдруг упиралась, дрожала и вставала на дыбы.

Вот так, чтобы отвести отцовы замыслы в иное русло, она и задумала превратить их загородный дом, который все равно был им двоим велик несоразмерно, в госпиталь для инвалидов войны. Разве это не будет лучше? Спасти всех этих несчастных, раздавленных жизнью людей, каждый из которых в каком-то смысле будет их подопечным, их собственностью, их ребенком. Они могли бы перебраться в какое-нибудь скромное жилище неподалеку, ну, скажем, в сторожку (нет, нет, она ни за что на свете его не оставит). А сама она станет сиделкой.

Оказалось, однако, что этот госпиталь, в который отец и в самом деле вложил уснувшие было силы, представляя себе нечто великое и дивное (даже настоящие чудеса), словно задался целью напоминать им о том, как стойко бьется зло на занятых однажды рубежах, а прошлое не хочет оставаться прошлым. Потому что война вроде как прошла, а повредившиеся разумом солдаты продолжали прибывать и оставаться на постой. Жизнь для них остановилась, а им зачем-то приходилось жить дальше. И он лишь утверждал отца в скорбях, сей приют безнадежности. И отец только пуще хотел ребенка. И не просто ребенка. Ибо он начал говорить об этом ребенке, как о

грядущем Спасителе Мира. Потому что скорее всего он тоже повредился в рассудке, совсем как эти бедные мальчики в хаки.

А дочка спорила с отцом. Как они смогут вырастить и воспитать ребенка — ведь он отец, а она его дочь?

Потому что, работая в госпитале, она приучилась говорить о безумии на трезвую голову, так, словно бы в нем нет ничего ненормального. На пути туда и на пути обратно, между сторожкой и госпиталем, проходя через темную рощу, она спрашивала себя, ну и которое место безумней? Кто больше выжил из ума, свихнувшиеся на войне солдаты или тот человек в пряничном домике? А иногда, во время этих ее прогулок туда-сюда, когда падал вдруг желудь, барабанил дятел или ветер пробегал по кронам старых буков, она останавливалась и говорила себе: вот они, мои единственные в-здравом-уме-и-твердой-памяти антракты — если это и принято так называть. Она думала: правда в том, что я попалась. Моя жизнь — она тоже запнулась и стоит на месте. Потому что, когда отцы влюбляются в дочерей, а дочери в отцов, это как будто вяжешь в узел нить, которая должна вести в будущее, это как река, которой вдруг взбрело течь вспять.

В такие минуты по щекам у нее текли слезы. Потому что пусть она попалась, но она любила своего отца и так, как дочь должна любить отца, и так, как не должна, и она не хотела причинять ему боль. И пусть она и не хотела ребенка, но все-таки — она ребенка хотела. Она хотела будущего. И еще она привыкла ухаживать за мужчинами, которые снова стали подобны беспомощным детям. А в каждой сиделке сидит мать.

Вот она и медлила, и бродила меж деревьями, как страдающая Дама в густом лесу.

Но любовь всегда отыщет брешь. Потому что, рано или поздно, в госпиталь поступил раненый солдат по имени Хенри. Жизнь и для него остановилась тоже: но она ждала возможности взять свежий старт. Потому что, рано или поздно, он пошел на поправку, а когда поправился — хотя сам Хенри наверняка сказал бы, что обе эти вещи суть одно и то же, — влюбился в сиделку, влюбленную в собственного отца. И как только он в нее влюбился, она в него тоже влюбилась. И эта, вторая любовь распутала узел первой.

Потому что однажды вечером дочь сказала отцу:

«Я согласна. Я рожу тебе ребенка — если ты мне вернешь свободу».

«Свободу?» — переспросил ее отец. Дочь посмотрела на отца.

«Я люблю другого».

Лицо у отца закаменело, но он дослушал все, что дочь хотела ему сообщить.

«Я выношу твоего ребенка, если сперва ты позволишь мне выйти замуж за этого человека и жить с ним так, чтобы, когда ребенок родится, все выглядело так, будто это его ребенок, и мы смогли бы воспитать его, я и он, так, словно это и в самом деле наш с ним ребенок».

Отец смотрел на нее долго и пристально.

«Он достойный человек?»

«Да, и он один из пациентов в нашем госпитале. Он был очень болен, но теперь почти исцелился».

В тоскливых глазах отца зажегся тусклый отблеск света.

«Это ты его исцелила?»

Дочь ничего не сказала.

«Но он любит тебя?»

«Да».

«И ты ему скажешь когда-нибудь — этому твоему мужу, — чей это в действительности ребенок?»

«Это я должна буду решить сама».

Отблеск света в отцовских глазах затрепетал, но не погас.

«И ты будешь заботиться о нем — я имею в виду, о моем сыне?»

«Если это будет сын».

«И он станет Спасителем Мира?»

«Он станет Спасителем Мира».

На том отец и дочь и порешили. Может быть, в ту самую ночь они и приступили к зачатию. Однако в действительности дочь надеялась на то (хотя ей было больно обманывать отца), что сперва она зачнет-таки дитя от Хенри и что отец примет его за свое. А если все-таки ребенок будет отцовский, она никогда не скажет Хенри, чей он, а может статься, и нужды в том не будет. Третью возможность — что она сама может не знать, от кого ребенок, — она вообще фактически не брала в расчет, уверенная в силе материнского инстинкта.

Таким образом, двое мужчин одновременно изо всех сил старались сделать дочери ребенка, и обоих она любила. Хотя могло так получиться, что только после появления ребенка на свет выяснится, кто же его настоящий отец. И все это в то самое время, когда к Хенри не только вернулся рассудок, но и видеть он стал куда яснее, чем

раньше. А потом в один прекрасный день, когда настал, судя по всему, самый подходящий для этого момент — может, дело было в том самом лесу, в укромных местечках, где она предавалась отчаянию и слезам, — дочь стала рассказывать Хенри историю…

Однако же стоит сказать, что, когда Хенри выслушал эту историю (он был похож на человека, попавшего внезапно в рай, который готов уверовать во все, что угодно), эта самая сиделка и Хенри уже были помолвлены и его уже поставили в известность, что вскоре он станет отцом…

Но история на этом не кончается, и Хенри Крик теперь тоже играет в ней свою роль. Ибо не только назначен день, когда он женится на прекрасной этой сиделке, которая вскоре после свадьбы перестанет быть сиделкой и сделается матерью, но ему готовы также, стараниями ее отца, и дом, и работа в виде шлюза Аткинсон и стоящего рядышком со шлюзом дома, поскольку занимающий это место человек, некий Джон Бэдкок, как раз собрался уходить на пенсию.

И всю вторую половину лета, пока Европа пытается разложить по полочкам свои мирные договоры, Хенри Крик обучается шлюзовому делу и искусству управляться с заслонкой под

руководством Джона Бэдкока, человека сдержанного и осмотрительного, но оставившего тем не менее молодой чете в качестве свадебного подарка и *memento* о предшественнике чучело щуки живым весом в 21 ф. 40 ун., выловленной в тот самый день (оттого и удостоенной подобной таксидермической чести, да еще вставленной в стеклянный ящик), когда подписали Перемирие.

А ближе к концу сентября, пока доселе незаметная беременность Хелен развивается своим чередом, начинают прибывать на грузовике предметы обстановки, домашняя утварь, фамильные ценности и прочего рода имущество — как из бывшего дома Хенри и его усопших между тем родителей, так и из домика, состоявшего когда-то при загородном имении Кесслинг-холл в сторожках. И среди прочего — он приезжает однажды утром сам собой, на заднем сиденье такси, со строжайшим указанием вручить непосредственно миссис Хенри Крик — черный деревянный сундук с медной окантовкой, накрепко запертый и с выведенными на крышке инициалами Э. Р. А. Эрнест знает, что там внутри. И Хелен знает. А вот Хенри остается только гадать.

И именно здесь, в домике при шлюзе, однажды ранним серым мартовским утром, под бдитель-

ным доглядом Ады Берри, общей на Хоквелл вместе с Эптоном акушерки, рождается на свет ребенок, которого Эрнест Аткинсон прочила спасители мира.

И рождается с картофельной башкой.

Хотя о том, что он с картофельной башкой и никак не годится в спасители мира, Эрнест Аткинсон никогда не узнает…

Но давайте вернемся немного назад, туда, где райский свет все еще кажется реальным. Хенри Крик, недавно обженившийся и будущий — в скором времени — отец, сидит однажды тихим, подернутым легкой дымкой вечером в самый разгар бабьего лета у своего нового дома, смотрит в шлюз, на линию, где сходятся река и берег, каковая линия отныне есть главный предмет его заботы. Освященный присутствием его прекрасной беременной жены, сей плоский, из горизонта в горизонт, пейзаж не рождает в нем больше жуткого ощущения пустоты, как бывало когда-то, и не успел еще проникнуться тем чувством одиночества и тоски, коим будет чреват в будущем. Завернувшись в ласковый кокон любви к прекрасной этой женщине, он глух также и к сплетням, на которые горазд мир. Потому что он знает, кто такой Эрнест Аткинсон.

И — экая, право, невидаль, ребенок, зачатый вне брака, а рожденный в браке. В этой точке пространства и времени Хенри Крик — обладатель самого безоблачного счастья, какого только может сподобиться человек, и это счастье он обрел на фоне общих бед, и это счастье вклинилось меж прошлой и будущей болью…

И тут внезапно он замечает нечто мерцающее, вьющееся в гаснущем вечернем свете над поверхностью реки. Оно движется вниз по течению, к шлюзу, из сумеречной дали и держится дальнего берега. Оно дрожит, оно мигает, оно то над, то под водой, а то мелькает между камышами; кружится, вертится, вспыхивает, дрожит, переблескивает, тускнеет, потом опять становится ярче, скачет, зависает на месте, снует туда-сюда, обрывается вниз и как будто говорит все это время:

«Посмотри-ка на меня — ну что, глядишь во все глаза? Ага, глядишь во все глаза». На долю секунды он принимает будто бы очертания женской фигуры. Потом, дойдя до перегородившей дальний рукав реки заслонки, исчезает бесследно.

Болотный огонек.

Хенри Крик глядит во все глаза, он поражен. Настолько поражен, что забывает: болотный огонек принято считать дурным знаком. Он доверяет

своим глазам. Но памяти он доверяет меньше, а потому записывает это свое видение. Он записывает его — еще одно чудо, ко множеству других, о которых он знает наверное, — на последнем листе шлюзового журнала: «26 сентября 1922 года (вечер). Видел болотный огонек».

Это случилось в тот самый день, когда в его дом при шлюзе прибыл черный сундук с медной окантовкой и золотыми инициалами, и Хенри Крик, по жениной указке (вопросов он не задавал — счастливый человек не задает вопросов), втащил его наверх, на чердак.

А за некоторое время до того Эрнест, вероятно, объяснил Хелен, что там, в сундуке, и зачем оно нужно. Он, вероятно, объяснил ей, что, пусть даже она и настояла на своем праве самой объяснить его будущему сыну (Хелен скорее всего не сочла нужным вставить слова «или дочери» или даже слово «внуку») правду о его родителях, но держать человека — не говоря уже о спасителе мира — в неведении относительно такого рода вещей есть ложь и грех не самого последнего разбора; и он хотел бы заранее побеспокоиться, чтобы со временем все должным образом разъяснилось. В этот старый сундук — а сундук сей он брал, будучи совсем еще молодым человеком, с собою

в лондонские свои вылазки — он положит письменное свидетельство, адресованное этому, не рожденному пока ребенку, с объяснением истинных обстоятельств его появления на свет. Кроме того, он положит туда свой дневник, который вел не один год, так, чтобы — если подобные вещи способны представлять интерес для Спасителя Мира — ребенок смог получше познакомиться с отцом, с человеком, зачавшим его когда-то. Он переправит ей сундук и ключ; и к восемнадцатому дню рождения — если она так решит — она должна будет отдать их сыну этот ключ.

Есть вероятность, что Хелен могла сказать: «Но ведь ты к тому времени сам будешь…» — и осеклась, вспомнив, что перед нею больной человек. Есть вероятность, что вместо этого она сказала: «Да, но почему же именно сундук?» — имея в виду, что сундук достаточно громоздкий. На что Эрнест вполне мог ответить и даже подмигнуть при этом: «На свой восемнадцатый день рождения наш сын получит еще и дюжину бутылок нашего старого эля. Помнишь — эля, который мы с тобой варили вдвоем…»

И вполне может статься, что именно тогда он с ней и попрощался — не как отец, но как любовник. Потому что они ведь больше не могли

видеться снова, наедине, здесь, в сторожке, — разве не так? И вполне может статься, что Хелен, когда она возвращалась обратно в свой домик при шлюзе, плакала. Потому что ребенок у нее во чреве — так ей в ту пору казалось — был от Хенри.

В ночь на двадцать шестое сентября из-под Эрнестова пера вышел документ, адресованный некой проекции сына, с выражением отцовской любви и поздравлений, с отцовской исповедью — отцовским покаянием — и с наказом во что бы то ни стало спасти мир, каковой, видит Бог, нуждается в спасении. Не исключено, что Эрнест, в то самое время, когда он все это писал, отдавал себе отчет в том, что он не в себе — потому что у каждого сумасшедшего сидит внутри маленький такой, но абсолютно нормальный человечек и твердит: «Ты сошел с ума, ты сошел с ума». Однако может так статься, что это уже не играло никакой роли, поскольку к тому времени он успел окончательно удостовериться в том, что мир, который мы привыкли считать реальным и построенным на неких разумных основаниях, в действительности местечко абсурдное и абсолютно фантастическое.

Закончив это письмо к своему сыну-спасителю,

он вложил его в конверт, но конверта запечатывать не стал (чтобы Хелен тоже смогла прочесть) и положил вместе с четырьмя синими тетрадями в матерчатом переплете, заключавшими в себе его дневники, в черный сундук. Потом он спустился в погреб сторожки и в несколько приемов вынес наверх двенадцать бутылок пива, которое в те времена, когда его варили и продавали в потребительских целях в 1911 году, было известно под названием эль «Коронация». Каковые, тщательно проложив их мешковиной, он также уложил в сундук. Может быть, раньше, а может быть, только сейчас он добавил к письму следующие слова:

«P.S. Бутылки: употреблять в случаях крайней необходимости» .

Потом он вывел на конверте: «Первенцу миссис Хенри Крик», завернул конверт и дневники опять же в мешковину, закрыл сундук, запер его и на следующее утро отправил его на дом к дочери вместе с запечатанным конвертом, в коем лежал ключ.

Сколько всего бутылок было в погребе сторожки, никто не знает. Ясно, однако, что их было не двенадцать, а много, много больше. Потому что, увидев, как уезжает на такси сундук, мой дед по-

чувствовал внутри великий вакуум и принялся заполнять его пивом. Он принялся лить в вакуум пиво в количествах до сей поры немыслимых, то самое, необыкновенное, способное претворять реальность пиво, которое пить должны только те, кто знает, как его следует пить — а как его правильно пить знает, по большому счету, один лишь Спаситель Мира.

Он пил все утро: у шлюза Аткинсон миссис Хенри Крик получает тем временем сундук и — внутри небольшого пакета, где лежал ключ, — коротенькую записку, в которой значилось: «Назови его Ричард».

Он пил весь день: а у шлюза Аткинсон Хенри Крик, прислушиваясь к тянущим болям в колене, втаскивает сундук на чердак.

Он пил, с перерывами, должно быть, до самого вечера. А когда спустился вечер, он, оставив за собой груду пустых пивных бутылок, вышел из сторожки и направился к Кесслинг-холлу по тем же усыпанным осенней листвой дорожкам, по которым бегала когда-то на работу его дочь, когда служила в госпитале сиделкой. Очень может быть, что ему казалось: его место там, среди несчастных солдат, которым никогда не выбраться из прошлого, которым никогда не сыскать

своей собственной узенькой тропинки в будущее — а дочь его, она теперь с человеком, которому удалось-таки вырваться на свободу. Очень может быть, он вознамерился занять освободившееся с уходом Хенри Крика место между безумных солдат, и потому, наверное, он прихватил с собой ружье.

Как бы то ни было, до Приюта он так и не добрался. Ибо в тот самый вечер, когда мой отец увидел, как сверху, вдоль по Лиму, над самой водой, скользит, подрагивая и мерцая, болотный огонек, Эрнест Аткинсон, чей прадед возил когда-то из Норфолка волшебный ячмень, сел, прислонившись спиною к дереву, засунул себе в рот дуло заряженного дробовика и спустил курок.

31
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ

Дети, а вы — вы верите в образование? Вы верите, что мир взрослеет и что он чему-то учится? Вы верите во всю эту чушь насчет мудрых старцев и дурашливых юнцов? В то, что старший знает лучше, в «делай как я», в уроки жизненного опыта?..

Вы верите в детей? Что они являются в облаке славы, что приносят с собой аккуратно расфасованные кусочки рая, что в них сияет отблеск мира, каким он может когда-нибудь стать?

Что есть учитель истории? Некий тип, который учит ошибкам. В то время как все говорят: вот как надо, он говорит: а вот из-за чего все пойдет насмарку. В то время как все говорят вам: сюда, сюда, дорога здесь, он твердит: а вот вам на выбор ляпы, растяпы, тюк туфты и полные кранты. Этого добра всегда навалом; а человеку свойственно плутать (так что нам теперь, сотворить себе Бога, чтобы направлял нас и прощал нам грехи?). Он сам-себе-противоречие (поскольку все мы знаем: история учит нас тому, что она еще никого ничему…). Наставник-саботажник, этакий Иван

Сусанин. Может, от него вообще один вред. Может, детям вообще с ним лучше не общаться…

Темнота. Школьная площадка. Темно в классах, в актовом зале, в лабораторном корпусе, в гимнастическом, в библиотеке. И только в административном крыле горит одинокий огонек.

Учитель идет нетвердыми шагами через школьную площадку. Учитель слегка пьян. Учитель больше не будет учить. Он уже не в том состоянии, чтобы. Учитель ходил к Шефу. Он запинается, он медлит, на детской площадке, под подернутыми дымкой пригородными звездами…

Дети, пара наблюдений над состоянием опьянения (сделанных в состоянии опьянения). Феномен, свойственный по большей части взрослым. Детям, по большей части, ни-ни. А им незачем. Потому что с какой бы стати им бы вдруг захотелось снова почувствовать себя детьми… Чтобы мир стал похож на игрушку. Чтобы дурное не выглядело таким дурным. Чтобы реальность стала не так чтоб реально реальной… Его, состояния, социологические и идеологические модусы. Способ выпустить историю на волю (Гля! — а мы еще и шутим!). Предмет для эклектических штудий (может, как раз бы и заняться на досуге?): произ-

водство вин — и шампанских вин — во Франции в эпоху Французской революции. Потребление, оно как, выросло или упало?

«Сэр?»

Это Прайс. Его бледное, с немым вопросом про запас, лицо выплывает из тьмы, как изможденная луна.

«Прайс, что ты тут делаешь до сих пор, в такое время?»

«Встреча, сэр».

«Какая встреча?»

«Наше общество. Холокост-клуб — Анти-Армагеддонская Лига. Мы еще не решили насчет названия».

«И тем не менее. Кто вам эти ваши встречи разрешил? Если только Льюис…»

«Все в порядке. Мы забронировали помещение вроде как для шахматного клуба».

Он примеряется к моей походке.

«Значит, вы были у него, сэр?»

«У кого у него?»

Прайс кивает на плывущий параллельным курсом квадратик света.

«А ты, конечно, в курсе?»

«Мы все в курсе».

«Да, я у него был. По правде говоря, был и пил

его виски».

«Ну — и вас уволили?»

«А ты как думаешь, Прайс?»

«Мы могли бы организовать протест, сэр. Направить петицию в вышестоящие инстанции. Написать в эту дерьмовую местную газетенку…»

«Я польщен. Однако…»

(Однако с чего вдруг такая забота? Такая солидарность? Эти экстрауважительные «сэры»? Уж от тебя-то…)

«Я просто хочу сказать, сэр, что мы все — весь класс — я имею в виду, очень сожалеем обо всем, что случилось».

«Да нет, Прайс, ты не так понял. Я не уволен. Я выхожу на пенсию».

«И. И эти — эти ваши новые уроки. Это что-то».

Истории, Прайс. Сказки.

«И нам очень жаль — насчет миссис Крик».

«Ладно, ладно. Но — ты, кстати, знаешь, что она о тебе наслышана? Я ей о тебе рассказывал. Ты как раз из тех учеников, о которых учителя рассказывают женам».

«Как она, сэр?»

Учитель не отвечает.

Мы доходим до школьных ворот. Учитель останавливается, его ведет в сторону.

«Слушай, а тебе сейчас непременно нужно идти домой, а? Они что, станут беспокоиться, где ты и что ты? Я только что пропустил три порции скотча. И у меня такое чувство, что надо бы добавить. Пойдем, составишь мне компанию».

«О'кей». (Несколько настороженно.) «Хорошо. А у него что, и вправду там целый склад бухла?»

«За это в тюрьму не сажают. Вашему директору нужен буфер, шина, протектор. Он с удовольствием сыграл бы для вас для всех роль лорда-протектора, но все дело в том, что ему бы самому… Мне, наверное, не следует всего этого говорить».

«Да, конечно… В „Герцогскую Голову“, сэр? Вы в курсе, что мне еще нет восемнадцати?»

«Ты что, Прайс, на самом деле пытаешься убедить меня в том, что ты никогда?..»

«Герцогская Голова». Тепло, и даже — с холода — немного чересчур. Фон: инструментальная партия для телешоу и игровых автоматов: клокотание космических войн, икотка фруктового покера. Столик в углу. Полупьяный учитель и школьник с лицом краше-в-гроб-кладут. Напитки: у первого большой скотч, у второго (следовало бы догадаться, что наш Прайс не преминет продемонстрировать себя) «Кровавая Мэри», маленькими глотками.

Скандально известная школа в южном Лондоне преподносит очередной сюрприз. После занятий: ребята, почему бы вам не выпить…

«Ну так и что он вам сказал?»

«Льюис? Да бог с ним, с Льюисом. Расскажи мне лучше об этом вашем… Холокост-клубе?»

«Ну, если вам интересно». Он как будто сомневается — а вдруг я подумаю, что это так, детские игры?

«Это просто идея такая. Не группа протеста, нет. Мы верим — в силу страха».

«Страха, Прайс?»

Страха?

«Протестами в нашей школе не всякого проймешь. Но вот боятся наверняка очень многие. Мы хотим повытянуть из народа все их страхи. Сказать, чтобы они их не прятали. Вытащить их на свет божий. Мы хотим сказать, чего вы стесняетесь, покажите свой страх, добавьте его к нашим».

«Ну и как же вы?..»

«Была такая мысль — начать издавать журнал. Чтобы заставить народ выговориться. Страхи. Ну, знаете, как они себе представляют конец света. Последние минуты, последние мысли, паника, что ожидает тех, кто умрет не сразу…»

Он возбужден. Очередной глоток крови.

«А знаете, что натолкнуло нас на эту мысль, сэр?»

«Нет».

«Нет? Серьезно? Тот урок. Ну, вы помните. Когда мы рассказывали наши сны…»

«Да, конечно. — (Итак, мои уроки чему-то их все-таки научили: бояться.) — Тот урок».

Он смотрит на меня.

«Знаете, мне и в самом деле очень жаль, что я мешал вам вести уроки, сэр. Что из-за меня в конечном счете заварилась вся эта каша».

Однако, Прайс, на том-то и стоит образование. (И не прикидывайся скромником. Куда девался весь твой революционный пыл? Или вышел весь, как только тиран повернулся к тебе другой стороной? Как только выяснилось, что он в конечном счете всего лишь несчастный сукин сын.)

Не на пустых мозгах, которые только и ждут, чтобы их наполнили, и не на учителях, которых подпирает изнутри до полного перекипания. На противостоянии учителя и ученика. На том положительном сальдо, которое остается после столкновения лоб в лоб настойчивости и упрямства. Долгой, многотрудной борьбы против естественного сопротивления среды. Нужны ко-

лоссальные запасы флегмы. Я не верю в скорый результат, в волшебные палочки и мановения рук. Я не верю, как верит Льюис, в подготовку ко встрече с нынешним реальным миром. Но я верю в образование.

Уволенный учитель, муж льюишэмской воровки, заявляет: «Я верю в образование…»

А знаешь, почему я стал учителем? Ладно, согласен, был у меня на истории пунктик. Хобби, любимая игрушка. Но — откуда это желание, *учить* ? Из Германии сорок шестого года. Из битого камня. Там его были тонны. Видишь, не так уж много было и надо. Всего два-три города, стертых с лица земли. Никаких спецкурсов. Экскурсий в концлагеря. А попросту говоря, я сделал открытие, что эта штука, называемая цивилизацией, эта штука, над которой мы трудились три тысячи лет, так, что время от времени она встает поперек горла и нам хочется отвесить ей пинка, ну совсем как школьникам, просто для забавы (она ведь склонна иногда принимать вид надутого классного наставника), что она драгоценна. Так, безделка, остроумная и хрупкая — и разбить, делать нечего, — но при том драгоценна.

Это было тридцать — сорок лет назад. Я не знаю,

стала наша жизнь с тех пор лучше или хуже. Я не знаю, была она тогда лучше или хуже, чем в нулевом году от Рождества Христова. Есть мифы о прогрессе и мифы об упадке. И грезы о революции… Я не знаю, была ли какая-нибудь польза от того, что я тридцать два года учил детей. Но я знаю, что и тогда вокруг было черным-черно, и теперь. В 1946 году мне было видение развалин мира. (И моей будущей жене, насколько мне известно, тоже бывали видения — но мы в эту тему углубляться не станем.) И вот ты теперь, Прайс, в 1980-м, с черепом вместо лица и с этим твоим Холокост-клубом, и говоришь, что миру, может быть, не так уж и долго осталось — и ведь ты не намного моложе, чем я был тогда.

«Но ты хочешь знать, что мне сказал Льюис? Давай лучше я тебе передам кое-что из того, что я ему сказал, я сказал: „Льюис, ты веришь в детей?“

«Не понял, сэр. Может, еще по одной?»

«И Льюис тоже. Я ему говорю: „Мы их учим. А ты в них веришь? Во все то, чем они вроде как должны в итоге стать. Наследники будущего, сосуды надежд наших. Или ты веришь, что мы и оглянуться не успеем, а из них уже вырастут точные копии их же собственных родителей,

чтобы повторить все те же самые ошибки, и так до бесконечности, один и тот же круг?“ А Льюис и говорит: „А ты сам во что веришь?“ А я ему: „Второй вариант“. А Льюис: „Об этом ты и на уроках им рассказываешь, так, что ли?“ А я: „Это не я, это история им рассказывает: однажды, мол, вы будете точь-в-точь как ваши родители. Но если перед тем, как стать похожими на родителей, они бы попытались побороться за то, чтобы не стать такими, если бы они только попробовали (теперь ты понимаешь, Прайс, почему ученик должен сопротивляться учителю, почему молодой обязан держать старшего под подозрением) если бы они только попробовали не дать себе и миру соскользнуть. Не дали бы миру стать хуже?..“

«И знаешь, что сказал мне Льюис?»

«Нет».

«Типичная точка зрения старого циника, который слишком долго простоял у доски».

Прекрасно, на том и порешим, значит, борьба за сохранность некой хрупкой безделки. Борьба за то, чтобы все вокруг не лишилось смысла. Борьба против страха. Ты же боишься. Тут никаких клубов не надо. По лицу видать, сразу. А я, думаешь, нет? А с чего бы я тут с тобой трепался и с какой бы радости вдруг стал рассказывать

все эти истории, этакий заключительный аккорд к моей учительской карьере, которые — вот уж порадовал — таки возымели действие. Оно от страха помогает, понимаешь? И мне плевать, как это называется — объяснять, уходить от фактов, придумывать лишние смыслы, смотреть со стороны, представлять вещи в перспективе, ходить вокруг да около, образованием, историей, сказками, — это помогает избавиться от страха. И почему, ты думаешь, я тут с тобой сижу, и я ведь не все еще тебе сказал? Тебе ведь еще не пора, а, Прайс? Мама с папой по стенкам бегать не станут? Да, я бы не против еще по одной. Да, я знаю, что я уже пьян. Давай я расскажу тебе еще одну. Давай я расскажу тебе…

Прайс встает за еще по одной. Бармен, подошел собрать стаканы, его останавливает. Разглядывает подозрительно сперва его, потом меня.

«А ему восемнадцать-то есть?»

«Есть». Бармен не удовлетворен, продолжает пялиться. «Кому, как не мне, знать. Это мой сын».

…давай я расскажу тебе (даже сквозь слой мертвецки-бледного грима видно, как Прайс густо залился краской), давай я расскажу тебе

32
О КРАСАВИЦЕ И О ЧУДОВИЩЕ

Нет, не Спаситель Мира. Картофельная башка. Не надежда на будущее. Полудурок с тусклым, пустым рыбьим взглядом.

И без толку его учить. Ни читать, ни писать он не умеет. Говорит наполовину на детском каком-то сю-сю, если вообще говорит. Никогда не задает вопросов, ничего не хочет знать. Назавтра не помнит, что ему сказано сегодня. В четырнадцать лет он все еще сидит в приготовительном классе хоквеллской деревенской школы, отвесив нижнюю челюсть, посмешищем для остальных детишек. «Дик Крик!» — так они кричат. «Дик Крик! Дик Крик!» И имечко — как из детской считалки. (Как это родителям только в голову взбрело назвать его Ричардом?)

Мистер Рональд Оллсоп, директор деревенской школы, человек весьма упорный, в конце концов сдается и говорит отцу: «Я сделал все, что мог». И пускается по испытанной временем отходной дорожке всех потерпевших поражение учителей: «Но ведь у него золотые руки… и силы ему не

занимать, такие плечи… ведь согласитесь, нет ничего зазорного, если человек своими руками…»

И — странное дело — отец как будто доволен, у него на лице читается едва ли не облегчение после такого вот печального вердикта.

И странности на этом не кончаются, потому что стоит только младшему брату, Тому, — который, будто для контраста, звезда своего класса, который выигрывает стипендию для обучения в гимназии, который далеко пойдет и составит предмет гордости своего отца — попытаться преуспеть там, где потерпела поражение хоквеллская деревенская школа; стоит ему однажды летом, прихватив с собой книги, карандаш и бумагу — потому что он не хочет, чтобы вместо брата у него был пень неотесанный, потому что у него в голове не умещается, как это может быть, чтобы у брата вообще ничего в голове не умещалось, хотя брату до этого, судя по всему, нет дела; потому что он хочет спасти его от перспективы навсегда остаться в умственно отсталых (обратите внимание на столь ранние симптомы педагогического зуда), — сесть с Диком на краю бечевника, отец быстро кладет конец сей импровизированной школе под открытым небом и, в ужасе расширив глаза, захлебываясь, с весьма необычным для

него пылом говорит своему младшему: «Не смей его ничему учить! И даже читать — не смей!»

Вот так Дик и растет, широкоплечий, с золотыми руками, сильный телом, если не умом, на брегах Лима. И, со временем, идет работать на узскую землечерпалку, «Роза II», и в результате покупает, на сэкономленные от заработанных за труды дневные средства, подержанный мотоцикл «Velossete 350», который, с чьей-то сторонней точки зрения, мог сделаться для Дика из всех вещей вещью самой понятной, близкой и родной, мотоцикл, который в своей безмозглой, однако же ухватистой готовности к полезному действию и в механической своей быстроте движений весьма напоминал самого Дика.

Но даже и с картофельной башкой человек обязан иногда задуматься. Даже полудурок должен время от времени поразмышлять над большими и провокационными вопросами вроде: что есть жизнь? Из чего она состоит? Откуда она берется и для чего предназначена?

Возьмите, к примеру, тот случай, когда его мать вдруг исчезла, ничего ему не объяснив, да так с тех пор и не вернулась. Она ведь всегда была тут как тут. Она приносила еду и чистую одежду. Пусть даже и с картофельной башкою на плечах,

но ему, такому как есть, она подтыкала на ночь одеяло, и целовала на сон грядущий, и щедро оделяла его — по крайней мере так тогда представлялось любопытным и завистливым, да-да, завистливым глазенкам крошки Тома — особого рода материнскою заботой, которая странным образом была тем ласковей, чем меньше он на эту ласку отзывался. Но вот однажды она осталась лежать в своей собственной кровати, а потом ее вообще нигде не стало видно. Ну и куда же она подевалась?

Но, Дик, разве ты сам не знаешь? Разве ты не видел? Она в том деревянном ящике, который опустили в мерзлую землю на хоквеллском погосте. Мы все там были, стояли вокруг, разве ты не помнишь? Это была она. Она под тем маленьким холмиком среди травы, отец еще ходит к нему и кладет цветы. Ты что, Дик, не заметил, что ли, как он начал сажать цветы среди всяких там овощей? А иногда, если за ним проследить, он кладет цветы, а потом встает на колени, прижимается к холмику лбом и плачет, плачет. Она там, под землей. Дик, и она теперь оттуда уже не вернется.

Но Дик не хочет верить, что она ушла в такую даль, откуда ее никак нельзя вернуть. Может, прячется где-нибудь. Если ее унесли тогда в

ящике, может, в ящике она и вернется? Может, свернулась калачиком в старом сундуке, там, наверху. Разве она не дала ему ключ — перед тем, как исчезнуть? А если в сундуке ее нет (потому что ее там нет), тогда, может быть, в этих бутылках — потому что, кроме бутылок, там ничего и не оказалось, и еще немного старой мешковины с бессмысленною писаниной пополам. Или, может, содержимое бутылок заставит ее снова появиться…

Потому что однажды, в скором времени после внезапной и никак не мотивированной маминой отлучки, Дик вынимает одну из бутылок, идет туда, где Стоттова дрена выходит на южный берег Лима, и церемонно выпивает содержимое.

А почему именно Стоттова дрена?

Потому что именно здесь каждый вечер отец имел обыкновение вытягивать на берег плетеные верши, заброшенные в воду поутру, и те, почти без исключения, выходили наружу подрагивая, полнясь изнутри угревым гибким блеском. Было, наверное, что-то особенное в этом илистом омуте у слияния дрены с рекой, особенное и для угрей, и для отца. Потому что именно сюда, весной и летом после маминого исчезновения, отец взял манеру ходить после заката солнца, превратив рутинную

проверку вершей в полуночные бдения при свете луны или фонаря-молнии, размеченные ритмом сигарет. И мы, двое его сыновей, ходим с ним и обучаемся искусству ловли угря вершами. И случалось, мы проводили там всю ночь, покуда отец обшаривал самые дальние закоулки памяти, чтобы рассказывать нам истории, еще и еще, и всякие мудрые изречения и поговорки, еще и еще (хотя Дик никогда его не слушал, а просто смотрел в воду в том месте, где были притоплены верши), потому что ему не хотелось возвращаться обратно, в пустой дом, в холодную постель, где больше не было мамы.

Именно сюда приезжал Дик и позже, когда он стал старше и оседлал мотоцикл, через вечер по будням, на обратном пути с «Розы II», облеченный высоким доверием (дневная рыбалка восстановлена в правах) самостоятельно снимать наш урожай угрей. Мокрый, шевелящийся мешок у него через плечо, он едет домой по Хоквеллской дороге. Да, и для Дика тоже есть что-то особенное в этих волшебных вершах, которые, опусти ты их под воду совсем пустыми и безжизненными, могут вернуться назад исполненными скользкой шустрой змееобразности. Может, река знает, куда делась мама и когда и как она вернется. Может,

реке известна тайна жизни. Может, однажды, когда вытянешь верши…

Дик прикладывает бутылку (изящную бутылку, темно-коричневого стекла, с зауженным горлышком) ко рту и пьет. Откуда я это знаю? А оттуда, что я спрятался на другом берегу реки, за кромкой дамбы. (Но как так вышло, что младший брат пошел учеником в шпионы, подмастерьем в сыщики?) Дик пьет — всю бутылку одним залпом. Но сей магический акт не вызывает маму, встрепенулись-отряхнулись, чур-чура-я-жива, из реки. Хотя эффект выходит весьма экстраординарный…

Или возьмем тот, другой раз, на берегу Хоквелл-Лоуда, когда, после известных публике чудес подводного плавания, после известных опять же и весьма примечательных физиологических реакций, Фредди Парр берет угря (н-да, есть что-то особенное в этой склизкой твари) и… И Дик посмотрел на Мэри, а Мэри глянула на Дика… Неужто сей момент канул бесследно в амнезическом тумане Дикова рассудка? Нет, он плавает свободно, он отдается эхом. Ибо — что Дик берет себе в привычку, начиная с того памятного июльского дня 1940 года? Он берет себе в привычку слоняться вокруг и около Мэри Меткаф, пусть

даже и на почтительном расстоянии. Он прячется где-нибудь в Хоквелле, невдалеке от станции, перед тем как прибудет четыре двадцать четыре из Гилдси, привезя положенную партию отучившихся на сегодня школьников и школьниц, в том числе одну в ржаво-красном платье с красным святым сердцем на левой груди. Он бродит вокруг и около дороги, по которой ходит из Хоквелла в Полт-Фен некая особа. И, будучи допущен в круг прочих хоквеллских подростков (ибо с того самого дня, у Лоуда, у нас возобладала тенденция воспринимать его не столько с прежней терпеливой снисходительностью, сколько с подозрительным, выводящим его за все и всяческие скобки уважением), он дарит Мэри, если и она оказывается в общей куче, такие же долгие, сбивающие с толку взгляды.

Итак, в тот самый период времени, когда расцветающая пышным цветом, но невинная доселе страсть юного Тома пробивается сквозь первые, застенчиво-наивные, железнодорожно-вагонные стадии, другая живая душа, не больше и не меньше как душа его родного брата (вот уж повод для ревности), также страдает и томится. С той разницей, что юному Тому хорошо известно, что его печалит (хотя, по правде говоря, смелости у

него от этих знаний не прибавилось), в то время как брата мучит тяжкий недуг неизвестной науке породы. Бедняга даже и понять не может, от чего страдает.

Или, по крайней мере, есть такая точка зрения. Поскольку все эти долгие, чреватые смыслами и переменами смыслов месяцы я не замечаю и следа предполагаемой Диковой влюбленности. Ну да, конечно, время от времени он околачивается в окрестностях хоквеллской деревенской школы, когда я возвращаюсь (и Мэри Меткаф тоже) домой из школы. Но ничего особенного я тут не вижу. О печальном положении Дика мне рассказывает лично Мэри Меткаф. И, ясное дело, ничего подобного она не могла мне рассказать, пока отношения наши не достигли той степени близости, при которой подобная откровенность только и возможна, не достигли, проще говоря, сочной, зрелой стадии времен ветряка. А Дик к означенному времени уже успел устроиться помощником на «Розу II» и вроде бы с головой ушел в свой мотоцикл. Значит (целый год, и даже больше года), одно из двух: либо Дик был куда хитрей и осторожней, чем казалось, либо же — но разве я думаю об этом, покуда Мэри раскручивает сагу о тайной жизни моего собственного

брата? — правду, может статься, надо искать не в том, что говорит Мэри, а в полной противоположности ее словам. Может статься, это вовсе не Дик на странный этакий манер, но притом весьма настойчиво преследует Мэри, а не кто иной, как Мэри, жаждет поближе познакомиться с Диком, и в ловкости ему с ней не тягаться.

«Ты помнишь — конечно, помнишь — тот день, когда Фредди взял этого угря и…»

(Покуда огромные голубые глазищи летнего неба смотрят вниз, на наше любовное гнездышко; покуда солнце играет на медяно-рыжих волосках…)

«Эх, он был и здоровенный, правда? Да нет — не угорь. — (С поддевкой, но и с любопытством): — Наверное, раза в два больше, чем этот вот…»

(Покуда жужжание насекомой мелочи сливается с коровьим смачным хрумканьем…)

«Какой он? Расскажи. А твой отец или мама никогда не… Ему ведь, наверное, так одиноко, да? Неужто тебе его не бывает жаль?..»

(Покуда шелест тополей…)

«Бедный Дик».

«Ага, бедный Дик».

И правда, меня это трогает — трогает, как только может трогать младшего, но оделенного

сверх должного судьбой сына, как только может трогать любовника, уверенного (уверенного?) в своей любимой на все сто, — образ моего одинокого и осененного тьмою брата. Лишенного не только разума и образованности, но и прочих состоящих под охраною ветряных мельниц благословенных даров судьбы. Он должен знать, он должен учиться. Если и не тому, как складывать слово к слову на листе бумаги и претворять их в речь, так хотя бы этому, иного рода волшебству.

Молодая любовь, молодая любовь. Как же ей невмоготу оставаться простой и невинной. Как ее тянет расправиться из края в край и возвестить свою — единственную — правду. (Потом она усыхает и съеживается. Потом она становится пугливой и вьется сама вокруг себя, словно боится вот-вот исчезнуть…) Но молодая любовь, свежая любовь, первая любовь — как ей хочется все и вся объять, как жаль ей всех лишенных ее нехитрой панацеи…

Таков был и я, в открытом нашем, над лоудской водою будуаре, покуда где-то вдалеке мир слагал свою хронику великой войны, покуда Мэри рассказывала мне о вдовом своем отце и о сестрах из Св. Гуннхильды (как же непросто быть маленькой Мадонной), а я рассказывал Мэри

о моем, с искалеченной ногой и тоже вдовом, отце — и разве же я мог не сострадать берущей за душу повести о страданиях собственного брата? (Как наша зависть, покаявшись, разрешается во милосердии.) И разве Мэри могла не признаться мне, что даже до того дня, у Лоуда, если уж честно, если совсем напрямую, ей было — любопытно? И, сложивши воедино эту жалость и это любопытство, разве могли мы не составить плана?

«Ага, бедный Дик».

«Бедный Дик, что же ему остается, кроме мотоцикла».

А если вы добавите к жалости и любопытству малую толику страха — ибо Мэри-то покаялась еще и в том, не без привкуса этакой возбужденной, восторженной дрожи, что, кроме того что ей любопытно, она еще чуть-чуть, самую малость… а я сказал (такой уверенный в себе), что Дик и мухи не обидит — то вы получите уже не план, вы получите то запутанное черт-те что, из коего родятся истории.

Итак, вот вам история о том, как Мэри, при помощи и всяческом содействии Тома, взяла на себя Диково образование, столь грубо прерванное в недавнем прошлом. Его образование в области

чувств, сиречь наставление в делах сердечных. Вот вам история о том, как Мэри пыталась учить мычащего монстра, доставшегося мне заместо брата.

Или, напротив, о том, как свойственное Мэри любопытство…

Или, напротив, о том, как малая толика знаний…

Это история Мэри. Я слушал ее с продолжением, после обеда, по понедельникам и четвергам, все лето 1943 года. В то время как по средам и субботам, после ужина, а иногда еще и по воскресеньям…

Это история Мэри, сведенная воедино и истолкованная мной. И выходит, откуда мне знать, как оно на самом деле?..

По свидетельству очевидца, Дик, съезжая каждый второй вечер с дороги Гилдси — Хоквелл, чтобы сделать крюк по проселку, идущему на север вдоль Стоттовой дрены, с тем чтобы доставить к нам домой в виде мешка с живыми угрями то самое, что в нелегкие дни войны, во-первых, составляло основу обычного нашего меню, а во-вторых, служило источником левого заработка, не только проверял верши и складывал улов в мешок. Он, делая скользкое это дело, не спешил.

Он даже прерывался иногда (а «Velosette» стоял тем временем на страже), чтобы посидеть и поглядеть в реку, на манер, который только и можно охарактеризовать как задумчивый, если не отрешенный. Как если бы он все еще думал — хотя ее уже шесть лет как не было на свете — о своей исчезнувшей маме; или, весьма вероятно, о другом объекте, столь же чарующем и женственно-манящем.

Очевидца? Так точно, ибо однажды вечером, в самом начале мая, за Диком наблюдают. Нет, это не младший братец, на сей раз не он. И не его воскресшая из мертвых мать. Это Мэри. А насчет шпионских я-вижу-а-меня-не-видать качеств противоположного берега, это я ее подучил. Она глядит, невидимая глазу. Однако через вечер она снова тут как тут, и на сей раз без всякого прикрытия. Она сидит на голом месте, на покатом склоне дамбы (колени к подбородку, руки обхватили голени, щекою на коленях), но так легко и неподвижно, что проходит некоторое время, прежде чем Дик, старательно переправляющий угря за угрем из верши в мешок, вообще ее замечает.

А едва заметив (или, по крайней мере, я так себе все это представляю), застывает, как застывают, ошарашенно, не веря своим глазам, люди, чьи

мысли отливаются вдруг в материальную форму.

Мэри кричит через воду: «Привет, Дик».

Дик ничего не говорит. Потом, когда не поддающееся учету и контролю количество речной воды уже успело между ними проскользнуть: «Привет».

«Много набрал?»

«Мы-много?»

«Угрей».

Хорошенькое дело. Потому что Дика просят, не явно, не в лоб, посчитать. Задачка не из легких и в лучшие-то времена. Он может вам оттарабанить от одного до десяти, потом доковылять, ежели повезет, через второй десяток. Но даже и в лучшие времена угрей, сплетенных в единый шевелящийся клубок на дне мешка, не так-то легко сосчитать. А еще под этим взглядом…

И он кивает. Он молодец, он находит правильный ответ.

«Й-есть чуток».

Мэри отрывает щеку от колена.

«Знаешь, если у тебя окажется вдруг лишний… У меня отец их очень любит. И я тоже. Мы едим рыбу каждую пятницу, сам знаешь. Нельзя будет у тебя разжиться парочкой? Или даже одним большим — тоже неплохо». Она поудобнее устра-

ивает подбородок на коленях. «Не найдется для меня хорошего угря?»

Теперь Дик понял, или ему кажется, что он понял — потому что само понимание уже сбивает с толку. То есть он понял не только прямой смысл просьбы, но и то, что скрывается за этим смыслом, на невероятной, захватывающей дух глубине. Он понял, что его, Дика, попросили предложить ей, Мэри, — ага, ведь это либо Мэри, либо мираж — некий Дар. То есть нечто такое, чего ни один человек (если .не считать семейных ритуалов, связанных с днями рождения, когда Дик — а у него золотые руки — радовал маму рукотворными чудесами вроде копилки, сделанной из банки из-под какао) никогда еще от него не ждал. Дар. Подарок. Его собственная вещь, которая другому человеку будет нужна. И понимание это настолько огромно, что он никак не может претворить его в Здесь и Сейчас.

Он сидит на берегу реки, с шевелящимся между колен мешком. Река же льется, не мигая, мимо.

«Ну, не важно, — говорит наконец Мэри, вставая и отряхивая юбочку из дешевой портьерной (война) ткани. — Может, в другой раз. — А затем, с одним из этих ее быстрых, между-нами взглядов, который не теряет силы даже через сорок футов

речной воды: — Я могу прийти еще раз, правда? Ты ведь будешь здесь — в пятницу, да?»

И в Диковой картине мира расцветает вдруг еще один монументальный концепт. Ибо сие не только означает, что это существо на дальнем берегу питает к нему интерес и наблюдает за ним (а разве он сам за ней не наблюдал?), но и предполагает нечто настолько поразительное и беспрецедентное, что Дику, только для того, чтобы хоть как-то оценить его значимость, приходится одновременно открыть для себя прежде невообразимую область духа.

В этом есть отголосок того, что другие люди называют (пусть даже Дику никогда не доводилось слышать фразы) «назначить свидание». И смутный образ заколдованного царства, доступного бессчетным посвященным (в том числе и крошке Тому), и паролем в это царство может быть невиннейшая фраза, но произнесенная особым образом, на легком придыхании, вроде «Встретимся…», «Увидимся…», «Буду ждать тебя, если…»

От мотоциклов такого ни в жисть не дождешься.

«Ды-да, — говорит он. — Зы-здесь».

Она уходит, одарив его молниеносной улыб-

кой, прежде чем он успевает сказать еще хотя бы слово.

И в этом ее уходе есть нечто странное. Она уходит, но, строго говоря, она не ушла. Что-то после нее осталось. Чувство. Красивое чувство. И мягкий вечерний воздух пропитался им насквозь. Им пропиталась и Хоквеллская дорога, вдоль по которой Дик мчится домой, забросив за спину мешок с угрями, которым, ясное дело, не до красивых чувств. Им пропитался даже дом, вечером (я все вижу, но Мэри ничего не говорю), когда Дик, трепеща ресницами, возится и ковыряет вилкой в спроворенном из угря ужине, так что даже отец замечает и спрашивает его:

«В чем дело, Дик? Что случилось — болит чего?»

В какие это веки Дик терял аппетит да и вообще находил что-то особенное в обычном майском вечере?

И снова (в ту же пятницу) Дик навещает верши на Стоттовой дрене. И снова на том берегу, как зачарованный дух места, является ему все то же существо. И снова молча течет между ними река, вызывая тени Геро и Леандра. И снова существо повторяет свою просьбу, голосом девически-нежным и зыбким, как вода, просит поднести ей угря

в дар. И на этот раз она кое-что с собой принесла. Ведро. Подойник (в который до недавнего времени, покуда строгая рука Харольда Меткафа не дала ей по рукам за то, что не след ей опускаться до черной работы, Мэри пыталась доить отцовских фризок).

Значит, она не просто так ля-ля. Значит, она и в самом деле хочет угря в подарок. Потому что она взяла с собой, в чем нести его обратно, домой…

«Вот этого, — говорит Мэри, — какой красавец». И Дик, как заправский торговец рыбой, вынимает их из мешка, одного за другим, и показывает на свет.

«Ты хе-хочешь?»

«Да, пожалуйста, — если тебе не трудно. Пожалуйста».

Хотя — как, интересно, вы собираетесь переправить угря через реку? Потому что от него, конечно, трудно ожидать, чтобы он сплавал на тот берег и сдался прямо в руки, распишитесь-получите.

Дик смотрит на Мэри, с подарком в руке.

Но у Мэри и на это есть ответ. Она все продумала. Она ставит ведро наземь. Занимает прежнюю, колени-к-подбородку позу.

«Ты ведь можешь переплыть. Я видела, как ты

плаваешь, — раньше».

И — если оно вообще когда-то окончательно уходило в Лету Диковых мозгов — оно возвращается, оно всплывает, неотвязное и жаркое, на поверхность: это воспоминание, которое будоражит и приводит в замешательство, раздражает и делает острей красивое чувство. Другой угорь, который оказался тогда в ситуации своего рода интимной близости…

По меньшей мере шесть роев майских мошек вьется Над рекой, по меньшей мере дюжина ласточек закладывает, подобно купидонам, виражи над самой поверхностью Лима, прихлебывая на ночь — чирк — водички и подставляя вечернему солнышку белые, как у херувимов, грудки, покуда, застыв неподвижно, Мэри смотрит на Дика, а Дик смотрит на Мэри. Покуда (какая тут, к чертям собачьим, неподвижность) избранный угорь (он не слишком велик, но и не какая-нибудь там салага) извивается и бьется у Дика в кулаке. И покуда, если уж на то пошло, и Мэри тоже, под юбкой, передергивается легкой судорогой (больно уж острое воспоминание). Потому что, хотя по нынешнему ее поведению этого и не скажешь, Мэри терпеть не может угрей. Глаза бы на них не смотрели с тех самых пор, как…

Однако нечего и говорить: ничто на свете, даже страсть, не может нас заставить принять то, отчего выворачивает наизнанку…

Первое движение остается в конце концов за Мэри. Она поворачивает голову, нетерпеливо, разочарованно, как будто готова вот-вот уйти. И как только она делает свое первое движение, Дик скидывает свободной рукой с ног свои «веллингтоны» [45] и уходит, на манер торпеды, в реку. И не только уходит, но, едва ли не в тот самый момент, появляется на другом ее берегу, ни разу не пробив поверхности воды посредине, и выбирается наружу, изливая потоки, в пятнах ила, по-прежнему сжимая в руке, что самое поразительное, совершенно ошалевшего угря (вот уж, право, кулак, который в состоянии не только удержать угря, но не выпустить его даже и под водой); так что Мэри вскакивает на ноги, взвизгивает, делает шаг назад, потом шаг вперед, хихикает над собственным взвизгом, смеется, чтоб не хихикать, и только после этого снова берет себя в руки.

Теперь, однако, Дик должен преподнести свой дар, а Мэри должна его принять. Он подхватывает ведро, спускается к воде, зачерпывает до

---

[45] Примечания: 45
Особого рода высокие сапоги.

половины и бросает туда угря. Потом — ресницы трепещут так часто, что сбивают в водную пыль сбегающие с мокрых волос капли, — вручает ведро Мэри.

Мэри берет; заглядывает внутрь.

И — странное дело. Ибо, несмотря на свое физическое отвращение к угрям, для которого имеются достаточно веские основания, ей приходится признать, что, вернувшись в родную стихию, перестав извиваться и выгибаться и свернувшись тихо, в состоянии шокового оцепенения, колечком по дну ведра, угорь не выглядит таким уж некрасивым. У него глянцевитая гладкая кожа. У него блестящие янтарного цвета глаза, которые, насколько нам известно, очень даже могут оказаться окнами крохотной рыбьей души. У него маленькие жабры, и он ими дышит, а за ними сразу маленькие грудные плавники, не лишенные сходства с ходящими ходуном ресницами Дика…

Мэри склоняется над ведром. Дик тоже нагибается; подходит ближе.

«Спасибо тебе, — говорит Мэри. — Спасибо. Такой красивый». Как будто собирается взять его в дом и кормить, в стеклянном аквариуме, самыми изысканными блюдами со своего стола.

«Кра-асивы», — проговаривает Дик, глядя на Мэри. Слово, которого он ни разу до сей поры не употреблял.

Вот так Дик и начал совершать ухажерские свои рейды на Хоквелл Лоуд. Или, если угодно, Мэри отработала вводную часть запланированного курса обучения…

(Давайте не будем вдаваться в детали того, как в тот же самый вечер Дику захотелось пройтись вместе с Мэри до фермы Полт-Фен. А Мэри сказала: нет — что, во всех этих пропитанных водою тряпках? И без «веллингтонов»? Но дала обещание встретиться с ним на следующий день. Или как Дику, после того как Мэри ушла, ничего не оставалось, кроме как плыть обратно той же самой дорогой, через фенлендский Геллеспонт, туда, где дожидался одинокий и — кто знает? — изъеденный ревностью мотоцикл; и, будучи вынужденным по прибытии домой объяснять, откуда он такой мокрый взялся, измыслить, что он свернул в канаву, дабы избежать столкновения с каким-то слетевшим с катушек грузовиком — история, которая, пожалуй, выглядела бы вполне убедительно и ознаменовала бы собой никак не свойственную Дику вспышку вдохновения, случись только и на мотоцикле, за компанию, хоть

пятнышко грязи. Или как Мэри, расставшись с Диком, пошла себе, с ведром в руке, в сторону Полт-Фен, покуда Дик на нее смотрел, но, едва лишь выйдя за пределы дальности, остановилась у одной из впадавших в Хоквелл Лоуд дрен и тихой сапой выпустила угря в воду, где, безо всякого сомнения, очнувшись от заклятия залитой призрачным светом софитов человеческой интриги, тот вернулся к анонимному и скрытому от посторонних глаз угребытию…)

Но — как споро, интересно знать, учился Дик? Он что, делал успехи? Он оказался на поверку способным и старательным учеником? А Мэри — вышел из нее хороший учитель?

А тем временем, с такою щедростью и тактом уступая Дику среды и субботы и ожидая появления на свет иного, просветленного истиною брата, чем крошка Том заполняет освободившееся время? Так точно, дети, угадали. Своею собственной учебой. Если хотите знать, в то переполненное жизнью лето сорок третьего года, когда чаши весов большой войны едва заметно тронулись в обратную сторону (победа в Африке, немцы отступают на востоке), он в первый раз прочел «Французскую революцию» старика

Карлейля. [46]

Посвящает ли Дик своего, судя по всему, беззаботного, зарывшегося в книжках брата в перипетии этой на священном огне просвещения замешенной связи? Снабжает он его — а параллельно, на фронтах Второй мировой, наши начинают брать верх — своими собственными, отрывистыми и возбужденными коммюнике? Нет. Но каждый субботний вечер и всякий раз вечером в среду он учиняет над собой обряд, в былые времена попросту невообразимый. Он принимает ванну. В нашей старенькой эмалированной ванне, рядом с кухонной плитой, он измывается над собственным телом при помощи мыльной воды и жесткой терки. С достойным густых завес пара и целой симфонии всплесков упорством он пытается изгнать с его поверхности, словно позорное пятно, всякий намек на небывало стойкий и низменный запах ила.

---

[46] Примечания: 46

Фундаментальная популярная «Французская революция» Томаса Карлейля, впервые вышедшая в 1837 году, определила массовое восприятие и оценку основных событий и персонажей революции на долгие годы вперед: как в Англии, так и за ее пределами (рус. перевод 1907 г., Карлейль, переиздание М.: Мысль, 1991, почему-то — «к 200-летию Великой французской революции».) Не в последнюю очередь книга обязана своим успехом густому и яркому публицистическому стилю Карлейля, давшему, среди прочего, свое лыко в строку стилистических и смысловых игр Грэма Свифта.

Вот до чего можно докатиться, если вы с головой уйдете в образовательный процесс…

Но толку от этого ноль. Потому что, как ни три, ни скреби, никуда от него не деться — другие сразу чуют — сей остаточный душок речного дна; и, пусть даже после яростных этих омовений он надевает на себя все свежее, он всего лишь оборачивает плоть старою скверной. Потому что миссис Форбс, которая обстирывает семейство Крик, все никак не может, хотя и не скупится ни на мыло, ни лишний раз прополоскать, отбить у Диковой одежды эту предательскую вонь.

Однако именно таким, промытым до последней поры и очищенным от скверны — по крайней мере, это ему так кажется, — причесавшись, прилизавшись и даже намазав волосы бриллиантином, наскоро проглотив свой ужин, Дик, не говоря ни слова, уносится на мотоцикле прочь каждый вечер, по средам и субботам. Отец наблюдает. Симптомы налицо; и даже вызывают в нем известное чувство облегчения (значит, он хотя бы с этой точки зрения оказался нормальным, в конце-то концов…). Но отец не знает, хоть это и небезынтересно, за кем ухлестывает Дик во время своих два-раза-в-неделю вылазок. Как не знает он и того, что причина, по которой его младший

сын никогда не встречается с Мэри Меткаф после возвращения Дика с работы, — это чтобы Диково образование…

Ну так он в итоге учится чему-нибудь? Потому что, если он учится, разве не должны эти уроки вылиться в конечном счете в некий результат? И как долго все это будет продолжаться? До каких продвинутых и обогащенных опытом стадий должно дойти дело? А если допустить, что тут не простенькая схема учитель—ученик; если допустить, что Мэри тоже вознамерилась кое-чему поучиться. (О, как милосердие, претворившись обратно в ревность…)

И если он учится, если он движется вперед, откуда этот озадаченный и сбитый с толку вид? Потому что, с ходом штудий, он все чаще стал проступать на невыразительном и непроницаемом лице Дика, непривычном к такого рода работе. Всего только легкие тени, мельчайшие морщинки. Человек посторонний даже и внимания не обратит. Брат обратит. И кто знает, о каких глубинных пертурбациях у лиц, подобных Дику, может говорить малейшая рябь на поверхности? Он что, усвоил, как это нелегко — учиться? Он чего-то не понимает? Он понял, что, не возьмись он за учебу, так и не узнал бы, что ему до всего до

этого не дотянуться?

Почему он сутулится и смотрит в землю? Почему, долгими летними вечерами, вернувшись домой, он застревает у пристройки, как в былые времена, и возится там со своим мотоциклом, «чинит» его, шепчется с ним,, как с хромированным каким исповедником?

Может ли так случиться, что понимание и впрямь забрезжило и что Дик, пребывающий до сих пор в неведении даже и относительно этого факта, осознает, что он не такой, как все? Он дефектный; он бракованный. И раз оно так, может, пришло время посмотреть правде в глаза? Может, пришло время (исповедуется он многострадальному своему «Velosette») подыскать что-то более удачное взамен незадавшегося опыта под названием Дик Крик…

И вероятно, он все-таки учился, или, вероятнее всего, учился, ничему не научаясь, и весь этот курс обучения вышел в итоге куда как более серьезным — и опасным, — чем то казалось нам. Потому что однажды за ужином (не угри на сей раз, а тефтели из колбасного фарша) Дик задает вопрос, как если бы Мэри что-то ему объяснила, а теперь он хочет, чтобы ее слова подтвердили:

«А-а откуда берутся де-дети?»

У отца в глазах паника. Он смотрит на Дика. Он смотрит на меня — вопросительно, как будто в чем-то упрекает и при этом просит помощи. Снаружи, за кухонным окном, набрякшая дождем летняя грозовая туча наскоро дожевывает горизонт.

«Откуда они берутся?» — эхом повторяет он, глядя уже не на меня и не на Дика, а вокруг себя, отчаянно цепляясь взглядом за кухонную утварь, как будто бы она ему сейчас подскажет (в печке пекутся… заводятся сами собой в корзинке для хлеба, приходишь утром, глядь…).

Наконец, отложив нож и вилку, проглотив застрявший как-то сам собой у него за щекой комок тефтелины, он говорит, и на лице у него написана мрачная решимость (никаких баек на этот раз, никакого вранья насчет аистов и кустов крыжовника):

«Они берутся от любви, Дик. Они появляются от — Любви».

Он произносит волшебное слово и тут же плотно сжимает губы — как будто слову придется теперь собственными силами перебираться к Дику через головокружительную пропасть и обратно, как ни трепыхайся, его уже не пустят.

Но Дик требует ответа, а не очередной голо-

воломки.

«Любоф, — говорит он. (Ему и раньше доводилось слышать этот простенький двусложник, но он никогда…) — Что такое лю-любоф?»

И сведенные в струнку губы отца открываются на долю секунды, чтобы сложиться в старый добрый пустотелый ноль.

«Любовь — это чувство, Дик. Хорошее чувство. Вроде того, что ты испытывал к своей бедной маме. Или она — к тебе».

Он смотрит в тарелку. И по тарелке тут же трогается кругом вечный суетливый паровозик.

«То есть я хочу сказать — это очень важная штука. Чудесная. Самое прекрасное, что только есть на земле…»

Внезапная и быстрая скороговорка дождя. Первые тяжкие капли падают, возвещая майский ливень, на овощные грядки и слезными дорожками скользят по стеклу. Вечером отец (с помощью Дика) поднимет заслонку, с необоснованной яростью налегая на ручку подъемника.

Дик сидит за столом, за ужином. Его большие руки, его двадцать прожитых лет никак не рифмуются с выражением на лице как у потерявшегося маленького мальчика.

«Лю-любоф», — проговаривает он. Еще одно

трудное слово.

33
КТО СКАЗАЛ?

«Да вы, наверно, шутите, сэр. Вся эта чушь насчет „однажды вы станете взрослыми“, все это дерьмо насчет „однажды вы будете точь-в-точь как ваши родители“. Даже если все это и так, кто сказал, что мы вообще *задержимся* в этом мире достаточно долго, чтобы успеть стать родителями?..»

«Герцогская Голова». Фальшивый красный бархат. Псевдотюдоровские панели из поддельного дуба и на них псевдогеоргианские каретные фонари. Между случайных звуков постоянный «клыбрдым» игровых автоматов и бибиканье игрового телешоу. Какие мы скорые насчет рвануть вперед… и как мы продолжаем цепляться за детские наши погремушки…

И как же быстро наш сострадательный и угодливый — на пару минут — Прайс снова набрал боевой пыл. И всего-то пропустил за воротник одну-единственную «Кровавую Мэри». И допивает вторую — одним глотком. (Куда же подевались пиво и доброе расположение духа?)

«И кто сказал, что, даже если мы задержимся, нам захочется заводить детей — глядя на то, что творится вокруг? Кто сказал, что в перспективе у нас мир, который не стыдно будет им оставить?»

(Однако, если никто не станет заводить детей, вообще никакого мира не будет, так на так…)

«Кто сказал, что мы хотим рожать детей в любом из возможных здесь и сейчас миров?»

Он смотрит на меня, сей отец-основатель Холокост-клуба, этот обозленный, напуганный, готовый все и вся отрицать мальчик.

(Да-да, это наша вина, Прайс. Старшего поколения. Мы не были бдительны. Мы дали миру ускользнуть из рук. Хотя обязаны были его спасти.)

«Представьте себе, сэр, что вы бы еще могли завести собственных детей, чисто теоретически… вы взяли бы на себя?..»

И забывается. И тут же вспоминает снова. И заливается краской; и вид смущенный, виноватый, испуганный. Вытирает кляксу томатного сока с верхней губы.

Фруктовый покер проблевался наконец. Космические пришельцы кончились.

«Извините. Я не хотел…»

34
СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ

Да нет, все в порядке, потому что, видишь ли, когда-то у меня был ребенок. Нет. Я в буквальном смысле слова. Я не про нынешние времена, я про 1943 год (ты ведь не стал бы называть ту эпоху золотым веком нашей цивилизации, верно?). Или, может быть, лучше сказать по-другому: когда-то у Мэри был ребенок. Ее менструальный цикл, которым она так гордилась и о котором столько говорила, зациклился. Месячные не пришли в положенный срок, а потом мало-помалу у нее внутри стали происходить разного рода превращения, в полном согласии с принятой в подобных случаях процедурой. И, шестнадцати лет от роду, в 1943-м, в компании всех этих немногим-более-старших-чем-я солдат, моряков и летчиков, которые торопливо засевали семенем подвернувшиеся им делянки, откладывая таким образом, в наступившую эру вселенского кризиса, хоть что-то на будущие времена, я также оказался лицом к лицу с перспективой нечаянного отцовства.

Или мог оказаться. Если бы Дик за ужином

не задал одного вопросца… Потому что откуда мне было знать, полагаясь только на то, что мне рассказывала Мэри, как далеко у них заходили эти самые уроки, по вечерам, каждую субботу и среду?..

Он хочет подарить ей еще одного угря. Еще один подарок — ей от него. Он всякий раз задает ей один и тот же вопрос, кожа выскоблена добела, волосы напомажены, когда ей захочется еще одного? Так что Мэри просто вынуждена в конце концов сказать, что есть и другие вещи, помимо угрей… Но — раз уж речь у них зашла об угрях (а Дик-то ведь и ходит сюда затем, чтобы учиться) — Дик никогда не задавал себе вопроса, почему же угрям в речках перевода нет и как так получается, что ты их черпаешь и черпаешь из воды полными вершами и каждый раз появляются новые? Иными словами, откуда берутся маленькие угри?

И Дик навостряет ушки. А Мэри начинает объяснять. Но быстро понимает, что пример она выбрала неудачный; потому что, едва успев сказать, мол, есть угри-Мамы и угри-Папы (хотя ну-ка попробуй отличить, кто из них кто?), она тут же теряет почву под ногами. Потому что, по правде говоря, никто и понятия не имеет, как,

собственно… Она, сама того не желая, поднимает зоологическую проблему, еще с незапямятных времен не дававшую покоя целым поколениям ученых.

А я, в свою очередь, знакомлюсь (излазив вдоль и поперек, по заявке Мэри, Справочную библиотеку г. Гилдси) с отважным Йоханнесом Шмидтом…

И Мэри приходит в голову, что неча воду в решете носить. И она принимается рассуждать о Дырочках и Штуках.

Но уроки биологии Дику без надобности. То, чего он хочет, называется Ль-ль-люббоф. Он хочет Чудесную Штуку. Потому что он спрашивал у отца. И отец ничего не говорил про Дырочки и Штуки. А Мэри говорит, но ведь они и есть часть этой самой (как-то оно все запутывается) твоей Чудесной Штуки. А Дик и говорит, что же тут прекрасного, если засовываешь что-нибудь в дырку? А Мэри говорит, может, он лучше попробует, а потом уже и будет говорить? И если он прямо здесь и сейчас покажет ей свою…

И в результате, после долгих и многотрудных уговоров — потому что Дик сперва никак не хочет соглашаться на такую нелепость, и, даже почувствовав, как у него между ног и впрямь

разгорается пламя, он испытывает потребность, ведь с ним уже один раз такое было, прыгнуть в ближайший водоем и пресечь все это дело на корню, — выясняется, что он и в самом деле Слишком Большой.

Или это просто очередная версия Мэри. Потому что поначалу Мэри говорила совсем другое: мы никогда по-настоящему… я только хотела…

Вот Мэри и говорит, что Дику нечего переживать — что у него, мол, слишком большой. Это не его вина, да и беды в этом никакой нет. Потому что, ему никогда не приходило в голову, что, может, это у нее Слишком Маленькая? И глядишь, в один прекрасный день — теперь, когда он уже все-все про это знает, когда он в этом деле ас, — он кого-нибудь встретит, у кого — как раз для него.

Однако вместо того, чтобы успокоить его, вместо того, чтобы поставить на нужные рельсы и довести наконец до конца весь курс обучения, подобный оборот дела ставит перед Диком неожиданные и неразрешимые вопросы. Потому что — разве можно заниматься такими интимными вещами не с одним и тем же человеком? Этой Чудесной Штукой — столь редкостной и зыбкой? Разве может так быть, чтобы другие?..

Что Мэри?..

Значит, он ей не нужен. Он дефектный, он с изъяном.

Его ресницы начинают ходить ходуном. Его пальцы сжимаются. Он устраивает своей, судя по всему, охладевшей к нему зазнобе сцену, запинаясь, бормоча и долдыча; сцену, смысл которой, если перевести его на человеческий язык, сводится примерно к следующему бескомпромиссному заявлению: нет уж, давай говорить прямо, я люблю тебя, и только тебя. А раз уж ты единственная, кого я люблю, будь добра сделать мне ребенка. Потому что любовь, она ведь для того и есть, разве не так? Отец так сказал. И я так хочу. И чтобы я больше не слышал всей этой про-бычков-и-петушков чуши насчет того, как Штуки входят в Дырки.

И он, для вящей убедительности, берет ее своими большими, не ведающими, что творят, руками за плечи и встряхивает как следует…

И что же Мэри сказать ему в ответ? Что она его любить не может (не говоря уже о детях)? Потому что как раз об эту пору она любит его меньшого брата? И он единственный, кому она… И не только любовь (хотя она пока ни в чем не может быть уверена), но и ребенка тоже. Вот она и говорит:

ладно, ладно, хорошо, будет ему ребенок. Он ее напугал, так тряхнул… Он встряхивает ее еще раз. Да, да, конечно, она ничего такого не хотела сказать. Они станут любить друг друга, да, и у них будет ребенок. Задача не из легких. Ей придется делать вид, что существует непорочное зачатие (а вдруг оно и впрямь существует: ведь с угрями-то, судя по всему…). Но ведь, в конце концов, реальной опасности нет и быть не может, потому что он ведь и в самом деле слишком большой, и даже представить себе нельзя, чтобы этот — чтобы эта штука… И, рано или поздно, Дику просто придется признать, придется принять как данность, что никакого ребенка не будет.

И всякий раз теперь, когда наш Дик приходит на свидание, пусть даже Штука внутрь и не лезет, он любовно обнимает Мэри, всю, руками, и очень старается сделать с ней ребенка. Он любовно водружает руки Мэри на живот, то есть туда, где, если верить Мэри, ребенок подает первые признаки жизни. И, после всех этих встрясок (хотя его свободная рука и оказывается порой, самым настораживающим образом, у Мэри на плече или на шее), он тих и доверчив, как ягненок, и ждет, когда проклюнется на свет его дитя.

И дитя не заставляет себя ждать…

Или это Мэри сочинила, всю историю. Потому что откуда мне знать, кто даст мне сто процентов уверенности в том, что когда Мэри сказала мне: у Дика, мол, слишком большой — он и в самом деле был слишком большой? И что Мэри не доказала себе:

Слишком Большой или не слишком, но в дело годен — еще в самом начале нашего маленького, с образовательными целями, эксперимента?

И пусть даже он — этот ребенок, ребенок, которого нельзя пока ни увидеть, ни даже потрогать, который пока всего лишь некое странное ощущение у Мэри в животе — мой, что Мэри скажет Дику? Потому что ребенок — это не такая вещь, которую можно скрывать, даже от полудурка. И что сделает Дик?.. И если принять во внимание всю эту зыбкость по краям, куда ни плюнь, если принять во внимание вероятность — вероятность, не более того, — что он и в самом деле от Дика, тогда, Христа-Бога ради, что же мне-то делать?

Но Мэри клянется и божится, святой истинный крест и чтоб мне сдохнуть, что не от Дика. И там, на берегах Хоквелл Лоуда, мы по-прежнему прижимаемся, льнем друг к другу и вздыхаем в унисон. Значит, у нас будет маленький. И он уже

в пути. Но мы ведь любим друг друга, разве не так? Да, мы любим друг друга. А любовь идет своим чередом, разве не так? А это значит, что нам придется поставить весь мир в известность, только и всего, и получить свое. А потом пожениться. Так всегда бывает. Это старая как мир история…

Да-да, его уговорили, убедили, уверили; и, надо признаться, ваш учитель истории даже — самую малость — горд тем (при условии, что…), на какие он способен подвиги.

Но, рано или поздно, поскольку все равно скоро станет заметно — и поскольку против того, чтобы поставить мир в известность, никто особо не возражает, — кто-то кому-то должен будет сказать.

И мы знаем, кто сказал первым, что сказал и кому. Мы знаем, что она сказала. Мы знаем, что она перевела стрелку с прямой линии меж двух влюбленных братьев — на третью, удобную во всех отношениях колею, по фамилии Парр. И мы знаем: она это сделала, чтобы защитить меня.

Мы знаем, что сделал Дик. Он пошел, накачал Фредди пивом и столкнул его в реку, ударив предварительно бутылкой по голове.

И мы знаем, что крошка Том, чья разумная инициатива во всей этой истории как-то уж больно

подозрительно сведена к нулю, в свою очередь стал делать. Наблюдать; взвешивать вещественные доказательства. Сопоставлять факты. Он заметил, как синяк на синяк… Он выудил бутылку… Ну да, вот он и попался: исторический метод, вся эта игра в объяснялки: так, выходит, это всерьез? Это способ добраться до истины — или, ежели на твой лад, Прайс, способ выдумать очередную историю и оставить реальность с носом.

Однако времена теперь в лимских землях не самые благоприятные для того, чтобы выдумывать сказки. Реальность уже успела заявить о себе — в форме отмокшего в речной воде трупа. И она не собирается сдавать позиций, она все более ощутима и давит все сильней…

Давайте, однако, не будем верить впечатлению, что наша востроглазая ищейка, наш юный изыскатель в области причин и следствий спокоен, уверен в себе и аналитически беспристрастен. Мы ведь знаем, что это не так. Он боится. Он запирает от брата дверь. И внутри у него нехорошее такое чувство.

А еще мы знаем, что он делает, в полном противоречии с им же лично собранными сведениями (явное предательство по отношению к собственным методам), в тот день, когда коронерский

суд в Гилдси записывает в анналы счастливое словосочетание «несчастный случай» и он, окрыленный счастливою вестью, спешит сообщить ее и встречает Мэри, чьи представления о причинах и следствиях оказываются на поверку менее гибкими, нежели его собственные.

Он устраивает цирк собачий (с драньем травы). Выходит — потому что хочет выйти — из себя.

Ну почему, почему все на свете нельзя приписать несчастному случаю? Никакой истории. Ни вины, ни обвинений. Просто несчастные случаи. Несчастные случаи…

Но Мэри знает, от себя не убежишь. Она сидит, недвижная, как камень, возле старого ветряка, ушедшая в себя. Ушедшая, погрузившаяся настолько глубоко, как будто бы назад, наружу, она из себя больше никогда не выйдет. И, погруженное в Мэри, которая сидит, такая погруженная в себя, сидит еще одно крошечное существо.

А потом из этого дважды закрытого и замкнутого царства доносится голос Мэри: «Я знаю, что мне делать».

35
НЕВЕДОМАЯ СТРАНА

И вот однажды, отчитавши урок по Французской революции, я прихожу домой и вижу, что моя жена успела совершить воистину революционный — и таинственный — шаг…

Я поворачиваю ключ в замке. Я слышу звуки, похожие на плач младенца. Я думаю: наш золотой ретривер, Падди, подхватил какую-нибудь собачью болезнь, от коих собакам полагается скулить. Но — снова тот же самый звук. Я вхожу в гостиную. И — вот она, тут как тут, сидит на диване, в пятницу, вечером, в половине пятого, ждет меня с работы, с младенцем на руках.

«Я же тебе говорила. Смотри. Говорила же, правда? Вот! Я говорила, что у меня будет ребенок».

И она никак не похожа на гнусного детокрада, не похожа на закоренелую преступницу. Она похожа на молоденькую маму, которая впервые в жизни стала мамой. С ее лица спадает привычная последовательность масок (женщина климактерического возраста, бывший соцработник, на-всю-оставшуюся-жизнь умрем-но-не-сдадимся

наперсница учителя истории); она вся сплошь — невинность и девическая кротость. Мадонна — с младенцем.

«Господи Всемогущий!..»

Теперь следи за каждым своим шагом, учитель истории. Может быть, это совсем не твоя область. Может быть, история теряет здесь силу, а время течет вспять. Перед тобой твоя жена; ты знаешь, Мэри, та самая, которую, так тебе казалось, ты знаешь. Но, может быть, это неведомая страна.

«Мэри, какого черта?..»

«Я тебе говорила…»

«Но как?..»

Сомнений быть не может, лик ее безоблачен и ангелоподобен. Пятьдесят два года. Она красавица.

«Взгляни. Подойди и взгляни».

«Где ты его взяла?»

«У Бога. Бог мне его дал».

«Мэри, ты хорошо себя чувствуешь?»

«Смотри».

Ваш учитель истории стоит в дверях, застывши перед странной этой сценой Рождества, в позе пораженного священным трепетом пастуха (снаружи, в ночи, стадо его учеников разбрелось кто куда, узнав, что забрезжила заря новой эры).

В деснице у него — вместо посоха — ключ от парадной двери; в шуйце — вместо светильника — старенький потрепанный учительский портфель, скромный символ профессии.

Он делает шаг вперед. Подходит к дивану. Но не склоняет головы перед завернутым в одеяло младенцем (красное, сморщенное лицо, маленькие беспокойные ручонки), не преклоняет колен, не складывает ладоней и не позволяет взору своему застыть в почтительном изумлении.

В глазах у него застыло неверие. Ребенок вопит. Но он настоящий.

«Мэри, будет лучше, если ты объяснишь мне все как есть».

«Ну вот, из-за тебя он расплакался».

«Откуда ты его?..»

«Я тебе уже сказала».

«Это… Это же полная чушь».

«Ну, ну. Тише, мой маленький».

Девочка с куклой.

«Ты должна мне сказать. Там, откуда ты — взяла — этого ребенка…»

«Не пугай его».

Она глядит на мужа широко раскрыв глаза, взгляд туманный.

Засим — поразительная сцена, где всякие доб-

рые чувства сведены на нет изрядной дозой шутовской Заботы. На месте НСПЖД [47], пожалуй, следовало бы обратить внимание. Муж хватается за ребенка. Жена прижимает младенца — зашедшегося криком — к груди. Встретив сопротивление, муж начинает трясти жену за плечи. Сильная качка, против всяких ожиданий, успокаивает ребенка; но теперь начинает кричать жена.

«Ты должна мне объяснить».

Но правды таким способом не добиться — не вытрясти силой.

Муж снова переключается на ребенка. Он тянет. Жена перестает кричать и тоже тянет, на себя.

«Отдай его мне!»

«Нет».

«Он чужой. Ты же его украла».

«Нет. Он мой. Наш».

Полюбуйтесь на своего учителя. Чуть дело дошло до дела — куда там нудные морали и мелом по досточке скрып, — тут сцена времен голоцена. Полюбуйтесь на него, вовлеченного в акт элементарного насилия. Обратите, для контраста, внимание на изысканную обстановку, на фоне

[47] Примечания: 47

Национальная служба по предотвращению жестокого обращения с детьми.

которой происходит главная заваруха: в комнате сохранен присущий ей от рождения аромат эпохи позднего Регентства, вещи подбирались со вкусом, на протяжении тридцати лет: старый фарфор, кожаные переплеты, Крукшенковы гравюры. [48] Настоящий музей. Обратите внимание на вазу «челси» на столике, которая, в результате толчка, полученного от диванчика, который в свою очередь приведен в движение перипетиями отчаянного этого противоборства, бухается вниз со своего нашеста и разбивается вдребезги. Обратите внимание также и на золотого ретривера, поднятого ото сна с любимого своего коврика в углу кухни, как он врывается в комнату и вносит свою долю оглушительного лая в общую кучу-малу из воплей, детского плача и бьющегося об пол антиквариата.

«А эти синяки, мистер Крик, — на руках и на верхней части туловища ребенка?»

«Результат моих попыток отнять ребенка у жены. Я хотел как можно быстрее вернуть его туда, откуда она его принесла».

---

[48] Примечания: 48

Джордж Крукшенк (1792–1878) — известный английский карикатурист и иллюстратор. Среди прочего иллюстрировал также «Очерки Боза» (1836–1837) и «Оливера Твиста» (1839) Чарлза Диккенса и «Хижину дяди Тома» (1853) Гарриет Бичер-Стоу.

«Из чего мы можем сделать вывод, что ваша жена оказывала подобным попыткам сопротивление — и, следовательно, расценить ее умысел в данном случае?..»

Жена тянет на себя. Муж на себя. Одеяльце разворачивается. Собака лает, не желая оставаться в стороне от таких веселых игр. Лицо у жены кривится — у ребенка тоже. Муж тянет и никак не может отделаться от ощущения, что пытается оторвать у собственной жены некую часть ее тела. Отнять у нее жизнь.

А может, так оно и есть. Потому что, выпустив в конце концов ребенка, уступивши силе, жена оседает, падает на диван, прячет лицо в подушках, плачет, поворачивает голову, протягивает к нему руку и кричит: «Это мой ребенок! Это же мой ребенок…»

И мужу, который оказывается в роли уже не объятого священным трепетом пастуха, но безжалостного Ирода, приходит в голову мысль: а если все-таки, а вдруг…

Но ребенка он ей не отдает. Не думая, чисто инстинктивно, кладет ему на лобик руку, просто чтобы успокоить. Шшш-шш. Он обнимает ребенка, а хочется ему обнять жену. Он не может одновременно обнять и жену и ребенка. Но если

он оставит ребенка, чтобы обнять жену, жена может снова схватить ребенка.

Он делает шаг вперед. Кладет ребенка на откидную доску розового дерева бюро, вне досягаемости как жены, так и хватающего пастью воздух пса. Он садится на диван, приподнимает жену от подушек, обнимает ее покрепче и начинает говорить самые невероятные вещи:

«Ты моя деточка. Ты моя деточка…»

Можете себе представить, чтобы ваш ученый и многомудрый Крики лепил подобную чушь? Но, приглядитесь-ка повнимательней — ваш Крики плачет.

Он укачивает ее, как маленького ребенка, былое божество его нелегких школьных лет.

«Мэри, объясни ты мне…»

Золотой ретривер, оставшись не у дел, кладет голову на диван; тявкает, скулит. Ваш учитель истории вдруг, ни с того ни с сего, отвешивает ему пинка, резко, яростно.

«Как же так? Ну почему? Почему?»

«Бог мне велел. Бог…»

Но Бог давно уже никому ничего не говорит. Ты что, не слышала об этом, Мэри? Он давно уже перестал разговаривать. Он даже и не смотрит больше, оттуда, с небес. Мы выросли, и он нам

теперь без надобности, Отец наш Небесный. Мы сами с усами. Вот он и отдал мир нам на откуп, делайте, мол, что хотите. В Гринвиче, посреди огромного мегаполиса, где когда-то люди выстроили обсерваторию специально для того, чтобы можно было вернуть Богу взгляд, по ночам теперь, на фоне золотой авроры уличных огней, не увидать даже и взвеси Божьих звезд.

Бог, он для простых, для отсталых людей во всяких Богом забытых местах.

«Мэри, чей это ребенок?»

«Я тебе уже сказала».

«Откуда он взялся?»

(Он по-прежнему укачивает ее, а на полу осколки фарфора, а стильные часы на каминной полке бьют половину пятого, а пес оплакивает разбитую челюсть, а ребенок надрывается и опаснейшим образом перекатывается на секретере.)

«Он велел мне…»

«Мэри!

«Ну ладно, ладно. Я взяла его в „Сейфуэйз“. Я взяла его в льюишэмском „Сейфуэйз“. [49]

---

[49] Примечания: 49

Сеть сравнительно дешевых супермаркетов.

36
О НИЧТО

Не извиняйся, Прайс. Хотя, наверное, нам лучше допить и уйти отсюда. Никакого от нее толку в конечном-то счете, от выпивки, как ты считаешь? Знаю, знаю, каково у тебя на душе. Н-да, карты снова легли на конец света — может, на сей раз не соврут. Но чувство знакомое. У саксонских отшельников было такое же чувство. И у тех, что строили пирамиды, чтобы доказать ошибочность этого чувства.

И у моего отца, в грязи под Ипром. И у моего деда, который пытался залить его самоубийственным пивом. И у Мэри… Это старое, старое чувство, что все на свете может в конечном счете оказаться приравненным к ничто.

37
LE JOUR DE GLOIRE [50]

На Пляс де ла Революсьон посвистывают гильотины. Свистят уже несколько месяцев, как и будут свистеть еще несколько месяцев. Кто в состоянии остановить сей свист? Кто сможет обуздать их неуемный аппетит? И кто способен утолить это чувство голода на лицах толпы, которая смотрит, облизывает губы, свистит и улюлюкает. Так точно, данный факт о Французской революции известен каждому школьнику. Что, главное дело, там были гильотины. И даже самый ленивый ученик, до которого, казалось бы, вовек не достучишься, начинает проявлять признаки интереса. Вот этот звук — ссс-висст — летящих книзу лезвий. И, да, конечно, старые беззубые карги действительно сидели и вязали у самого эшафота; и, да, конечно, есть несколько письменных свидетельств о трупах, которые извивались и дергались — вращали глазами, шевелили губами, кричали — уже после того, как

---

[50] Примечания: 50
День славы (фр.).

голова была отделена от тела.

Ну, что, поглядим? Нет, не раз и не два, чтобы только составить себе представление, но снова и снова, из месяца в месяц? Поглядим, как растет урожай сваленных в корзины голов? Или, может быть, вам уже не по себе? Не возникает у вас ощущения, что из-за этого вот неудобства на донышке желудка, из-за иголочек в кончиках пальцев и некой мутной слабости в голове и в коленях История — да не пошла бы она по такому-то адресу? Это называется страхом, дети мои, а по-латыни — *terror* . Ощущение, что все на свете есть ничто и ничего не стоит. Вот вам и тема сегодняшнего урока.

Или, может, вы предпочитаете повернуться спиной и выйти вон? Может, бог с ними, с гильотинами, пусть себе работают без нас, и бог с ней, с Историей, пусть катится как умеет, и, может, вы, в конце концов, предпочитаете Истории — сказку?

Тогда позвольте рассказать вам (и, надеюсь, он не станет напоминать вам об этом страшном посвисте где-то там, за горизонтом).

38
О ВОСТОЧНОМ ВЕТРЕ

Он зарождается в Северном Ледовитом океане, к северу от Сибири. Он прокрадывается вдоль северной оконечности Уральских гор, отводит душу на Северо-Европейской и Финской равнинах, снова собирается над Балтикой, пытается свернуть шею Дании и (если он и порастерял по дороге часть пронизывающей своей остроты, волны Северного моря за милую душу отточат его опять) обрушивается на восточный берег Англии. И некоторые утверждают, что Уош, зияющая рана в становом хребте Британии, сформировался не по воле приливов, и речных течений, и прочих геологических причин, а что он — всего лишь первый укус, первый кусок, вырванный точенными об лед резцами Восточного Ветра из беззащитной линии берега.

Зимой 1937 года Восточный Ветер свирепствовал необычайно. И он принес с собой не только ледяное дыхание Арктики и наполовину замороженной Европы, он принес с собой еще и инфлюэнцу, которую кое-кто из знающих людей

называл «азиатской» или «русской» инфлюэнцей, или, что уж вовсе не вяжется с подобной зимней напастью, «испанкой», но большинство, включавшее в себя и тех, немалых числом, несчастных, кто подхватил ее и помер, знало ее под простым и незамысловатым именем Флу.

Она уложила в постель нескольких учеников хоквеллской деревенской школы, и один из них, бедный маленький Роджер Пирс, так от нее и не оправится. Она одолела Уолтера Дейнджерфилда, хозяина местного магазина, и миссис Финч, держательницу «Волонтер-Инн». [51] Джек Парр тоже не прошел мимо, однако его несгибаемая жена в тандеме с ударными дозами горячего виски быстро вернули его в строй. Ее подхватили двое эптонских стариков, и обоих не стало через неделю. И еще один, в Уэншеме; и еще другой, в Садчерч. Поликлиническая больница в Гилдси оборудовала специальную палату; то же и Кесслинг-холл, хоть он и был предназначен для душевнобольных. Оба окрестных доктора — если не множить сверх меры список представителей сей многотрудной профессии, — Фрай из Эптона и

[51] Примечания: 51

Инн (Inn) — нечто вроде европейского пансиона, небольшое заведение домашнего типа, совмещающее функции «семейной» гостиницы и трактира.

Брайт из Ньюхайта, работали не покладая рук, не говоря уже о трудах и днях младшего медперсонала. И словно бы нарочно, в доказательство того, что врачебный промысел не делает человека неуязвимым, доктор Фрай, бедный, измученный непосильною громадой дел трудяга, которому давно уже следовало выйти на пенсию и уехать куда-нибудь в Борнмут или в Торквей, свалился с жесточайшим приступом и заполучил на всю оставшуюся жизнь хроническую форму какого-то легочного заболевания.

Хенри Крику повезло. И Дик Крик тоже этой заразы не подцепил (а если и подцепил, то попросту не обратил на нее внимания). Но вот вашего учителя истории уложили как-то в пятницу в постель, а встал он аж в следующую среду, и на все это время истории, которые мама столь неподражаемо рассказывала, чтобы утешить его и успокоить, утратили свое обычное действие. Ибо вместо того, чтобы исходить из маминых уст, неся с собой привычный целительный бальзам, они как будто заслоняли ее, заливали с головой, окутывали облаками зловещих миазмов, так что ему приходилось, в жару, прокладывать себе сквозь них дорогу к маме, которая становилась час от часу все менее и менее реальной, все боль-

ше и больше уходила в царство бреда. Но ничего не получалось, потому что те же самые истории завладевали частями его собственного тела и бесконечно подлыми одеялом-простыней-подушками; они перестукивались морзяночными шифрами сквозь его горячечные кровотоки и разыгрывали круглосуточные, без отдыха и срока вариации на собственные темы у него в голове, так что и ему-то самому то и дело угрожала опасность стать вымыслом, фикцией…

Покуда, в понедельник утром, он не проснулся и не увидел маму, реальную и осязаемую, не говоря уже о том, что на лице у нее сияла радостная улыбка, а в руках — она как раз присела на краешек кровати — был легкий завтрак, чтобы набраться сил; а в это время по ту сторону замерзшего окна (поскольку вместе с лихорадкой унялся вроде бы и злокозненный Восточный Ветер) на другой стороне комнаты, такого промерзшего, такого несчастного по сравнению с уютными теперь и заслуживающими всяческого доверия одеялами, сияло утреннее солнце, озаряя устойчивый и плоский мир, который тоже был насквозь настоящий, прозрачный и ясный. Вон, у черта на куличках, в Или, видна башня; а вот донесся отдаленный пых — гортанный сквозь

морозный воздух — линнского, восемь сорок пять. И он едва в состоянии поверить, что подобная чушь, вроде историй, которые, по большому счету, и к реальности-то не имеют никакого отношения, могла настолько его одолеть, напугать, захватить…

Однако. Однако. Теперь очередь мамы улечься в постель. Побродяжка Флу перекинулась с него на нее. А этот самый ветер, после недели, или около того, стеклянно-льдистого затишья, оживает с удвоенной силой. Он гудит в каминных трубах; он стучит ставнями; он полирует сосульки на карнизах; он как косой сечет поверхность Лима и сбрасывает тонкие пласты воды на бетонный бечевник, где они и застывают жесткой коварной коркой; он мечет ледяные дротики в каждую трещину, в каждую щель дома. Но несмотря на это, несмотря на свирепый натиск холода, мама обливается потом и сбрасывает с себя одеяла, совсем как он неделю назад. И теперь, по справедливости, его очередь сидеть с ней, успокаивать и утешать. Но толку от этого не будет. Потому, что среди прочих горячечных видений крошки Тома было одно пророческое. Потому, что, хотя никто об этом пока не догадывается, его матери не судьба встать из этой постели. Потому, что,

проще говоря, она умирает.

Хотя никто пока об этом не догадывается. Болезнь развивается своим чередом. Но когда температура идет на спад, она не оставляет после себя знакомой, воскресшей к жизни мамы, вымытой на тихие брега выздоровления, которая не отказалась бы от порции молочной каши с доброй долей патоки. Она оставляет после себя неузнаваемый, омытый жаром костяк, ничего общего не имеющий с той, прежней женщиной. Более того, Восточный Ветер, который отметил выздоровление вашего учителя тем, что стих и дал солнышку полную волю сыпать блестки в хрусткую зимнюю тишину, не желает стихнуть для нее. Он по-прежнему беснуется и воет. Жуткий ветер.

И поскольку ветер не стих, хотя для Тома неделю назад он так и сделал, поскольку ветер не стих, хоть жар и сошел на нет, ваш учитель истории, хотя никто ему ничего не говорил, а сам он был всего-то навсего девятилетний мальчик, все понял.

Ветер, наверное, не уляжется, пока она не…

И было ясно, что отец тоже знает. По тому, какое непривычно светлое было у него лицо. Потому что в те дни, когда мама понемногу сходила на

нет, к его чертам будто прилипло этакое бодрое и радостное выражение, и на губах — неизменная ласковая улыбка, и глаза сияют. Как будто, если ты решительно и упорно станешь симулировать оптимизм, реальности не останется ничего иного, кроме как смириться с данностью; как будто, если не показывать, что ты знаешь правду, правда может в конечном счете оказаться вовсе и не правдой…-

Но кто знает, что происходило с этой его приросшей к лицу маской все те долгие часы, пока он сидел, глядел и ждал за запертой дверью в спальне и мы его не видели? Потому что, хорошо это или плохо, если б крошка Том тоже сидел с мамой — и рассказывал ей всякие затейливые истории или совсем ничего не рассказывал, — но функцию бдения у изголовья полностью монополизирует отец. Он сидит над нею дни напролет, пока внизу Дик, которому скоро стукнет четырнадцать и который, так же как и брат, из чисто человеческого сострадания освобожден от школы, скалывает со шлюзовых створок лед, прямо руками, как будто он совсем невосприимчив к холоду; проводит, сноровисто и споро, сквозь шлюз идущие вверх по течению обросшие инеем лихтеры, однако на расспросы промерзших до костей

лихтерменов, наслышанных о тяжком недуге миссис Крик, он лишь угрюмо передергивает плечами, оставляя на долю своего в остальном бесполезного братца (закутанного в два пальто, шарф, варежки, огромный отцовский вязаный подшлемник и старающегося не распускать сопли) предлагать проезжим вежливую ложь: «Она не так уж плоха, мистер Бейли, благодарю вас. Нам кажется, она пошла на поправку…»

Он сидит над ней и по ночам тоже; покуда в нашей комнате всхрапывает Дик, а я лежу без сна с слушаю, что там творится, по ту сторону коридора, и молюсь (да-да, молюсь: Господи, прошу тебя, ну, пожалуйста, пусть этого не случится… Господи, пожалуйста, если ты не дашь ей умереть, тогда я… я тогда), а ветер то налетит, то ослабнет, ветер гудит и воет, но не кончается, и дом скрипит и стонет и все больше похож на затравленный морем корабль с разбитым кормилом.

И только иногда, с большой опаской, как будто снедаемый какой-то странной формой ревности, он допускает нас в спальню. Он провожает нас от самых дверей, порой не отрывая от губ плотно прижатого указательного пальца, как будто в сокровищницу, где хранятся редчайшие, бесценные экспонаты, как будто чтобы тайком

показать бриллианты британской короны. Улыбка приросла к лицу. Та самая дурацкая улыбка, какую видишь на устах у молодого человека, который только что стал отцом. Именно так, кстати, мама и выглядит — маленьким беспомощным ребенком, закутанным в простыни. Младенец со старушечьим голосом.

Что стряслось с моей взрослой, с моей прекрасной мамой? Мы садимся по обе стороны кровати, Дик слева, я справа; отец, на стуле, придвинутом к изножью, сжимает одной рукой скрытое под одеялом мамино колено. Она хрипит, после долгой паузы, когда уже начинает казаться, что ей никогда не собраться с дыханием настолько, чтобы вообще открыть рот: «Ну и… хорошенький у меня… должно быть, вид… правда?» С видом едва ли не бесшабашным. Но глаза у нее говорят совсем другое. Они говорят: смотрите, дети, ваша мама умирает. Еще чуть-чуть, и ее совсем не станет. Это неповторимое, грандиозное событие. Неповторимое и грандиозное, не говоря уже о том, что неожиданное, и для вашей мамы тоже. Такое случается один только раз, повтора не будет. Смотрите, запоминайте.

(Что я и делал, очень старательно. И хотя оно и в самом деле случилось только раз, оно потом

имело место еще и еще, как то обычно и бывает с неповторимыми и грандиозными событиями, насколько хватит памяти, способной их вместить…)

Дик сидит, не двигаясь, у изголовья; ресницы дрожат. А я оборачиваюсь и смотрю на отца. И отцовское лицо сияет мне навстречу; и светятся глаза: разве ж она не красива? Разве не чудо? Правда ведь, какой прекрасный малыш?

(Когда же с него спадет наконец эта маска? Еще не время. Не время.)

Мы всем гуртом идем вон. Мы всем гуртом заходим снова. Между нашими отмеренными по чайной ложке визитами отец несет свою вахту, он нянчит женщину, которая когда-то, много лет назад, вынянчила его; покидая свой пост только для того, чтобы спуститься на кухню, поколдовать над супами и горячими напитками и наново наполнить кипятком бутылки; или снести вниз по лестнице иного рода сосуды — мамины последние плохо-слабо отправления — и вылить содержимое в уборную.

Я думаю: разве так может быть всегда? Это мерцание-на-грани. Этот папин транс. Этот ветер. И слышать, как мама говорит: ну и хорошенький у меня, должно быть, вид, — когда вид у нее хуже

не придумаешь.

Я молю Бога: Господи, прошу тебя, сделай так, чтоб это было не навечно. Господи, пожалуйста, если это должно случиться, сделай так, чтобы мамы не стало. Пускай все кончится, пускай ничего не будет…

Спрашивается, как я мог такое просить у Бога, когда совсем недавно я просил…?

Но это и впрямь не навсегда. Тот факт, что это не навсегда, обнародован, в первую голову, доктором Брайтом, который после одного из своих врачебных визитов не запихивает скорей-скорей стетоскоп обратно в саквояж, как то за ним водится, не изрекает пару-тройку мрачных, хоть и без паники, рекомендаций и не уходит тут же с видом человека, которому есть куда спешить. (Вы что, не понимаете, меня ждут другие пациенты. Вы что, не понимаете, у нас эпидемия гриппа.) Он никуда не торопится. Он принимает — на кухне — предложение отца выпить чашечку чая. Мне доверяют чайник. Доктор Брайт занимает отца, или пытается занять, разговором. Не докторским, заметьте, разговором, но неуверенной, на ощупь, попыткою поболтать о том о сем.

Так, например, размешав сперва ложечкой чай, на что времени у него уходит много больше

против надобности, а потом наставив глаз сквозь кухонное окошко на курятник:

«Неужто они и теперь несутся, в такую-то погоду?» Отец: «Ага, несутся. Не слишком. Но несутся».

Одна из моих обязанностей, пока отец работает сиделкой: отмерять в курятнике горстями дневную норму корма и — иногда — вынимать ледяными пальцами из-под безропотных и, судя по всему, морозоустойчивых кур очередное теплое яйцо. Теплое. Неправдоподобно теплое…)

Есть, однако, нечто особенное в самой как-бы-между-делом атмосфере этого разговора; нечто особенное в сутулой покатости плеч доктора Брайта и в том обстоятельстве, что стетоскоп все еще болтается, по недосмотру, у него на шее, как будто он в любой момент готов его употребить взамен уставшей чайной ложки; нечто особенное в том, как отец принимается с отсутствующим видом потирать колено и доктор Брайт благодарно принимает возможность вернуться к разговору на профессиональные темы; нечто особенное в том, с какой удивительной готовностью оба переключаются на это самое несчастное колено (старая рана, чуть только похолодает, всегда дает о себе знать) в то время, как наверху мама… Нечто

такое, что никак не в состоянии обмануть даже девятилетнего мальчика («Ну что, снова в строю, а, маленький солдат?» — доктор Брайт кладет наконец на место свой стетоскоп); что наполняет его отнюдь не как-бы-между-делом чувствами.

Отец провожает доктора Брайта до автомобиля, кружной тропинкой по краю огорода, чтобы не идти через предательски скользкий бечевник. Я, сквозь кухонное окно, смотрю, как он возвращается. Маска слетела. У него на лице нет вообще никакого выражения. Он останавливается посреди дорожки, не зная, что за ним наблюдают, и, судя по всему, потеряв чувствительность к холоду. Плечи у него начинают трястись. Он отвернулся. Он не дрожит. Это не от ледяного восточного ветра. Короткие резкие спазмы дергают его за шею — и в сторону.

Я отскакиваю от окна. Я мчусь вверх по лестнице и открываю дверь, за которой мама. Ее взгляд блуждает. Глаза открываются шире. Ее глаза глядят на меня. И — почему? — она вдруг произносит: «Дик?»

А во-вторых, этот факт обнародован отцом, который входит к нам в комнату поздней ночью и принимается трясти, будить Дика. Чтобы вызвать Дика к жизни из глубин забвения, приходится по-

тратить немало времени и сил, и, пока его будят, я делаю вид, что и я тоже сплю. Но глаза я все-таки приоткрыл и в тусклом свете от приотворенной двери смотрю, сколько там показывают наши настенные часы — произведение столярного искусства с резным циферблатом в виде напыженной, надутой совы (на которую вечно зарится голодная и при том безжизненная щука, тремя футами дальше по стене). Часовая стрелка прямо у совы между глаз. Десять минут первого, в ночь на двадцать пятое января 1937 года.

«Дик, мама хочет тебя видеть. Дик…»

Он не дает Дику соскользнуть обратно в теплый кокон сна. Он трясет его, стягивает одеяло. Выталкивает, в одной пижаме, навстречу пронизывающим сквознякам. Снимает с крючка за дверью халат, сует ему в руки.

«Твоя мама хочет тебя видеть. Только тихо. Тихо».

Он на секунду оставляет Дика, чтобы подойти к моей кровати. Я чувствую — вот он наклонился. Я старательно имитирую глубокое дыхание безмятежного полуночного сна. За окошком беспокойно и тяжело вздыхает ветер. Он возвращается к Дику и, не говоря больше ни слова, уводит его из комнаты, притворив за собой дверь.

Значит, вот он, час маминой смерти. Тогда — почему только Дик? Тогда — почему именно Дик, а не я?

Но нет, это не может быть час маминой смерти. Потому что буквально через несколько секунд я слышу, как снова открылась на той стороне коридора дверь, и шаги вниз по лестнице. Отцовские шаги. Значит, Дик с мамой наедине.

Ветер завывает и дребезжит оконным стеклышком, скрадывая прочие звуки. Ваш учитель истории выбирается из постели, на цыпочках крадется через комнату, съеживается у самой двери, не обращая внимания на ледяные пальцы, что хватают его за босые ступни, и слушает. Он слышит, как говорит мама, слабо, с натугой, но не может разобрать ни слова. Тон, однако, никак не последнего прости, скорее, Дику что-то старательно пытаются втолковать. Он разбирает (в самом деле? Настолько, чтобы вспомнить их шесть лет спустя?) слова «откроешь» и «восемнадцать». Он слышит, как Дик — потому что уж никак не мама, ибо каким таким чудом она бы снова встала на ноги — пересекает комнату и (по крайней мере, именно так он приспосабливает звуки к действиям) открывает ящик стоящего в дальнем углу родительской спальни комода,

роется внутри, затем возвращается назад, к кровати. Мамин голос делается тише некуда, даже по сравнению с прежним, еле слышным (и за все это время Дик вроде бы не произносит ни единого слова), потом поднимается вновь до внезапных отчаянных высот:

«Дик.. Дик… дорогой мой Дик…»

И, со стороны Дика, одно-единственное, бессмысленное, с легкой вопросительной интонацией: «Мамми?»

Но почему же все-таки Дик? Почему его имя — даже если дверь откроет его младший брат Том?

Однако времени на раздумья больше нет. Нет времени — а наш сбитый с толку соглядатай уже почти решился на это — распахнуть дверь, рвануть что есть силы, через коридор, броситься ничком на иссохшую мумию, что осталась от мамы, и спросить, потребовать ответа — почему не он? Почему все так несправедливо? А ему, ему тоже что-нибудь напоследок?

Потому что он слышит, как по ту сторону дальней двери поднимают щеколду: Дик выходит в коридор. И тут же звук отцовских шагов внизу, у подножия лестницы. Значит, он все это время там и караулил? И может быть, тоже пытался разобрать хоть слово?

Он пулей мчится обратно в кровать; и, почти одновременно с тем, как Дик, открывши дверь, переступил порог, ныряет под одеяло и принимает позу (хотя такого пульса у спящих не бывает и быть не может) непотревоженного сна.

И почти одновременно с появлением Дика отцовские шаги быстро пересчитывают ступени вверх по лестнице, и отец еще раз входит в дверь, которую Дик не успевает даже прикрыть. Он провожает Дика обратно в постель так же уверенно, как только что будил его. И Дик, который на протяжении всей этой странной сцены балансировал, должно быть, на грани сна и яви, так что наутро, не исключено, она могла бы показаться ему всего лишь сном, не в состоянии ни сопротивляться отцовской воле, ни даже спросить его (это же Дик, который вообще не имел привычки задавать вопросы — покуда не задал однажды один, но какой) о смысле происшедшего.

У отца, однако, пока он подтыкает Дику одеяла, вне всякого сомнения, вид человека, у которого на языке вертится пара вопросов, который хотел бы для себя кое-что прояснить. Но он сдерживается; он берет себя в руки… Не лучше ли положиться на этот сонный ступор, не лучше ли положиться на застарелое ни-о-чем-неведение. «Давай-ка

засыпай побыстрее, Дик. Давай-ка засыпай…»

Как если бы он говорил, а выговаривалось у него:

«И забудь обо всем, забудь обо всем…»

Дик что-то такое знает, чего он, вероятно, знать не должен. Дик что-то такое узнал, чего, с точки зрения отца, ему бы лучше не знать.

И — так оно и есть. Потому что, стоит только отцу закрыть за собой дверь — удостоверившись предварительно еще раз, что крошка Том спит и видит сны, — Дик тут же кладет некий предмет, металлически звякнувший предмет, предмет, который он все это время держал, должно быть, зажатым в огромном, не по годам, кулаке, на прикроватную тумбочку.

Медный ключ.

Я жду, пока не устоится ритм Дикова храпа. Я выбираюсь из постели и в заряженной мелкой судорожной дрожью тьме нашариваю на тумбочке этот самый предмет. Ключ. Ага, ключ. Я возвращаюсь в постель. Я лежу и пялюсь в темноту. Сна ни в одном глазу. Я слушаю ветер. Я слышу звуки, принесенные им издалека, от порыва к порыву, а потому диковатые и странные, так что перезвон церквушки в Хоквелле похож на звук пролетевшего мимо по воздуху колокола. Еле

видимая полоска света, намек на свет, просачивается в комнату из-под двери. Значит, свет не потушили, там, на той стороне коридора, где отец сидит с матерью. Мне кажется, что я слышу — но, понятное дело, это все штуки заунывного, с ума сводящего ветра за окном — звук сдавленных человеческих рыданий.

Ах этот жуткий, безжалостный ветер, который дул всю ночь на двадцать пятое января 1937 года. В такой ветер св. Гуннхильда скрючилась бы у себя в хижине, слушая завывания Дьявола. В такой ветер старый Джейкоб Крик укрылся бы в одном из своих ветряков (сняв предварительно крылья, а опору закрыжевав к земле), прикидывая, в какой именно момент все это истошно скрипящее сооружение сдует к такой-то матери…

Утром двадцать пятого января занимается заря. Дик — который вполне предсказуем и в том, что он крепко спит по ночам, и в том, что едва за окном забрезжит, он тут же будет на ногах — просыпается. Раскрываются плотно сомкнутые веки. Глаза глядят на медный ключ. Значит, это был не сон; все взаправду. Потом — на меня, а я лежу на соседней кровати и тоже гляжу на ключ и на Дика, который глядит на ключ. И как только

Диков взгляд перехватывает мой, из-под одеяла выстреливает рука, хватает ключ и тут же исчезает из виду — как будто сама молниеносность движения заставит всех и вся поверить, что никто не двигался, да и вообще никакого ключа на свете не существовало.

Теперь, если бы Дик не увидел, как я смотрю на этот ключ, он, может быть, и в жизни бы не догадался—а если бы и догадался, то, по крайней мере, не выдал бы себя так явно, — что это не просто ключ, а ключ особенный.

Однако я еще не дорассказал. Я выбираюсь из постели. Дик, словно бы пытаясь защитить свою территорию, тоже встает. Ключ либо зажат у него в кулаке, либо он успел его схоронить в какой-нибудь одеяльно-подушечной складке. Ресницы у него дрожат. У меня на языке вертится вопрос — и тон должен быть не слишком назойливый, но и не так, чтобы вовсе безо всякого намека на интерес: «Дик, а что это за ключ?»

Но я не задаю вопроса. Потому что в этот самый момент отец открывает дверь и, заставши нас обоих на ногах и стоящими достаточно близко друг к другу, чтобы попасть в охват его рук, притягивает нас к себе в сокрушительном, ни-за-что-на-свете-не-забудешь объятии, которое охарактеризовать

можно разве как материнское; и, с лицом уже на грани агрегатных состояний, а ныне быстро возвратившимся в начальное, жидкое, говорит: «Дети (да-да, именно так он нас и назвал), ваша мама ушла от нас. Она ушла. Ушла».

Ушла.

Как, собственно, — потому что, несмотря на это душераздирающее заявление, кругом становится вдруг тихо и спокойно: Лим зеркален, небо за окнами гладкое, ясное, розовое, как ракушкин испод, и ветер тоже стих.

Итак, мы схоронили маму на Хоквеллском погосте. И отец начал выращивать на огороде, в уголке, цветы, чтобы носить их к ней на могилу. Хотя цветы не цветы, а он потом несколько месяцев изо дня в день ходил навещать этот холмик с густой пружинистой травой и застревал там подолгу, пренебрегая своим смотрительским долгом в пользу долга, который он, вне всякого сомнения, воспринимал как куда более настоятельный и насущный. Иногда ходил с ним и я, наблюдал за ним со стороны, за странным человеком, который был к тому же — мой отец. И во время этих скорбных отцовых отлучек Дик — которого теперь освободили от школы более или менее насовсем по причине, во-первых, его

очевидной необучаемости, а во-вторых, недавней и тяжкой потери в семье — научился, с успехом пройдя начальные стадии еще в те времена, когда мама впервые надолго улеглась в постель, управляться со шлюзом. Разбираться (и никто его не учил, один только голый инстинкт) в хитростях и ноу-хау речного образа жизни; ладить с лихтерами и баржами; поддерживать ненадежные, однако и жизненно важные взаимоотношения между рекой и заслонкой. И выходит, именно в этот период — период не одних только кладбищенских медитаций, но и ловли угря при свете луны, и полуночных бдений на бечевнике — и без того небогатый спектр Дикова образования окончательно сузился и ушел в небытие; и директор школы Оллсоп приговорил, а Хенри Крик согласился, что, мол, не вышел головой, зато, мол, силушки с лихвой. И между отцом и Диком, теперь, когда они делали одно и то же дело, установилась своего рода особая связь; однако связь, ежели к ней присмотреться поближе, основанная не столько на доверии и взаимопомощи, сколько на стремлении первого бдить за последним постоянно и неусыпно.

Таким вот образом, следуя как естественным наклонностям, так и внимательному попечению

отца, Дик и вырос истинным наследником (по крайней мере, внешне) старых Криков, упрямых, угрюмых влагоукротителей и пестователей земли.

Если не считать того, что Дик…

Но мы забегаем вперед — и упускаем из виду ближайшие следствия той страшной январской зари.

Поскольку отец, сжавши нас так яростно в объятиях, не произнес этого слова, «умерла». Слово было — «ушла». И на протяжении всех последующих дней, несмотря на то, что приезжал доктор Брайт и заполнил свидетельство о смерти, несмотря на то, что мама перебралась сперва из кровати в гроб, а потом, с отправлением соответствующего ритуала, в могилу на кладбище, он ни разу не позволил ни слову «умерла», ни слову «смертью сорваться с губ.

И хотя само по себе использование этого эвфемизма, «ушла», перед лицом двоих сыновей, один из которых был слишком мал, а второй, вероятно, слишком дурковат, чтобы понять, требует особого комментария, оно же поднимает и массу вопросов. Ибо «ушла» при данных обстоятельствах — слово необычайно скользкое. Для крошки Тома, у которого вся жизнь, глядишь,

могла бы сложиться иначе, если бы только отец сказал ему то, что его детское сердце уже готово было принять — что его милая мама умерла, исчезла, канула, — это слово «ушла» содержало в себе намек на некое сознательное, пусть даже и в силу некой непонятной, извращенной логики решение с маминой стороны, как если бы она не перестала быть отныне и во веки веков, а все же где-то есть, очень далеко, недосягаемая, невидимая, но есть.

«Ушла», другими словами, отдавало тайной. Тогда как «умерла» — явление простое и естественное. «Ушла» — священный трепет и открытый финал — требовало объяснений. Оно впервые запустило в детской голове вашего учителя истории — которая вполне справлялась с Что и Как — первую, пробную модель железнодорожной этой скороговорки Почему-почему-почему. (И мы знаем, к чему это привело.) Оно заставило его отправиться, путями, в которых сам он вряд ли сам отдавал себе отчет, которые он вряд ли выбирал сознательно, на поиски: чтобы найти, воскресить наконец в какой-нибудь иной, новой форме (ах эти полные робкого томления железнодорожные поездки…) образ безвременно ушедшей мамы.

И выходит, реакция крошки Тома на мамину

смерть во всех ее долгоиграющих последствиях по большому счету не слишком отличалась от корявых умозаключений старшего брата, которые, обрети они словесную форму — пробившись сквозь недоуменный трепет век, — можно было бы свести к одной-единственной фразе: «Ну если она ушла, так когда она, значит, вернется?»

Что касается отца: он что, использовал это слово, «ушла», из одной только заботы о детях? Ведь если бы он сам был уверен в том, что мамы больше нет и с ней нельзя, пусть даже из дали самой что ни на есть невероятной, перекинуться словом-взглядом, зачем тогда он, спрашивается, ходил каждый день на кладбище и стоял там, шевеля губами, как если бы и в самом деле с кем-то говорил и, более того, рассказывал нам об одном отдаленном месте под названием царствие небесное?

Так что скорее всего всех троих оставшихся в живых обитателей дома при шлюзе Аткинсон объединяла общая вера: что мама, которая умерла, на самом-то деле вовсе и не умерла, что она до сих пор наблюдает за ними с некой таинственной возвышенности и держит их дом под защитой.

Ох уж эти фенлендские суеверия. Мертвые, они ведь умерли, разве не так? И прошлое не возвра-

щается, ведь правда?

Но иногда бывают средства отомкнуть магическую дверцу в заколдованное царство и вытащить на свежий, на заряженный коррозией воздух его таинственное содержимое. А у Дика был ключ.

Который он спрятал. Потому что, когда, сделав свое судьбоносное, пусть даже и не слишком хорошо продуманное заявление, отец повел нас обоих через коридор на втором этаже — потому что он ни за что на свете не стал бы лишать нас этой священной привилегии или, напротив, оберегать от нее, — чтобы в последний раз посмотреть на маму, крошка Том закатил такую истерику с рыданиями и воем — которая, понятное дело, не могла не сыграть роль катализатора для собственных, дрожавших на грани перекипания отцовских слез, — что он и думать-то забыл об этом хвать-и-нет-его ключе. И прежде чем горе отхлынуло настолько, что он сумел вспомнить, Дик, конечно же, предпринял должные шаги, чтобы его перепрятать. Потому что — покуда отец держит скорбный совет с доктором Брайтом, а Дик обкалывает лед на шлюзовых затворах — Том предпринимает отчаянную, но тщательно-продуманную попытку обыска на Диковой кровати и в

ее окрестностях. Он прощупывает каждый комок, каждую складку в подушке и в одеялах; поднимает матрас; проходится по каждому дюйму пола под кроватью; обследует скудное содержимое (несколько банок из-под какао, череп водяной крысы) шаткой Диковой прикроватной тумбочки; проверяет буфеты и ящики в комодах.

Ключа нет.

Но вот однажды — если быть точным, через пять дней после маминой смерти и всего лишь через два дня после того, как ее интернировали на Хоквеллском погосте, к коему времени слово «ушла», которое поначалу, с точки зрения Дика, ничего особо трагического в себе не заключало (ушла? Да вот же она. Она просто решила некоторое время полежать тихо), начало показывать свою истинную силу — я слышу, как Дик взбирается по чердачной лестнице. Я слышу Дика, и я слышу ветер. Потому что ветер вернулся. Но лестницей скрипит не ветер. Стоя у подножия главной лестницы, я слышу те самые предательские звуки, которые мне суждено будет услышать годы спустя из-за запертой и забаррикадированной двери. Дик спускается. Я иду вверх по главной лестнице, старательно изображая, что мне зачем-то срочно понадобилось зайти в нашу

с ним спальню. У Дика в руках ничего нет. Но ресницы у него дрожат и вроде бы не столько оттого, что он столкнулся со мной нос к носу (даже и у ресниц есть свои оттенки интонаций), сколько по причине внутреннего какого-то беспокойства и разочарования.

Но вот однажды, после школы, поднимаясь опять же вверх по ступенькам в нашу с Диком спальню, кого, интересно, я там застаю? Отца, который смотрит на меня, входящего, с виноватым видом, как будто его застукали на неблаговидном поступке, как будто он что-то здесь искал, и, для того чтобы скрыть смущение, хотя, конечно, и не без иного рода умысла, он говорит: «Я тут подумал. Наверно, тебе самое время обзавестись отдельной спальней. Самое время переселить тебя в заднюю комнату».

А потом (мама между тем вот уже почти три недели как ушла и до сих пор не вернулась) Дик совершает еще одно восхождение на чердак. Вообще-то он должен прилежно отрабатывать отцовское доверие в свежевозложенном на него звании исполняющего обязанности смотрителя шлюза. Потому что отец снова пошел пешком через Хоквелл (где занавесочки на окнах пораздернутся, и люди примутся говорить: вот он

идет, вот опять идет бедняга Хенри Крик) на свое кладбищенское свидание. Однако, едва он только исчезает из виду, Дик немедля оставляет вверенный ему пост и с решительным видом, что само по себе необычно для Дика, входит в дом и идет вверх по лестнице.

Я тем временем торчу на кухне, и руки у меня выпачканы мукой. Потому что, если Дик в состоянии прикинуть на себя роль смотрителя шлюза, я вполне могу надеть мамин фартук. В этот промозглый субботний полдень я тщусь испечь ячменные лепешки так, как их пекла когда-то мама. Я с головой ушел в таинство кулинарной некромантии. При помощи фартука, в который я заворачивался, как в халат, при помощи месильной плошки, которую она удерживала когда-то в сгибе локтя, и деревянной ложки, которой она когда-то… я пытаюсь вызвать к жизни, вобрать в себя дух моей умершей мамы. Так, чтобы, когда вернется отец, продрогший от своих этих стояний столбом на кладбище, он надкусил горячую лепешку и…

Но я и раньше пробовал это средство. И кухонные мои травести отдавались болью в отцовском сердце. И в желудке. Он улыбается мне уголками губ, он оценил сей трогательный жест, а в это

время мои безнадежно отклеклые, будто свинцом налитые, лепешки застревают у него в горле, где и без того стоит ком…

А сегодня и вовсе никаким лепешкам не бывать, похожим на мамины или каким там еще. Потому что Дик спускается с лестницы, ловит меня, ушки на макушке, в кухонном дверном проеме, берет за плечи и выталкивает через всю прихожую к входной двери. Холодный воздух бечевника обжигает мое подрумяненное у плиты лицо.

«Ты делай, — говорит Дик и выбрасывает руку в сторону шлюза. — Ты делай. Я ушел».

Из чего я делаю вывод, что Дик передоверяет мне передоверенную ему власть. Он хочет, чтобы я управлялся со шлюзом — это я-то, с моими испачканными в муке руками, — покуда он не сделает какие-то свои дела.

«Ладно, Дик, — говорю я, — хорошо». Скорее из нежелания противоречить этому странному приказу, нежели из желания его выполнять. Потому что в голосе у Дика скрывается нечто странное и, кроме того, еще что-то — выпуклое и твердое — скрыто под его темно-синим свитером и он придерживает это согнутой в локте рукой. Я вижу, что это такое, когда, делая вид, что вожусь

на кухне, снимаю мамин фартук, а он наскоро переправляет сей предмет сперва на маленький столик в прихожей, а потом, напялив пальто, в карман пальто.

Бутылка. Честное слово, бутылка. Коричневого стекла…

Застегивая пальто левой рукой, а правую поглубже запихнувши в нагруженный карман, так, чтобы содержимого уже никак нельзя было заметить, он выходит на бечевник и тут же, ни слова не говоря, поворачивает вниз по течению.

Я тоже выскакиваю на бечевник и смотрю, как он вышагивает вдоль по южному берегу реки, слегка ссутулившись, слегка неловко, как человек, у которого есть о чем подумать на ходу — что уж совсем не вяжется с обычной Диковой походкой.

Взгляд через плечо. Я изображаю деловитость и озабоченность, не без толики раздражения, поставленной задачей.

Но озабочен я отнюдь не возложенным на меня столь неосмотрительно — и, по большому счету, для десятилетнего мальчика, умудрившегося сотворить себе фетиш из маминого фартука, невыполнимым — поручением.

В тот день (сырой, туманный; иней так и не

растаял) дом при шлюзе Аткинсон стоял пустым. Ни сам смотритель, ни его сыновья заниматься своими прямыми обязанностями не желали — хотя каждый, на свой собственный лад, был более чем занят. Если бы лихтермены Угольной компании Гилдси выбрали именно это время для того, чтобы пройти через шлюз, им пришлось бы делать всю работу своими руками. А если бы миссис Крик и в самом деле до сих пор незримо реяла где-нибудь невдалеке от дома — хотя как это, спрашивается, она смогла одновременно быть в трех разных местах: в доме, на кладбище и в той бутылке, что в кармане у Дика? — она бы учуяла, верхним, духовным чутьем, под стать своей чуткой на дым прародительнице, запах (потому что об одной малой малости я таки забыл) дошедших до крайней степени готовности и начинающих понемногу подгорать лепешек.

Что толку от шпика на плоском ландшафте? Что толку от детективных разысканий в лишенных всех и всяческих примет Фенах? Что толку даже и от маленького, четырех футов от земли и десяти годочков от роду, детектива на этой ровной поверхности, где все как на ладони и ничего нет скрытого от лика Божия?.. Если бы не тот факт, что осушенная земля усыхает и реки

текут на воздусях; а это подразумевает высокие, дамбами одетые берега.

Потому что, пока Дик идет, этой своей непривычной, не похожей на обычную походкой, по гребню южного берега Лима, кто бы это крался параллельным курсом вдоль берега северного? Хотя и не по гребню, а скрытно, с противоположной стороны — перебежав сперва через реку по настилу над шлюзом и заслонкой, а потом рванув как следует, чтобы сравняться с братом. Кто едва ли не поминутно карабкается вверх по заиндевелому северному склону северного берега, тайком высовывает голову над гребнем, чтобы не упустить того, другого, а потом соскальзывает, скатывается вниз? Кто, когда брат на южном берегу останавливается у места впадения в Лим некоего потока, а именно Стоттовой дрены, тоже останавливается на своем, соответственно, берегу; и не только останавливается, но и, едва ли не на том же самом месте, откуда шесть лет спустя Мэри Меткаф будет наблюдать за тем же самым братом, заползает под кромку северного ската и ложится на живот, на снайперский этакий манер, прямо на припорошенную инеем, будто засахаренную траву — поза, нечего сказать, не самая умная для мальчика, который только

что перенес острую форму инфлюэнцы? Однако мальчик так разгорячен и бегом, и карабканьем, и жаром любопытства и с таким небрежением относится ко всяческим неудобствам этого мира после утраты матери, что он не чувствует ни холода, ни сырости.

Дик глядит на воду. Оглядывается вокруг, на пустынный зимний пейзаж, словно бы желая окончательно удостовериться: он один. Потом достает из кармана бутылку и глядит на нее.

На той стороне реки, пока под ним подтаивает ледок, младший брат думает: значит, мамино тайное наследство Дику всего-то и заключается в нескольких старых бутылках… Значит, и сундук на чердаке — всего-то навсего возомнивший о себе ящик с пивом.

Всего-навсего? Дик вынимает из бутылки пробку; прикладывает горлышко к губам. Еще ни разу в жизни, насколько мне известно, Дик не выпил и бутылки пива. Даже простой, обычной бутылки пива…

Он делает глоток; утирает губы. Садится на корточки, прямо на дамбе. Пристально смотрит в реку. Делает еще один глоток; потом, внезапно, с жадностью, допивает все до последней капли. Смотрит. Вдруг, ни с того ни с сего, пробует встать

и тут же садится обратно. Пробует еще раз; падает; наконец, с трудом, но поднимается на ноги. Рассыпается вдруг диким хохотом, и хохот разрешается воющей, заунывной, лишенной слов и мелодии песней. Пускается в неловкий, спотыкливый танец, нечто вроде медленного вальса с самим собой; опять смеется; орет, гогочет. А потом, внезапно, оборвавши разом и танец, и крик, и гогот, падает на колени, хватается руками за живот; ощупывает руки, ноги, голову — убедиться, что они на месте. Ресницы ходят так, как никогда еще не мельтешили. Лицо меняет выражение — как кадры в диаскопе — недоверие — вина, страх. Выражение, не лишенное сходства с тем, что будет у него на лице в один прекрасный день на Хоквелл Лоуде, когда у него в плавках что-то начнет шевелиться. Он садится, но сидеть спокойно он не в состоянии, как будто бы он прежде и понятия не имел, из какого странного и опасного теста слеплен, и вот теперь надо бы поскорее от всего от этого избавиться. Но единственный способ избавиться — это выпрыгнуть из собственной шкуры. Он приседает и подскакивает, он выгибается и вращает глазами (на той стороне реки его младший брат также с трудом сохраняет если не спокойствие, то хотя бы непо-

движность, и глаза у него тоже едва не лезут на лоб от удивления). Потом до него доходит, что он все еще держит в руке бутылку. Так это же не в нем все дело; все дело в этом пойле, которое в бутылке. Было. Но как, спрашивается, могла его мама…? В качестве последнего, прощального подарка…? И со сдавленным, тоскливым криком — как если бы в страхе отбрасывал прочь некую чреватую несостоявшимся блаженством часть собственного тела, кусок плоти, который так и не смог прирасти, добавить невозможной полноты, — он зашвыривает бутылку по высокой, крутой траектории в реку. Где, ныряя, выпрямляясь, восполняя понемногу недостаток прежнего, обладавшего магическою силой содержимого простой речной водицей, она и уходит на дно…

Вот потому-то Дик больше никогда и не брал в рот ни капли из какой угодно бутылки, включая Фредди-Парровы подношения в виде глоточка ворованного виски. И потому-то он, наверное, хоть и владел ключом, больше ни разу не открывал таинственного сундука, пока не придумал, как содержимое оного может ему помочь.

Бутылки не стало, но Дика все так же ведет и шатает, и он никак не решит, сидеть ему, стоять, а если идти, то в какую сторону. На фоне блек-

лых свекольных полей, на фоне теряющейся в дымке — где-то вдалеке — Стоттовой дрены, на фоне серого неразбери-поймешь зимнего неба он представляет собой странное и увлекательное зрелище… Но — будь осторожен, юный сыщик. Может, хватит на сегодня зрелищ? Самое бы время потихоньку смыться. Самое время вернуться тихой сапой в дом, пока не возвратились ни Дик, ни отец, так, чтоб никто не догадался…

Что он и делает — в буквальном смысле слова ускользнув по инеистой наледи, которая настолько ускоряет его спуск вниз по дамбе, что дело едва не доходит до растяжения коленных связок, — а потом, промокший насквозь от долгого лежания в заиндевелой траве и с полным сумбуром в башке от того, чему он был свидетель, возвращается низом вдоль северного берега.

Однако после странного этого экзерсиса Дика с бутылкой происходит и еще кое-что. Кое-что дает о себе знать, поначалу еле слышно и едва заметно, после того как плюхнулся в реку, этакой пародией на Экскалибур, вышеупомянутый, коричневого стекла, сосуд. Поднимается ветерок. И усиливается с каждой минутой. Он разгоняет дымку. Он ерошит Лим. Вне всякого сомнения, он шуршит кустами остролиста на Хоквеллском

погосте и пытается оборвать с колокольни густую поросль плюща. Он ярится вовсю, раздув из-под подернутого пеплом неба на западе жаркие угли звезд — к тому времени, как я возвращаюсь домой и едва успеваю вынуть из печи, пока не загорелись сами, дюжину обугленных лепешек.

Восточный Ветер.

39
ГЛУПЫЙ

И тот же самый Восточный Ветер — или не тот же самый, а его летний двойник, его очаровательная, с жарким дыханием сестра (потому что всякий фенмен вам скажет: Восточный Ветер — это не один и тот же ветер, это близнецы, и один близнец убивает, а другой родит и гонит в рост) — дул однажды в четверг, после полудня, в августе 1943 года, гнал ясно различимые волны поперек сбрызнутых маковым цветом пшеничных полей на ферме Полт-Фен, шелестел, грохотал подсохшей за лето листвой тополей вдоль Хоквелл Лоуда, пока я шел знакомою дорогой, все туда же, на разрушенный ветряк.

Потому что, хотя мы больше и не договаривались о встрече, хотя в последний раз Мэри и ушла с таким видом, будто наши мельничные свидания навсегда остались в прошлом, и хотя с тех пор прошла целая неделя — целая неделя, как Фредди Парр был пожалован официально установленной причиной смерти, — я все-таки надеялся увидеть Мэри. Мне нужно было с ней

поговорить. Потому что вот уже три дня, как я играл с Диком в страшные игры. Я играл с ним в бутылочку и не знал, кто кого боится больше — я его или он меня. И больше так продолжаться не могло. Так, может, нам сказать? Сознаться? Пойти в полицию? Потому что, рано или поздно, все наши маленькие тайны все равно становятся явью, разве не так? Может, скажем, а, Мэри? Мэри, что?..

(Вот видите, даже и в те времена жив первородный грех историка: он вязнет в вероятностях, он категорически не способен к действию.)

И еще, раз уж речь у нас зашла о тайнах, эта бутылка, она из сундука, старого дедушкиного сундука, который стоит на чердаке, и только у Дика есть к нему…

Но я останавливаюсь на краю тополевой рощицы. Потому что, хотя уже давно перевалило за пять, хоть я и опоздал к магическому сроку — с трех до половины пятого, — когда в былые, и невозвратные с недавних пор, времена мы имели обыкновение встречаться, Мэри, она и впрямь на ветряке. И занята чем-то странным.

Она стоит на самом краешке кирпичного фундамента, у колесной будки, в том месте, где фундамент резко обрывается, футов, наверное,

на пять, вниз, в заросшую бурьяном дрену. Она стоит, и ветерок играет прядками ее волос, а потом, выбросив руки вперед и вверх, она прыгает. Юбка пузырем; сверкают загорелые коленки. И приземляется по-дурацки, на неловкий какой-то манер, тело деревянное, ноги в стороны, и не гасят прыжок, а будто бы, наоборот, делают жестче. Потом, бессильно опустившись, она садится в бурьяне на корточки и обхватывает руками живот. Потом выбирается из дрены и повторяет все сначала. И еще. И еще раз.

Я медлю в подернутой тихой дрожью тополевой рощице, пытаясь понять сей странный ритуал. Это что, такая игра на одного? Или отработка сложного какого-нибудь упражнения? И — не следовало б ей поаккуратнее? В конце концов — подумала бы о ребенке…

Я перебираюсь через ограду пастбища между рощицей и ветряком. По ветру плывет густой и сладкий запах луговых цветов. Ветер относит мой первый крик куда-то в сторону, и Мэри успевает изготовиться для очередного прыжка прежде, чем замечает мое присутствие.

«Мэри, что ты там?..»

Она меня не ожидала. Я сразу это понял. На лице — гримаска легкой досады. Она пришла сюда

одна. По личному делу.

«Будет лучше, если ты уйдешь, Том Крик. Будет лучше, если ты как можно скорее сделаешь отсюда ноги».

«Чем ты тут занимаешься — прыжки какие-то? Ты же расшибешься».

«Глупый. Иди отсюда!»

«Я пришел поговорить…»

И она снова прыгает, не обращая на меня внимания, как будто занята чем-то очень серьезным, она взмахивает руками, она решительно отводит взгляд; как будто не хочет, чтобы ей мешали, как будто важнее этих ее прыжков ничего на свете нет. И приземляется, словно воткнувшись, подрагивая, в землю, и опускается на корточки.

Я бегу к ней, чтобы помочь ей подняться. В бурьяне, там, куда она в очередной раз упала, выбита небольшая полянка; такое впечатление, что она тут не первый час развлекается.

«Зачем?.. Разве это не опасно? В твоем?..»

«Глупый. Вали отсюда».

А потом, когда Мэри поворачивается ко мне, я вижу, что ее лицо, несмотря на плотный слой летнего загара, бледное и блестит от пота. И это не струйки-капельки пота, когда что-нибудь делаешь на жаре, это холодный, на росу похожий

пот. А еще у Мэри в уголках глаз набухло по яркой, отчаянной капельке, и это уж совсем не пот.

«Глупый! Глупый!»

Как доведенная до крайности мама, когда она срывается на крик. Как…

До меня доходит.

«Так, значит, ты?..»

«Да. Глупый. Не мешай мне».

«Ты и правда собираешься?..»

(Так мало веры — до сих пор — в то, что Мэри может быть настоящей Мамой, что это маленькое существо у Мэри внутри, оно и в самом деле там. Но она может. Оно там. Он сам увидит.)

Она снова, задыхаясь, лезет, вдоль по заросшему кульверту вверх, на кирпичный фундамент.

А я даже и не пытаюсь ее остановить. Я не протягиваю рук, не кричу в ярости. Потому что — покуда во второй раз за неделю реальность наваливается на меня невесть откуда, совсем как земля наваливается на Мэри, и бьет, и у меня плывет перед глазами, и земля, наваливаясь на Мэри, одновременно словно бы уходит у меня из-под ног, рождая головокружение и дурное ощущение пустоты в желудке, — что там за мыслишка, жесткая и острая, вертится у меня в голове?

Наверно, он от Дика. Если она хочет убить — ес-

ли она хочет от него избавиться. Точно от Дика. Потому, что она не хочет ребенка от… Потому, что она бы не стала убивать нашего с ней…

И когда она опять поворачивает ко мне свое восковое, залитое холодным потом лицо, я ловлю ее за руку и вдруг начинаю кричать: «Он же от Дика, ведь так? Точно. От Дика. От Дика!»

«Почему бы тебе просто не взять и не свалить отсюда?»

Она снова берет курс на трамплин.

«Мэри, не надо. Не делай этого».

Так обращаются к самоубийце.

«Не прыгай».

Она прыгает. Корчится от боли. Стонет. И опять идет вверх.

Я хватаю ее за руку.

«Прекрати. Прекрати немедленно».

Она стряхивает мою руку прочь. Маска ярости на лице, зубы стиснуты. Ветер перебрасывает волосы ей на глаза.

«Ведь он от Дика, правда? От Дика. От Дика!»

Она забирается на фундамент.

«Ладно. От Дика».

(Ну, крошка будущий отец; получил?)

Она подходит ближе к краю, чтобы еще раз прыгнуть.

«Мэри, мне кажется, он знает, что я знаю. Мэри, поговори со мной. О Господи… Я пришел сказать тебе. Мне кажется, мы… А тут еще этот сундук…»

(Мэри, если ты сей же момент не прекратишь…)

Но Мэри не слушает. Потому что, прежде чем она успевает еще раз прыгнуть, прежде чем очередной удар о землю сможет сделать свое дело, ноги у нее как-то вдруг подгибаются, и ей, чтобы не упасть, приходится опереться о просмоленный дощатый бок ветряка. На корточки, и роняет голову.

Я забираюсь на фундамент. Сажусь с ней рядом. Обнимаю одной рукой за плечи. От кожи веет льдистым неживым холодком. Я пытаюсь влезть в ее шкуру и внезапно почти физически ощущаю, как вибрируют у нее под кожей нервные окончания.

«Что-то случилось, — выговаривает она и поднимает голову; на лице — призрак смеха. „Значит, все-таки сработало“.

А потом она говорит, сквозь хлынувшие откуда ни возьмись слезы: «Не от Дика. Он наш. Наш. Понимаешь?»

Дует ветер, перебирая листья тополей, и алые маки, и каштановые волосы Мэри. Он дует, на-

ливая спелостью восточноанглийскую пшеницу, перекрашивая фенлендские нивы — с явственной отдушкой хлебной печи — в золотистый цвет буханок, которыми они в один прекрасный день и станут. Однако, хоть ветер и теплый, хоть он и утихает понемногу, поскольку дело к вечеру, с таким же успехом мог дуть и холодный, безжалостный зимний ветер.

Мы забираемся в пустую скорлупу старого ветряка. Здесь мы когда-то посеяли любовь и ждем теперь ее преждевременных всходов. Я откидываюсь — спиной на иссохшие доски. Мэри ложится ко мне. Задирает юбку.

«Крови мало. Там что-то случилось, внутри. Только что. Надо подождать… Вот, видишь».

Она не может встать. Сразу начинает тошнить.

Мы ждем (шепотки и сквознячки; порывы ветра; тонкий писк ласточек), проходит час или чуть больше. И ничего не происходит.

В конце концов я набираюсь храбрости: «Мэри, а может — все в порядке. Может, ничего и не произойдет».

(Ведь именно этого мы только и хотим, не правда ли? Чтобы Ничто произошло. Чтобы что-то не произошло.)

Она качает головой. Трусики запачканные

кровью, у нее вокруг колен. Дело сделано. Назад не переделаешь.

«Ведь ты же — понимаешь?»

Да, я понимаю. Потому что если бы этот ребенок никогда не… Тогда бы Дик никогда не… И Фредди… Потому что причина, следствие… Потому что Мэри сказала, я знаю, что мне…

Я понимаю, но вот чего я понять не могу: ласкового августовского солнышка, жаркого ветра, медового запаха луговых цветов, и, прямо над нами — где когда-то, во времена Томаса Аткинсона, крутились, выкачивая-воду, выкачивая-воду деревянные крылья, — жестокой, васильково-голубой окружности летнего неба.

Надвигается вечер. Ветер стихает.

Устроив Мэри поуютней в сгибах рук, вызвав из былых времен вечерний — в спальне — голос мамы (но это ведь я ребенок, а она…), я начинаю говорить надтреснутым тоном тех взрослых, которые в самый разгар кризиса пытаются хотя бы перед детьми делать вид, что все хорошо: «А помнишь, Мэри, когда мы в первый раз сюда пришли, когда мы, когда?..»

(А помнишь, Мэри, давным-давно, давным-давно? Когда еще не было ни телевизоров с многоэтажками, ни ракет на Луну, ни противо-

зачаточных таблеток, ни транквилизаторов с карманными калькуляторами, ни супермаркетов с едиными школами, ни ядерных боеголовок… когда были паровозы и волшебные сказки… когда у идущих по Лиму лихтеров все еще можно было различить на носу оставшиеся с былых времен два скрещенных ячменных колоса? Ты помнишь тот ветряк? А как мы с тобой ходили на Уошфенскую топь?..)

Но Мэри неинтересно. Лицо у нее белое и холодное. Глаза зажмурены. Ей дела нет до историй. Она не любопытна.

Ветряк-убежище, ветряк-укрытие. Разве могут нас спасти его разрушенные стены? Разве нас утешат деревянные объятия?

Но мы лежали в ветряке, тем золотым летним вечером, как будто в последнем на земле убежище. Потому что именно так я и думал, невзирая на пшеничные поля, и маки, и васильково-голубые небеса: скоро все кончится.

40
О
НОЧНЫХ
КОШМАРАХ СОВРЕМЕННОСТИ

«И люди все садятся в машины, сэр, и выезжают на улицы. Им кажется, они могут уехать куда-нибудь в безопасное место. Им так кажется, хотя их и предупредили, что это бессмысленно. Родители заталкивают нас с сестренкой в машину. У них и мысли нет насчет еды, одежды, ничего такого. Потом мы выезжаем на шоссе, а оно сплошь забито машинами. И люди сигналят, кричат, визжат. И мне приходит в голову, что вот так оно все и кончится — мы все умрем в огромной автомобильной пробке…»

«…а мне снится, что, когда передают предупреждение, я далеко-далеко ото всех, кого я знаю. И я должен до них добраться. Я просто хочу увидеть их еще раз, прежде чем… Но…»

«…они объявляют об этом по телику. Ну, знаете, у вас четыре минуты… Но такое впечатление, будто никто не обращает внимания. Никто и ухом не ведет. Отец храпит себе в кресле. Я кричу. А маму

больше всего беспокоит, почему не показывают „Перекрестки"...»

«...дома сперва раскаляются докрасна, потом добела, и люди тоже докрасна и добела...»

(«Как же ты это увидишь — ты ведь уже умрешь. Глупый».)

«...и мой маленький братик, он корчится на полу, весь обугленный, и я знаю, что надо его добить...»

«Таблетки, сэр, яд. Мы садимся в кружок и глотаем их все вместе...»

«...и никто не хочет первым выходить из убежища...»

«И, так смешно, мне снится, что я — единственная, кто выжил. И даже ни одной царапины. А кругом один этот пепел. И я хожу кругом и думаю, ведь так же не может быть, ведь так не бывает...»

41
ВНУТРИ ТАКОЕ ЧУВСТВО

Но все истории когда-то были явью. И все исторические события, битвы и костюмные драмы когда-то произошли на самом деле. Все истории были когда-то просто чувством внутри. И у меня сейчас такое чувство, Прайс, — нет, пить я больше не хочу. Может, лучше двинем отсюда? И у тебя такое чувство. По поводу Ничто. И у Мэри, у нее уж точно было это чувство, в тот августовский вечер…

В один прекрасный день, Прайс, как-нибудь, в далеком будущем, ты скажешь: был у нас однажды такой учитель, историк, который нам давал совершенно сумасшедшие уроки, а жена у него… Иные реальности ждать себя не заставят.

Но когда до конца останется всего ничего, реальности больше не будет, одни истории. Вот и все, что нам останется тогда, — истории. И мы усядемся кружком, в этом чертовом убежище, и станем рассказывать истории, как бедная Шахерезада, надеясь, что это никогда…

Свернувшись калачиком внутри ветряка. Ше-

потки. Сквознячки. Ветер сходит на нет; тополя отращивают тени. Едва ощутимые спазмы — весьма ощутимые спазмы — у Мэри внутри. И Мэри говорит в конце концов, потому что не сработало, ничего не вышло: «Придется идти к Марте Клей».

Итак, дети мои, поскольку волшебные сказки не всегда бывают милыми и уютными (загляните еще разок в братьев Гримм) и поскольку сказка без нее все равно что не сказка, позвольте рассказать вам

42
О ВЕДЬМЕ

По имени Марта Клей. Которая доводилась женой Биллу Клею (по крайней мере, принято было так считать). Которая жила в хибаре Билла Клея на дальней стороне топи Уош Фен. Которая делала снадобья и предсказания (или, по крайней мере, принято было так считать). А кроме того, помогала избавиться от нечаянных плодов любви…

Но сначала, прежде чем я перейду к Марте Клей, позвольте рассказать вам о наших фенлендских гусях…

Под коими я имею в виду отнюдь не пернатую, клювоголовую и лапчатую разновидность. Не черношеих «канадцев». Не серокрылых, краснолапых или белогрудых, что прилетают к нам из Арктики, ведомые зовом ничуть не менее таинственным, чем тот, что движет их водным сотоварищем по музе дальних странствий, Anguilla anguilla. Не гомонящие, гогочущие V-образные стаи, которые с незапамятных времен облюбовали Фены и подарили фенменам древний знак

доброй воли — расщепленное гусиное перышко. Нет. В августовский вечер 1943 года никаких таких гусей вокруг не наблюдалось, потому что гуси прилетают зимой. Но в 1943 году у нас вывелась своя собственная порода гусей. И тоже шумных, и тоже летающих клином вдоль по привычным воздушным путям на тот берег Северного моря; сделанных из алюминия и стали, деревянных распорок и плексигласа; и овладевших хитрым трюком откладывать сильновзрывчатые и зажигательные яйца прямо в воздухе.

Они как раз вставали на крыло, эти грохочущие птичьи стаи, оставляя позади разбросанные там и сям дневные логова (потому что птицы они были ночные) и зависая, ну совсем как гуси, черными шустрыми силуэтами на фоне закатного огненного шоу — покуда мы с Мэри (Мэри — бледная, с закушенной губой, задыхающаяся через каждые два шага) пробирались с Хоквелл Лоуда на топь Уош Фен. Но мы едва обращали на них внимание, нам было о чем подумать, а кроме того, мы настолько привыкли к их монотонному, пульсирующему гулу по вечерам, что воспринимали их едва ли не как явление природы, едва ли не как настоящих гусей. Пока мы с Мэри шли к хижине Марты Клей, они отправлялись в полет, взяв курс

на Гамбург, Нюрнберг и Берлин. И у каждого из наших бравых пилотов, штурманов, пулеметчиков и бомбардиров было сердце, и каждый сосал когда-то материнскую грудь, и у граждан этих обреченных городов тоже были сердца, и они тоже были вскормлены материнским молоком.

Наши руки не для скуки, мы руками можем все. В 1793-м апокалипсис пришел в Париж (всего-то навсего несколько тысяч голов); в 1917-м — в болота Фландрии. Но в августе 1943-го (да-да, сухой язык исторических источников гласит, что, несмотря на грандиозные масштабы того, предшествующего кровопролития, Первая мировая унесла много меньше человеческих жизней, чем Вторая, а гражданских лиц там погибло всего ничего), он градом детонирующих при падении гусиных яиц обрушился на Гамбург, Нюрнберг и Берлин…

Но обо всем об этом у нас даже и мысли не было (собственных проблем по горло) в тот августовский вечер.

Любовь. Ль-любовь. Ли-ль-любовь. Она и вправду — оберег от зла? Сможет ли она во веки вечные поддерживать связь между причиной и следствием?

Помочь тем полным дурных предчувствий

гражданам Гамбурга и Берлина, которые обнимают сейчас своих любимых и шепчут ласковые слова в ненадежных подвалах и наскоро отрытых на задних дворах бомбоубежищах? В состоянии ли она рассеять черную, в огненных всполохах тучу, которая застит внутренний горизонт, когда вдруг поймешь: это твоих рук дело, ничего бы не случилось, если б… При чем тут несчастный случай, ты сам изжарил своего гуся…

По фенлендским дорожкам, вдоль фенлендских канав; сквозь ракитники и заросли бредины, по тропкам, просекам и дощатым мостикам, которые известны были только нам, детям Фенов. Как Хереворд и Торфрида (ах эти уютные и мороз-по-коже полуночные чтения), когда они после взятия Или бежали через топь. Их ведь тоже, как рассказано в книге, в годину бедствий поддерживала любовь. Но мы-то не в придуманной истории…

До лачуги Марты Клей путь не ближний. Вдоль южной оконечности топи на север, к узкой полоске лугов между топью и длинной, вытянувшейся к востоку излучиной Узы у Ньюхайта. По левую руку пламенеет закат. По правую — бескрайние армии камыша. Вдалеке, над самой серединой топи, поднимается дымок из свайной лачуги Билла

Клея. Значит, Билл Клей сейчас там, по летнему своему обыкновению. Значит, Марта одна.

У Мэри вниз по ноге бегут, обгоняя друг друга, две ленивые, смазанные на ходу о высокую траву струйки крови. Мы, вздрогнув, останавливаемся оба. Перед глазами, с готовностью, картина: окровавленный, липкий, похожий на вырезанное овечье сердце выкидыш на примятой болотной траве. Он что?.. Прямо сейчас? Господи, Мэри, если мы застрянем здесь в темноте. Сумерки сгущаются. Время сов и блуждающих огоньков. Самое время появиться и ведьме. Мэри, возьми меня за руку. Мэри, держись. Мэри, я люблю тебя. Мэри, пойдем. Ведь мы должны до нее добраться? (А мы хотим до нее добраться?)

Но мы таки до нее добрались. И увидели Марту Клей…

Ни островерхой шляпы, ни помела, ни ухмыляющегося черного кота на плече (один только брехливый, слюнявый, замызганный беспородный ублюдок на веревочной сворке у дома, который возвестил наш приход и вызвал из дому Марту Клей с масляной лампой в руке). Я вижу маленькую женщину с массивной круглой головой. Я вижу женщину в древних кожаных башмаках. В тяжелой серой юбке, сварганенной

чуть не из конской попоны. Из-под которой торчат обтрепанные подолы бесчисленных нижних юбок, когда-то, может быть, и белых, а ныне напоминающих по цвету старческие зубы. В засаленной блузке, жесткой и липкой, как старая, отслужившая свое парусина, и рукава закатаны по локоть. А поверх блузки и юбки — как будто Марта Клей, по профессии ведьма, подрабатывает в свободное время уборщицей — линялый, в цветочек, до самой до земли рабочий фартук.

А увидев Марту, мы почувствовали запах Марты…

Но — будет об ее нарядах. (И о запахе тоже!) Какое лицо! Маленькие, влажные, пронзительные глазки. Кожистый кисетик рта. Нос: костистый (но уж никак не крючком). Лоб: кочковатый, лоснящийся, цвета табака. Волосы: седые, тусклые, утянутые на затылке в тугой пучок, а в пучке торчат два длиннющих гусиных пера. А щеки! Щеки! Они не просто румяные и круглые. Не просто красные. Не просто свидетельство долгих, в десятки лет, из года в год и безо всякого перехода столкновений с зимней стужей и палящим летним солнцем. Они — два огненных пузыря. Два больших переспелых томата.

(И если уж речь зашла о переспелости, эта

вонь…)

«Ага, ага. — Она поднимает лампу чуть повыше. — Какими судьбами к стар’й Марте? Не часто к Марте гости захаживают в такое-то время дня. К Марте гости ва'ще не часто захаживают. Какими судьбами к стар'й Марте?»

Приняв во внимание окровавленную юбку Мэри и то, что она еле держится на ногах…

Я решил сразу и начистоту:

«Мы хотели попросить вас…»

«Эт' значт, Хенри Крика парнишка? Том Крик. Диков брат. Эт' значт, приятель Фредди Парра?»

«Мы…»

«А эт' значт, Харольда Меткафа девчонка? Которая в монстырскую школу ходит. Така' вся умница и красавица. Ну, так и зачем, значит, к Марте пожаловали?»

«У Мэри…»

«П'томушто гости к Марте не часто захаживают».

«Нам сказали, что вы…»

«Да уж ты молчал бы, молодой! У меня покаместь глаза на месте, или как? Ты хоч' сказать, что эта маленькая мисси обзавелась, м'л, чем-то, от чего она не прочь избавиться. И если приглядеться, эт' самое, оно уже вроде как уже принялось

само от себя избавляться. Ты эт', что ли, мне хотел сказать?»

Я киваю.

«Ага. Ага. А мы, значт, в этом уверены? Мы, значт, все знаем точно? Птомушто, видишь ли, паренек, откуда Марте знать, вдруг у нашей мисси просто месяц такой нехороший? Просто, знаешь, такие бывают ссачки-кровячки. П'томушто мно-ого их таких. Девчонок-т'. Монстырок. Чуть крови кап, они уже и кипятком сцать, жуть чего натворилось. У них, м'л, робеночек намечается. Откуд' робеночки беруцца, эт' оне еще не знают, а к Марте сюравно бегут соплями мазать».

Она глядит, блестя глазами, на Мэри, потом на меня, потом опять на Мэри.

«Так, вот об чем я вас и спраш'ваю, голубочки мое, вот я и спраш'ваю, отчего мы такие уверенные, отчего мы?..»

«Потому что — мы занимались этим делом! — срывающимся голосом выкрикивает Мэри. — С ним вдвоем. Чем нужно, тем и занимались».

«Ага. Тогда другое дело. — Она рассыпается долгим довольным смешком. — Значит, Том Крик с Мэри Меткаф. Тогда другое дело. Заткни св'ю пасть, Долбак! — (Зашедшемуся лаем, рвущемуся с веревки псу.) — Значт, вместе этим делом, зна-

чт, на пару?»

Мэри судорожно хватает ртом воздух. Хватается за живот.

«А знаете, что старик-т мой, Билл, говорит? Он говорит, чегойт' Фредди больше не заходит. Птицу брать. С бутылк'ми. А Билл, чтоб без бутыл'к, он не любит».

Мэри стонет.

«У нас ничего нет, — говорю я. — Чтобы вам дать. Но мы что-нибудь принесем — все, что угодно. Пожалуйста, Марта. Ну пожалуйста».

«Па-ажалсста, Марта, Па-ажалсста. Миссис Клей для тебя, понял, молодняк? Чему тебя в школе учили? Миссис Клей».

Мэри опускается на колени.

«Ну да, дочурка, с'час падать начнем. Окочуримся мне тут, было б радости. Ево оттеда доставать не так сладко будет, как туда ево запихивать. Ладно, молодняк, надо б ее в дом занесть, что ли…»

Дети, вам когда-нибудь доводилось попасть в иной мир? Завернуть за угол, туда, где Сейчас и Давным-Давно — одно и то же, а время течет как будто бы где-то в иных краях? Если вам случится когда-никогда, попав в город Гилдси, зайти в тамошний Фенлендский музей (открыт в 1964 году на Рыночной улице, в бывшем помеще-

нии Хлебной биржи) вы увидите макет старого фенландского крестьянского дома в полную величину. Но он же ничего вам не скажет, он вам даже и близкого не даст представления о…

Плетенные из прутьев стены, обмазанные смесью глины с рубленой соломой, а поверх — белая когда-то штукатурка. Земляной, плотно убитый пол. В сложенном из кирпичей камине горит торф. Торфяный дым, способный заглушить даже Мартину вонь (состоящую, если уж на то пошло, на добрую половину из того же торфяного дыма). Решетка, сковородки, вертела, таганы; вместительный чайник. В камине устроено нечто вроде плиты. Два стула с цельнодеревянными спинками, стол на козлах. В одном из углов задернутая наполовину грязная занавеска приоткрывает крытую овчинами лежанку. Деревянный, грубой работы кухонный стол с буфетом. Лампы. Оплывшие свечи в блюдцах. И все. Потому что сверх того — существа не домашней породы. Целая куча предметов, которые ни один нормальный человек не стал бы держать в доме — да что там, вообще где бы то ни было держать. Два кремневых дробовика чудовищного калибра, подцепленные на крючьях на каминной стене. Сети, лопаты, жерди, косы, серпы, ведра. С потолочной балки

свешивается, как две отрезанные и мумифицированные ноги, пара высоких кожаных болотных сапог. Но гляньте только на потолок! Чем он там еще увешан. Он увешан битой птицей. Кряквы — утки и селезни, — чирки, ржанки, бекасы. Там висят полоски меха и угревой кожи и водяная крыса с окровавленной мордой, подвешенная за волосатый хвост. Там висят пучки всех ведомых и неведомых листьев, трав, кореньев, стручков, на всех возможных стадиях зрелости и усыхания. И еще какие-то уродливые, почерневшие от дыма предметы, о происхождении и назначении которых даже спрашивать не хочется. И невероятное изобилие всевозможных мешочков и сумочек, о чьем содержимом также не хочется спрашивать.

В буфете странный набор никак не связанных между собой предметов: алюминиевые кастрюли, жестянка соли «Серебос» [52]; к углу буфетной полки пришпилена пожелтевшая вырезанная из газеты фотография. Черчилль, с неизменной сигарой. Как они сбрелись в одну компанию, пришельцами с какой-нибудь, в далеком будущем, авангардистской инсталляции…

---

[52] Примечания: 52

Стандартная марка поваренной соли, продавалась в больших жестяных банках.

Но мы уже сделали шаг в иной мир. Туда, где все вещи замерли; где прошлое будет повторяться снова и снова…

«Тебе лучше'б лечь на койку, дочка. И снять па'штан-ники…»

Не сюда же! Не на эту груду вонючих овчин!

«А ты б лучше сделал штон'т' полезное, молодняк. Кипятку. Чайник вон. Огонь разведи. Вода в насосе — накачай».

Руки Марты: ногти как старое олово.

Мэри, пошатываясь, идет к кровати. Марта за ней следом. Занавеску она не задергивает. Я отворачиваюсь.

«Эт'ты прально делаешь, молодой. Головенку-т' отворотил. Када на пару этим делом занимались, небось, не такой стиснитльный был, а? Ладно, дочка, а теперь расскажи-к' ты старой Марте, что ты такое над собой сделала, чтоб до такого сея довести. Тыкала чемньть? Или, можть, прыгала-скакала?»

Я, с кувшином и большой кружкой, выхожу наружу, искать насос. Брешет пес. Почти стемнело. Мы останемся здесь на всю ночь. Мы останемся здесь навсегда. Когда я снова вхожу в дом, Марта

держит в руке перекрученные, пропитанные кровью трусики Мэри, как кусок сырого мяса.

«Что не так, молодой?»

Она выходит мимо меня на крыльцо.

«На, Долбак. Есттьчо пожевать».

И бросает окровавленный комок ткани куда-то в темноту.

«Так, молодой, давай за кипяток».

Открыв дверцу буфета, она вынимает бутылку, тряпку, миску и кусок свернутой в рулон клеенки. Потом берет стоящий у очага котелок, отливает в него по чуть-чуть из стоящих на буфете банок, а потом — от свисающих с потолочных балок пучков пригоршню того, пригоршню сего.

Ни наговоров, ни заклинаний.

Она ставит котелок поближе к огню. Подходит к кровати и расстилает клеенку поверх овчин.

«Давай-ка, дочка, жопку суда переклади. И глотни вот эт'ва. Мартино л'карство. Нравицца-не нравицца, пей, моя красавица».

Она протягивает Мэри бутылку. Та пьет; поперхнулась, опять пьет. И вдруг поверх бутылки на меня выкатываются два совершенно ошалелых глаза.

«Глотай. От-так. Гляди на Марту, ток' на Марту. Ну, какая хорошенькая. Глотай. Мартино лекар-

ство. Для твоей'ж пользы. Гляди на Марту».

Мэри погружается в небытие, роняет бутылку обратно Марте в руки. Глаза у нее остаются открытыми. Меня прошибает мгновенная мысль: Марта ее отравила, убила ее. А теперь моя очередь — крошки Гензеля, который, надо же, очень кстати, стоит как раз возле печки.

«Ну — как там чайник, эй, молодняк? Да не бойс' ты за нее. Давай, лучч' помоги мне стол перетащить».

Мы переносим стол поближе к кровати. Мэри не шевелится. Кровь на клеенке. Потом Марта зажигает вынутой из пламени щепочкой лампу и ставит ее на стол, а потом рядом с ней еще и свечку на блюдце. Возвращается к очагу, наливает из только-только зашумевшего чайника воды в котелок с таинственными снадобьями и опускает котелок вместе с чайником обратно на решетку. Подхватывает ведро и ставит у изножья кровати. Потом протягивает руку и снимает с балки один из кожаных мешочков. Там, завернутые в ветошку, лежат какие-то штуки. Штуки, похожие на длинные ложки, на щипцы, на бутылочные ершики, на ложки для обуви.

«У Марты цел' набор инструментов-т'. Ты не поверишь, молодой. Не поверишь, скок'йих у

меня».

Она раскладывает эти штуки на столе, как заправский хирург. Чайник пустил пар. Она велит мне перелить содержимое котелка в миску, добавить воды из чайника и перенести котелок на стол. Я приношу горячий, полный каких-то плавающих ошарошек, чайного цвета отвар и ставлю, куда сказано. Она по очереди опускает в раствор каждую из своих хирургических штуковин. Потом подталкивает свечку в блюдце на самый край стола, туда, где лицо Мэри. Поднимает руку Мэри и кладет ее на стол, рядом со свечой. Рука у Мэри совершенно безвольная. Потом наклоняется и что-то говорит ей в самое ухо. Мэри не шевелится, не переводит взгляда, и только глаза у нее как будто делаются шире.

«Ну-ну, дочк', Марта больно-т'те делть не собирается. Марта-т'те только добра хочт. А если больно будет, ну и прихлопни ладошкой свечку. Прям' на сам' пламечко».

Мэри моргает.

Марта поднимает голову, принюхивается к идущему из миски пару, опускает в миску руки, потом оборачивается ко мне.

«А ты шел бы отсед', молодняк, и поскорей. Посиди там снаружи тихонько и не путайся у

старый Марты п'д ногами. И перестань мне сопли распускать».

(Потому что именно этим я и занят.)

«Держи».

Она сует мне в руки бутылку, из которой только что поила Мэри. Я мотаю головой. В следующую секунду горлышко уже проталкивается у меня между губ, и я машинально глотаю.

«От'так. И давай займись чемньть. Щипать умеешь?» Она задирает голову туда, где под потолком застыли неровные шеренги битой птицы. Я, как сомнамбула, киваю (у кухонной двери, после терпеливых маминых инструкций — после того, как отец свернул ей шею, — ощипывал красновато-коричневые перья старой переставшей нестись курицы).

«Сними какую там и ощипай для Марты. Мил' дело, птичонку-т' пощипать, а? Как оно?»

Я иду туда, где балка, и протягиваю руку к изумрудноголовому селезню.

«Не, молодняк. Ты утку бери. — Она хихичет и задергивает занавеску. — Ты утку бери!»

И вот, пока внутри Марта Клей служит службу, которую только она и может сослужить Мэри, ваш будущий учитель истории садится снаружи и принимается прилежно ощипывать утку. Стоит

темная — хоть глаза коли — августовская ночь. Сонмы звезд, серебряных гусей, плывут по ночному небу. У него начинает кружиться голова. В руках у него уже не утка, а курица. Он сидит в залитом солнцем затишке между курятником и кухонной дверью, и там стоит мама, а на маме фартук. Вот только курица не мертвая, а живая. Она принимается бить крыльями и нести яйца, одно за другим (значит, зря ее решили в суп). Неостановимый, бесконечный поток яиц, их так много, что приходится призвать на помощь маму и ее передник. Но мама говорит, что на самом деле это не яйца, а упавшие звезды. А это они и есть, мерцают и перемигиваются в пыли. Мы несем упавшие звезды в курятник. Который совсем не курятник. А остов старого дощатого ветряка на берегу Хоквелл Лоуда. И там, подобрав колени, лежит голая Мэри. Мама потихоньку уходит. А Мэри начинает рассказывать про месячный цикл, и про всякие чудеса у нее в дырочке, и про то, откуда берутся дети. Она говорит: «А знаешь, я несу яйца». И он, невежда, но невежда, пылающий тягой к знаниям, говорит ей: «Что, прямо как куры?» А Мэри смеется. А потом кричит, а потом говорит, что она Божья мать…

Утка падает у меня из рук (значит, все-таки

утка). Это не сон. В сон нельзя проснуться. Темно. Я здесь; здесь сейчас. Я сижу (задремал, голова упала вперед) на скамейке у лачуги, в которой Марта Клей, всем известная ведьма…

И Мэри. Мэри тоже вынырнула из самогонной анестезии, из ведьминского зыбкого гипноза, вынырнула в сон, который вовсе не сон, и — она молится. Она выкрикивает слова молитвы жутко, неостановимо, бессмысленно.

Я бегу к дверям. Запинаюсь. Бегу обратно, к маленькому окошку, которое должно глядеть прямо на зашторенную лежанку. Есть такие вещи, которые происходят наяву, хотя должны происходить только во сне. Трубка — нет, длинная камышина, целый стволик болотной осоки — торчит у Мэри в дырочке. Другой конец у Марты во рту. И Марта, скрючившись промеж окровавленных коленей Мэри, закрыв от напряжения глаза, сосет, сосет из всех своих ведьминских сил. И щеки — два кровавых пузыря — работают, что твой кузнечный мех.

Я врываюсь в дом. Отдергиваю грязную занавеску. Марта вроде как раз что-то выплюнула в ведро. Я ору: «Мэри!» Но Мэри меня не слышит. Ее имя мячиком отскакивает обратно ко мне. Она меня не узнает. Она — маленькая монастырка,

исступленно творящая молитву:

«СвятаяМарияМатерьБожьяСвятаяМарияМатерь-БожьяСвятаяМарияМатерьБо…»

Свеча расплющена у нее под рукой. Я чуть не падаю через ведро. В ведре то, из чего делают будущее. Я бегу наружу, чтобы проблеваться.

43
ВЫШЕ ГОЛОВУ

Он чуть ли не пытается помочь мне выйти на улицу. Он растерян, он хочет проявить заботу. Его учитель пьян… (И как так вышло, что наш Прайс, наш подрывной элемент, проявил такую выдержку и осмотрительность? Когда я не в силах устоять перед еще по одной и все, он заказывает себе томатный сок.) Учитель не имеет права напиваться пьян. Он должен держать строй, и подавать пример, и трезвый образ жизни. Вот в чем главная учительская странность. Не в шутовстве. Ученик не должен быть поводырем учителю. Когда бунтарь становится подпоркой для тирана…

Но как — глотнешь — и беда не кажется такой уж… Но как реальность обретает… А знаешь, мои предки по материнской линии, они на выпивке построили целую империю…

«Да, кстати, Прайс, тебе это должно понравиться — он хочет уволить к чертовой матери Историю. Не только меня, понимаешь, предмет. Убрать всю эту бодягу…»

Широкий, размашистый — и уводит в сторону

— жест в адрес равнодушных новостроек юго-восточного Лондона.

«Пожалуй, за руль садиться не стоит, а, как ты считаешь, Прайс? Не стоит? Извини — не смогу тебя подбросить. Поеду на автобусе. А машина пусть стоит у школы».

«Все равно ворота уже заперли. Я вас провожу до остановки».

Мы мерим шагами тротуар.

«А-астарожно».

На автобусной остановке я возглашаю: «…всю эту бодягу, всю…» Он еще больше мрачнеет и отводит взгляд. Когда за мной приходит мой пятьдесят третий, непременное: «Ну, до свидания, сэр. Вы — поосторожней, сэр».

«До свидания. Эй, Прайс, выше голову. Что так кисло? Я до конца семестра никуда не денусь. Надо же нам разобраться с Французской революцией. Ты что, забыл? Эй, Прайс, — (уже с площадки, пока автобус увозит меня прочь), — не позволяйте ему этого сделать!»

А История едва ли найдет время упомянуть о том, что в ночь накануне Французской революции Людовик XVI как раз оплакал своего первенца.

44
НАЧАТЬ СНАЧАЛА

Мы относим ребенка в машину. По какой-то странной прихоти обстоятельств он спит. И даже не мокрый. На долю секунды мне кажется: он умер от испуга. Мэри сидит на заднем сиденье и крепко держит его обеими руками, а я веду машину. То, что происходит дальше, больше всего напоминает пародию на бешеные авторалли впавших в панику молодых мужей, чьи жены ни с того ни с сего вдруг принимаются рожать. С той разницей, что ребенок у нас уже есть и мы гоним на полной, чтобы отдать его обратно.

С заднего сиденья торопливо-покаянный монолог Мэри: «Это было так просто. Так просто. Я видела, как она вошла. Оставила коляску у входа. Разве она не понимала, что это рискованно? Я была у фруктового стеллажа, шла к кассе. Уйма народу. Большая такая коляска, не сидячая. Может, ей и нужно-то было всего ничего, вот она и подумала — с этой коляской, в толпе. Я видела, как она ушла в какой-то проход между полками. Думала, никогда не решусь. А потом

поставила корзину. Ничего в итоге не купила. А взамен вот… Я посмотрела вдоль прохода. Пошла к коляске. Огляделась. Взялась за ручку. Толкнула, надавила, они все так делают. И сказала: „А вот и я. Пойдем-ка отсюда“. Никто даже и не догадался. Никто даже и не догадался, что я не настоящая…»

Мэри, тебе пятьдесят два года.

«И я поняла, что он согласен. Потому что он мне улыбнулся. Как только я толкнула коляску, тут он и улыбнулся. Ты правда мне улыбнулся? И не плакал. Ведь ты же не плакал? Потом я выкатила коляску за угол, а там в лифт — и в паркинг. Сумки положила в багажник, а ребенка на заднее сиденье, и одеяла туда же. Я знаю, что так не делают. Надо было тебя в них завернуть и чем-нибудь перевязать, правда? Но он не плакал. Совсем не плакал…»

Но говорит она так, как будто ее ввели в транс и она теперь вынуждена изображать из себя женщину, которая признается в совершенном преступлении. А правда настолько невероятна, что никто и никогда в нее не поверит. Правда в том, что она была свидетельницей чуда. Бог сошел в «Сейфуэйз» и одарил ее, отдал ей некую ценность совершенно бесплатно. Ребеночка в ка-

пусте. Он сказал, Иди, исполни волю Мою. Возьми его. Он твой…

(Об этом она станет рассказывать председателю суда и профессионалу-психиатру. И только мужу — профессиональному историку — она преподносит вымышленные, чисто исторические факты.)

«А ты сможешь ее узнать, Мэри, — я имею в виду мать — ты сможешь?»

«Да. Да, конечно…»

Я гляжу на нее в зеркальце заднего вида. Ясные, сияющие глаза. Значит, она и дальше будет излагать эту липовую легенду (…и поехала себе, и поехала. Никакой паники, никакого шума. Никакой погони, полицейских машин…), она и дальше собирается играть роль стареющей дамочки с подвыподвертом, которая ни с того ни с сего украла ребенка. В действительности же…

Как будто мы не в одном и том же пространстве. Как будто между нами стеклянная стена. Она — на заднем сиденье, а я — нечто вроде таксиста. Куда поедем, леди?

(Куда? Куда теперь?)

Или еще того лучше, задержанный, он же подозреваемый, в хвостовом отсеке патрульной машины; и начинается допрос:

«Значит, коляску вы бросили? Значит, потом

вы поехали домой…»

(Нам еще предстоит поближе познакомиться и с патрульными машинами, и с проедемте-в-участок.)

Огни — Стрелковый холм, Блэкхит, Льюишэм. Пятница в лондонском пригороде. По Льюишэм-Хайстрит не протолкнешься. Мне что теперь, сигналить, мигать фарами? Дайте дорогу, у нас несчастный случай!

Но куда такая спешка? Что за гонки? Когда обычный телефонный звонок. Откуда эта потребность вернуться на место. Четверть шестого. Мы подъезжаем к паркингу. Паркуемся на третьем уровне.

«Значит, машину ты оставила здесь?»

Это называется восстанавливать ход преступления. От конца к началу. Аналогично историческому методу; аналогично тому, как вам приходится выяснять, как так случилось, что вы стали тем, кем стали. Если повезет, может, и выясните. Если повезет, доберетесь до той точки, откуда можно начать сначала. Совершите революцию.

Я выключаю мотор.

«А теперь отдай мне ребенка, Мэри. Здесь и сейчас. Мы приехали. Сейчас я возьму у тебя ребенка».

Как будто говоришь — тоже с ребенком.

«Мэри, я возьму у тебя…»

Она, как будто в трансе, отдает его мне. Но на самом-то деле он остается с ней, он у нее на руках. И так теперь будет всегда.

Я держу его. Невероятно, но он все еще спит. Он и знать ничего не будет. Ему это привиделось во сне.

«А теперь мы пойдем обратно в „Сейфуэйз“. Туда, где ты…»

Мы пойдем обратно по собственным следам, мы вернемся…

Она идет как зачарованная, как сомнамбула. (Бог ждет. Он сам все объяснит. Та история, что я рассказывала тебе в машине, — полная чушь.)

«Значит, коляску из лифта ты выкатила здесь?»

Ни прохаживающегося туда-сюда полицейского. Ни отдаленного гула голосов.

Так, может быть, никто и не…

Или, может быть, сцена сместилась теперь в иное измерение: плачущая женщина в полицейском участке. Констебль участливо и безнадежно предлагает чашку чая. Врывается обезумевший муж, его вызвали по телефону. Коляска в ожидании судебной экспертизы… А покупатели

возвращаются к своим покупкам. Драма сыграна. Проволочные тележки наполняются…

И тут явимся мы со своей идиотской историей. Женщина? Какая женщина? Какой такой ребенок? Мы и понятия…

Я ошибся. Мы выходим из лифта и поворачиваем за угол мимо комнаты матери и ребенка и детского игрового загончика: у входа в «Сейфуэйз» небольшая толпа. Полицейские шлемы. Охранники. Гомон зевак, глазеющих от входов в «Даблъю-Эйч-Смит» и в «Маркс-энд-Спенсер» [53]).

Значит, драма не сыграна до конца. Наверное, мать отказалась куда бы то ни было ехать. Ну, давай, Мэри. Смелей, смелей. Мы восстановим… Мы вернемся. Иди же, Мэри. Всего несколько шагов. Вспять. Чтобы вперед.

Или…

Да. И об этом я тоже подумал. Она же Мэри глаза выцарапает. Вся толпа тут же набросится на нас. Уж я-то кое-что понимаю в толпах (так, например, в Париже, во время революции…) Оплюют и разорвут на части. И рев. Суд Линча в Льюишэме.

---

[53] Примечания: 53
Также общенациональные сети супермаркетов.

Но выходит по-другому. Выходит как на сцене. Толпа расступается. «Пожалуйста, прошу вас — мы принесли ребенка. Пропавшего ребенка». Толпа умолкает. Мать стоит в центре площадки. Я вижу ее. С ней рядом двое полицейских, мужчина и женщина, и они терпеливо пытаются в чем-то ее убедить. Она молоденькая. Этакий тинейджер. Сама еще ребенок. Совсем ребенок. Ребенок.

Она оборачивается. Заплаканные, пустые глаза. Она выхватывает взглядом из толпы меня; вернее, не меня — ребенка. И слышит его (словно почуяв зрителей, он открывает глаза и вступает со своей несложной партией). Она видит только ребенка. Ни меня, ни Мэри за моей спиной. Ни даже толпы — смазанные, прорисованные по заднику лица. Она делает шаг вперед; мизансцена расписана, ей даже и думать не надо. Она берет у меня ребенка, и ей нет дела ни кто я такой, ни как, ни что, ни откуда, ни почему. И хлынули слезы. Она принимается экстатически, навзрыд повторять слова, которые совсем недавно я слышал сквозь совсем иного рода плач: «Моя деточка, моя деточка, моя деточка…»

И вот тут Мэри вскрикивает, хватает ртом воздух, выходит из транса и падает в мои объятия. Я шатаюсь, подаюсь под ее весом, непривычный к

роли надежи и опоры.

(Мэри, славная моя, ангел мой, сильная моя…)

«Моя фамилия Крик. Ребенка взяла моя жена. Да. Моя жена — она не совсем здорова. Ну вот, мы привезли его обратно. Так что все в порядке. Я очень вас прошу — теперь мы можем быть свободны?»

Но мы не можем быть свободны. Вы же понимаете. Все вернулось на свои места, но это еще не конец. «Пройдемте с нами, сэр, пожалуйста, сюда — и миссис Крик тоже». Они хотят звать как, и где, и почему. Они хотят знать, что в действительности… (Господа, мне все это знакомо. Видите ли, я по профессии…)… «Да, конечно, сэр — так, может, начнем?» Но, господа, есть разные версии. (И так всегда бывает; возьмем, к примеру, 1789 год: хлебные бунты или конец золотого века.) Есть ее первое объяснение (которое притянуто за уши) и еще то, что она рассказала мне в машине. «Послушайте, сэр, может, начнем с самого начала?» С начала? А где это у нас такое? Как далеко мы собираемся залезть? Ладно, ладно, я сознаюсь в том, что моя жена умышленно взяла ребенка из оставленной без присмотра коляски. Ладно (до сих пор, не дальше?): я готов признать, что вместе с женой несу ответственность за смерть

трех человек (то есть — не все так просто — один из них так и не был рожден, а другой — кто знает, умер ли он на самом деле…)

Но какое все это имеет значение. Она же получила своего ребенка обратно. Ну и это самое… А моя жена, господа, вы же видите, она не в состоянии…

Полегче, полегче, г-н Учитель Истории. Эк вы запели. Получается, в классе вы ищейка, но, стоит вам самому оказаться в ситуации подследственного, тут же начинаются фокусы. *Historia* , или Исследование (как в Натуральной Истории). Так вы утверждаете, что это был несчастный случай, не так ли, сэр? И всяческая болтовня насчет чудес — побоку? Чего мы хотим от вас добиться, так это объяснения…

Подавайте нам историю. Так точно, без историй никуда. Даже когда полиция сбыла дело с рук и пошло своим чередом судебное следствие, появились журналисты, и тоже в поисках историй… Почитайте-ка вот это. Украла ребенка. Прямо у входа в «Сейфуэйз». Что за женщина…? Говорит, это Бог ей велел. Вы в состоянии поверить в подобную чушь? Да, конечно, психиатр дал положительное заключение — да, да, но кому какое дело до ученой чепухи? А муж у нее

— учитель в школе. (Недолго ему осталось.) Подумать только, наши дети…! Положим, с работы его уволят (положим, крыша у нее съехала)… Ну что там, опять? Фотография в четверть полосы — счастливая Мать с невинным Младенцем. Что я почувствовала, когда… Слушайте, да это прекрасный материал, драма из реальной жизни. Давайте-ка еще.

45
О ЩУКЕ

А Дик, пока я за ним наблюдаю, забирается на кровать и, дотянувшись до висящего на честном слове ящика из стекла и красного дерева, где плывет на воздусях распяленное чучело щуки весом в двадцать один фунт, пойманной Джоном Бедкоком в день Перемирия, просовывает руку внутрь, поскольку с тех времен, когда подписывали Перемирие, одна стеклянная боковина успела куда-то подеваться, а затем (даже Дикова большая мосластая рука входит без труда) в раззявленную, ощетинившуюся зубами пасть этого выдающегося представителя…

Ни мертвая, ни живая. Убитая, но не канувшая в вечность. Призрак… Эти беспокойные ночи, когда мы с Диком спали в одной комнате, и даже мамины истории…

Лунный свет на вытаращенных бессонно глазах, на зубах-сосульках. 11 нояб. 1918 г.

Дважды ее приходилось убирать, потому что мне снились кошмары. Но она была — главное Диково сокровище. (И свадебный подарок.) «Это

всего лишь рыба, Том. Мертвая рыба».

Но они же убийцы. Щуки. Пресноводные волки. Хватают уток, водяных крыс, других щук. Зубы торчат назад, туда, где глотка, так, чтобы уж если что попало… Убийцы.

И в пасти убийцы рука…

Но Дика больше нечего бояться. С тех пор, как я запирался от него на ключ, прошло уже несколько дней. С тех пор, как мы играли с ним в затейливую игру на нервах: кто кого больше боится? Страх растворился без остатка в чем-то ином. Страх уплыл по течению скандала, который взбаламутил из края в край тихое мелководье повседневной хоквеллской сплетни и не мог не растребушить даже гладкой, как утиная спинка, поверхности Диковых чувств; потому что в сплетне-мелководье есть свой черный омут и в этом омуте барахтается Диков брат.

Значит, бедняжку увезли прямо в госпиталь. Чуть-чуть бы и… Септи-что-то-тамия матки. Марта Клей! Марта Клей! Эта старая… А еще монастырка. Господи, что же в мире-то происходит. (В нем происходит мировая война.) Сперва Фредди Парр. А теперь за все за это отец ее запер в четырех стенах. Или, может, ей самой невмоготу на люди-то показаться. А обошелся с ней, говорят,

мальчишка этот, Том Крик, вот-те и здрасте…

И теперь об этом знают все. Но только я знаю про ту ночь в лачуге у Марты. Про то, что я видел в окно. И про то, что было на заре. На заре. Я отнес ведро на Узу. Потому что Марта сказала: «Ты должн эт' сделать, молодой. Ток' ты. И никто другой. В речку, понял, да? И главн', когда выбросишь, не гляди. А то одно нещщасте будет, если глянешь». И я понес ведро через туманные, пропитанные росой луга. Где-то поверх утренней дымки заливались жаворонки, но я все брел и брел сквозь дымку собственных слез. Я вскарабкался на дамбу, спустился к воде. Отвернулся. А потом посмотрел. И завыл. Прощальный взгляд. Красный плевок, и плывет, и пенится, и потихоньку тонет. Несомый неспешным течением Узы.

И унесет его вниз. И унесет его (если только узские угри…) до самого Уоша. Куда уносит вся и все.

Он хватает меня за руку. В самой его хватке — какое-то послание. За ресницами почти не видно глаз. Он говорит: «Иддем с Диком. Ди-Дик покажет». Он ведет меня наверх, к себе в комнату.

А где же отец в это серое, пасмурное, но богатое на откровения воскресное утро? На пути,

как раз об эту пору, на ферму Полт-Фен. Чтобы сделать соответствующее заявление, принести положенное — хотя бы в форме сказанного слова — возмещение убытков Харольду Меткафу. Хотя бог его знает, о чем он собирается там говорить, потому что даже с собственным сыном он до сих пор так и не выяснил отношений. С тем, который умница (не с другим). Который надежа-и-опора и далеко-пойдет, который младший сын. Что-то мешает ему проявить отцовский гнев. Он открывает рот, чтобы говорить, но что-то застревает в горле, и губы складываются в скорбный немой кружок. Что-то с нами не так. И вообще все не так. Мы запутались в несчастьях, как мухи в паутине. Значит, настало время, настало наконец время рассказать всю историю от начала до конца? На путаную — сквозь слезы — исповедь сына ответить собственной исповедью? Он задумчиво стоит у шлюзового затвора. Репетирует диалог, который так никогда и не состоялся: выходит все-таки, у вас это было всерьез. Не то слово, всерьез. Но если ты, то есть если она была… Почему вы просто-напросто не?.. Не такая уж плохая вышла бы пара — пусть даже первый блин комом — ты и Меткафова дочка. Хотя, конечно, старик Меткаф нашел бы что сказать по этому поводу. Так что же

вы?.. Беда за бедой. Сначала Фредди. А теперь… Нет, это кара, вот что это такое. Кара за то, что недоглядел. Пренебрег своими обязанностями.

Итак, возбужденно (и виновато) блестя глазами, с видом человека, у которого и в мыслях нет уклоняться от возложенной на него высокой ответственности, он отправляется на раздолбанном велосипеде повидаться с Харольдом Меткафом. Который, будучи состоятельным фермером с весьма обширными, хотя и нереализованными амбициями, не упустит шанса разыграть из себя надменного и могущественного сквайра, не говоря уже о роли оскорбленного и разгневанного папаши, низведя отца до статуса зашуганного, согнувшегося в три погибели крестьянина-ходока. Он вернется весь красный, с сухим надтреснутым голосом, как школьник после итоговой — за весь семестр — порки.

«Но с ней-то все в порядке, а, пап?»

«Не знаю, Том. Не могу тебе сказать. Он так круто все — какое у меня было право — спрашивать. Но, по крайней мере, я вижу, ты о ней беспокоишься».

«Папа. Пап, я-я боюсь, это еще не все».

«Не все, Том? Не все?»

Потому что отец еще не знает…

Он засовывает руку щуке в пасть — каковая, будучи мертвой и будучи чучелом, не смыкает челюсти, как она сомкнула их однажды, с плачевным для себя результатом, на крючке Джона Бэдкока, но услужливо оставляет пасть раскрытой — и достает ключ. Медный ключ. Разлапистый, важного вида ключ. Он спускается на пол и показывает ключ мне, на открытой ладони. Он ничего не говорит, но я знаю, вот она, Дикова исповедь: да — раз уж ты все равно знаешь. Я. Фредди.

Но тут все не так просто. Что-то на него нашло. Что-то неотвязное и необъяснимое, как внезапная хватка любви. Лицо подрагивает, в судорогах совсем-не-Дикообразной назойливости. Он хочет выплеснуться. У него в руке ключ. Впервые в жизни текущая забвением река Дикова личного опыта застыла вокруг него цепкой цементной глыбой. Он попался, он распялен, как щука на стене. Он стал причиной некоего события; нечто произошло — по его вине. Он не в состоянии понять. Он застрял в прошлом.

«Т-ты любил?»

«Да, Дик. И я тоже».

Но это всего лишь первый, самый легкий вопрос.

«Ч-ч-че?.. Ч-чей?»

Как я должен ему ответить? У которой из версий удар окажется послабже? Что может один ошеломленный, потерявшийся в чувстве вины брат сказать другому?

«Это был твой ребенок, Дик».

Внезапный моментальный спазм, короткая борьба между гордостью и горем у него на лице.

Он смотрит на зажатый в руке ключ. Он не смотрит на меня. Он смотрит на ключ так пристально, словно это ключ ко всем таинствам жизни.

«На».

Я беру.

«Мы сейчас идем наверх и отопрем. Ди-Дик хочет знать».

46
О ДЕДУШКИНОМ СУНДУКЕ

Какой же она делается странной. Как она становится — больше жизни. Денди восемнадцатого века, в париках и парче. Бакенбардообильные викторианцы со своими затянутыми в китовый ус дамами. (Взбесившиеся твари — гляньте на улицу — во фригийских колпаках и с человеческими головами, воздетыми на пики…) Какой же необыкновенной, невозможной делается плоская, унылая материя нашего повседневного существования. Она заслуживает самого пристального внимания. Какой она становится… Как она делается… Дети мои, мир еще более безумен, чем вы осмеливались предположить.

Когда-то я забавлялся, когда-то я по-любительски рьяно играл с историей. Школярский пыл. Невиннейшие из материй, материал для учебника. Но никогда всерьез — мои штудии по-настоящему так и не начались, — пока однажды в августе, после обеда, сам будучи пленником неизбежного стечения исторических обстоятельств, я не открыл для себя прошлое, замкнутое на ключ

в черном деревянном сундуке…

В нем лежат одиннадцать бутылок, обернутых и переложенных старой мешковиной, и десять из них закупорены и полны пивом, а одна пустая, та самая, что, потерявши по дороге пробку, тайно пропутешествовала до самого Хоквеллского моста, где ее использовали сперва чтоб напоить, потом чтоб оглушить; затем она спустилась вниз по течению реки, ее выловили и осмотрели; спрятали сначала в одной спальне, потом поставили в другой, так, чтоб на самом виду; потом, крадучись, нарочито и неловко снесли обратно в чердачное это гнездовище, той же самою рукой, что первая взяла ее отсюда. Иллюстрируя тем самым прописную истину, что всякий грех непременно возвращается на круги своя — и присвоив собственной бутылочной персоне в расследовании обстоятельств убийства Фредди Парра (но ведь Фредди Парр — разве мы не в курсе? — погиб в результате несчастного случая) титул Вещественного Доказательства Номер Один.

В нем лежат четыре толстые, весьма потрепанные тетради в голубых, под мрамор, картонных переплетах, очевидно сшитых когда-то воедино холщовой тесьмой, которую кто-то развязал и расплел. В нем лежит конверт (содержимое, судя

по тому, какой он мятый, однажды — или не однажды — уже вынимали, а потом положили на место), и на нем тем же плотным наклонным почерком, которым вроде бы исписаны тетради, значится: «Первенцу миссис Хенри Крик»…

Дик тяжело, как жвачное животное, дышит у меня над ухом. Я благоразумно игнорирую пустую бутылку (ага, это мы уже видели и все про нее знаем; всего-то навсего орудие убийства; по ее милости мы тут, собственно, и раскорячились над этим дурацким сундуком, только и всего). Я вынимаю закупоренную, покрытую пылью бутылку. Дик дышит чаще. На какую-то долю секунды мне приходит в голову, что ему приходит в голову: сейчас я воздену ее в поднебесье и, в акте поэтического, хоть и жестокого возмездия опущу ему на череп. (Значит, правда — он меня боится сильней…)

Но его возбуждение объясняется совсем иначе.

«Н-не открывай. Н-не пей…»

(Знаем, знаем, и это знаем тоже: была такая зимняя сцена на фоне приомороженной по берегам реки — шесть лет назад. Ага, Дик, — так ты помнишь? Там ужас что такое, там огненное зелье внутри.)

Я кладу бутылку на место. Беру конверт. Тет-

ради будут потом (полуночные чтения… начало великого расследования… история на сон грядущий, всем историям история…).

Вопросительный, исполненный едва ли не почтения взгляд: «Это тебе, Дик. Адресовано тебе. Мне что?..

Ресницы оттарабанивают добро: все в порядке, давай. Я, видишь ли, не умею… Так и не научился…

Я вынимаю письмо. Три мелко исписанные страницы. Я читаю. Дик дышит. Я читаю про себя. Там есть слова, целые фразы, которые Дик не в состоянии будет… Я читаю, Дик глядит. Перешептываются чердачные балки. Даже в это тихое и безветренное августовское утро что-то тревожит их старые скрипучие кости. Мне требуется минут десять на то, чтобы прочесть (и много, много больше, чтобы переварить) письмо. Слышны даже самые легкие звуки — слышны, со стороны фермы Полт-Фен, едва ли не отголоски зычных тирад фермера Меткафа в ответ на жалкие мольбы Хенри Крика. И первое, что я говорю, закончив читать письмо: «Это тебе от дедушки, Дик».

Хотя не все так просто.

А второе, что я говорю, — оно выплескивается как-то само собой, прежде чем я решаюсь сказать:

«Дик, прости меня. Я тебя обманул. Это был не твой ребенок. Это был мой ребенок».

Он смотрит на меня. Поскольку это взгляд Дика, сказать, что за ним стоит, невозможно. Но в уголках его глаз начинает набухать мучнистая роса. Хотя на слезы это не похоже. Похоже на некую странную, неизвестную в природе субстанцию, не имеющую никакого касательства к Дику. И когда она переливается на скулу, он едва ли не вздрагивает от удивления.

«Слушай, Дик, слушай меня очень внимательно. Это был мой ребенок. Мой и Мэри». Еще немного странной жидкости вытекает из Диковых глаз. «Но теперь он уже ничей ребенок, ведь так? Ничей». Чердачные шепотки. Скрипуны дают добро. «Послушай — очень хорошо, что это был не твой ребенок. Да, очень хорошо. Потому что здесь сказано — твой, то есть наш, дедушка тут говорит — он говорит, что тебе нельзя иметь детей. Потому что — они тебе без надобности. Дик, ты знаешь, откуда берутся дети?» «Лу-лу-лу…»

Слезы добежали до уголков его рта. «Ты знаешь, что у каждого ребенка должны быть мама и папа. Никто не рождается на свет без мамы и папы. У нас с тобой есть — то есть были — мама и папа. И у них когда-то тоже были свои мамы и папы. Но

— иногда не все так просто. Иногда человек хочет быть мамой или папой и выбирает себе другого человека, чтобы тот был с ним вместе мамой или папой, а этот человек уже его собственная мама или папа. Или его собственный папа выбирает его, или мама. Так не должно быть, Дик. Так — неправильно. Понимаешь?»

Он не понимает. Я говорю чушь. «Это вот как если бы ты, Дик, захотел родить ребенка — с твоей собственной мамой».

Его ресницы принимаются мельтешить, как крылья бражника. «Лу…»

«Так не должно быть. Это — неестественно. Но если так все-таки случается и ребенок появляется на свет, тогда этот ребенок может оказаться — необычным. И если у этого ребенка будут свои дети, когда он вырастет, чтобы стать мамой или папой, они тоже могут быть — необычными. Дик, ты такой ребенок — то есть ты был таким ребенком. Твой дедушка — мой дедушка, — он был тебе еще и отцом».

Он глядит.

«Мой папа тебе не папа».

Его грудная клетка начинает судорожно, на всхрипе вздыматься.

«Хотя твоя мама была и моей мамой тоже».

Хрип становится резче.

«У тебя и у мамы был один и тот же папа».

Еще резче.

«До того, как мама и мой папа…»

Все, варианты кончились. А у Дика, судя по всему, кончился воздух. В тусклом полумраке чердака он пытается вдохнуть, как будто вдруг оказался в чужеродной среде.

Значит, до него доходит? Или, по крайней мере, до него доходит то, что он уже и без того наполовину понял. Что он — ошибка. Чего и быть не должно. Что-то где-то разладилось, и в результате появился он.

И вдруг он взрывается изнутри, как будто это все его вина, как если бы он, будучи следствием, в ответе за причину:

«П-п-прости меня, Том. П-п-прости».

«Послушай. Успокойся, Дик. Погоди. Твой де… твой папа — он вот что хотел тебе сказать. Тебе нельзя иметь детей. Потому что — ну, я тебе уже объяснил. Но тут ничего страшного нет, что нельзя детей. Ты же — ты не обычный человек, Дик. Ты совершенно особенный. Не важно, что тебе нельзя иметь детей. Потому что ты станешь…»

Разве можно такое сказать по-другому? Разве можно передать, объяснить, растолковать (твой

отец, он был не только твой дед, он был, наверное, полный псих…):

«Потому, Дик, что ты станешь… ты станешь… Спасителем Мира».

Он ничего не говорит. Он не произносит ни слова на протяжении всего воскресного обеда (никто и не думает о еде, ни у кого нет аппетита). Когда отец — когда человек, которого он привык называть отцом, — возвращается, он избегает смотреть ему в глаза и держится сторонкой; а потом вдруг уходит в пристройку, к преданному мотоциклу.

Но отец (то есть человек, которого…) вряд ли обращает на это внимание. Он занят: лицо до сих пор горит от словесных пощечин, полученных от владельца Полт-Фена.

Но ведь он и в обычное-то время не оратор, разве не так, этот его сын, который на самом деле вовсе не?.. Еще бы чуть-чуть, и немой, разве не так? Полудурок. А он сегодня и без того напритворялся вволю. И приласкали, и поучили заодно.

Лучше ничему не учиться. Лучше ничего не знать. Но раз уж ты…

(Спаситель, Дик? Спаситель — это тот, кто… Мир? Мир — это — все на свете. Крайняя необходимость? Крайняя необходимость — это… когда

все идет…)

Но тебе не нужно бояться его. Дик. Бояться собственного…

— То есть — он с самого начала не хотел, чтобы тебя учили. Он защищал тебя, оберегал. А вопросы задавать, рыть землю в поисках правды, выпало на мою долю (мой собственный рецепт для случаев крайней необходимости: объясни внятно, как ты собираешься выпутываться). Он бы так и держал тебя во тьме, для твоего же блага. И тоже, наверное, пытался найти этот ключ… Кто бы мог подумать, что дохлая рыбина…

«Пап, это еще не все…»

Еще вагон и маленькая тележка. С чего же начать?

«Фредди Парр…»

Ну, положим, я последовал бы его примеру? Оберегал его неведение так же, как он сам оберегал неведение Дика. Этого доверчивого и не помнящего зла человека, который, хоть и не был отцом своему старшему сыну, иногда точь-в-точь напоминал его (тяжел на подъем; покуда слово скажет — окочуришься); который смотрит, открывши рот, на этого, настоящего, младшего сына — башковитого, с искрой божьей, — как

будто он его не узнает.

«Он знает, пап. Дик знает…»

Само собой, поворот кругом на бечевнике. Без поворота кругом на бечевнике никак не обойтись. (Поворот! Двадцать, тридцать раз подряд. Но кто же их станет считать, повороты?) На старом добром бечевнике, где взвинченность соседствует с успокоением, возбуждение с терапевтическим эффектом ходьбы. Взад-вперед. Туда-сюда.

Значит, вот он, тот день, которого он так долго ждал. И надеялся, что он никогда не. (Он, должно быть, сто раз про себя к нему готовился и брал на себя воображаемую инициативу: Том, пойдем-ка прогуляемся по бечевнику… Но кто же в состоянии учесть непредвиденные осложнения.) Значит, вот как оно обернулось. Что ж: дуй, ветер, сыпьтесь градом, беды…

Гладко скользящий Лим. Уровень соответствует позднему лету (заслонка опущена почти на полную). Цвет: серовато-зеленый. Недвижные ивы. Мутноватые светлые разрывы в нагретой свинцовой крыше неба.

Туда-сюда. Отец и сын — отец и единственный сын — затянуты в тугую петлю разговора. Что они такое говорят? Как только сын закончит свой

путаный отчет — забыв упомянуть о четырех голубых тетрадях, неразличимо затерявшихся на письменном столе среди прочей домашней работы, но с готовностью предложив сдать по семейной инстанции некое письмо (ответ: «Я не желаю видеть никакого письма, Том. Никогда не хотел даже и заглядывать в этот сундук…»), — начнет ли отец заполнять пробелы (пробелы! Пропасти, зияющие бреши!) в сюжете своей собственной сказкой? О том, как он и Хелен Аткинсон?.. Как он с пивоваровой дочкой?.. Нет. Он, судя по всему, утратил охоту рассказывать байки. Он, судя по всему, вообще ничего не помнит.

Взад-вперед. То спиной к дверям, то лицом, как будто он никак не может решить, отправиться ему в путь или остаться дома. Туда-сюда, как будто выслеживая порскнувшее из-под ног решение всех проблем. На каждом повороте кругом отец чуть подгибает колено. И всякий раз, как они идут от дома, сын невольно бросает взгляд по ту сторону серо-зеленого Лима, туда, где Полт-Фен. Она ведь и сейчас тоже там. А какой у нее рецепт — в случае крайней?..

Туда-сюда. И пока они ходят, другой сын — который вовсе не сын — прячется в пристройке и подслушивает.

Подслушивает? Ничего не желая слышать? Подглядывает? Не желая видеть? Раздумывая? (Раздумывая?) Все кончено. Я попался; они меня сдадут.

И они знают, где он. Потому что стоит только сыну-который-не-сын забраться в сарай, чтобы спрятаться там от не-отца, как этот самый не-отец, вышагивающий в сопровождении настоящего сына взад-вперед по бечевнику, начинает старательно избегать прилегающей к сараю части площадки…

Однако приглядитесь повнимательней. С каждым следующим заходом ближняя к дому точка разворота на этой двусторонней траектории, хотя вначале она и отодвинулась на несколько ярдов от пристройки, придвигается к ней, медленно, осторожно, неуверенно, все ближе. И сам процесс поворота становится все более нарочитым и требует дополнительного усилия, как будто бы он сам по себе — испытание, и испытание страшное. Пока наконец, едва не рухнув под напором противоборствующих сил и дав лицу волю обнажить кишение текучих водянистых судорог, отец не оставляет настоящего-сына стоять на бечевнике и не бежит, прихрамывая, к временному убежищу не-сына, безостановочно выкрикивая на

ходу: «Дик — бедный мой Дик, — (так точно, мой Дик), — Дик!» Но Дика там и след простыл.

Он в кухне. Или — как до нас дошло чуть позже — он должен был там уже какое-то время находиться.

Потому что, как только отец, в совершеннейшем отчаянии, врывается в дом через парадную дверь, преследуемый по пятам настоящим-сыном, Дик, который в какой-то из промежутков времени, когда прохаживающиеся по бечевнику дружно показали ему спину, должно быть, прошмыгнул в кухню (ох уж эта хитрая, *in extremis*[54], картофельная башка), выскальзывает еще раз через черный ход и возвращается в сарай. В то время как отец и сын бегают в лихорадочных поисках из комнаты в комнату, он закидывает за спину привычный мешок, лишенный привычного содержимого и нагруженный взамен какой-то неудобной, тяжелой, но тщательно уложенной ношей. Он выкатывает из сарая «Vellosette», садится на него и дает газ.

И никто его не замечает. Потому что отцу и сыну потребовалось взобраться, следуя неумолимой логике вещей, на чердак и обнаружить

---

[54] Примечания: 54
Здесь — в крайних ситуациях (лат.).

там открытый и пустой, если не считать одной-единственной пустой бутылки, сундук, а потом услышать со двора дробот заводящегося мотора, чтобы понять, что их надули. Они спускаются по чердачной лестнице. Услышав, как мотоцикл объезжает вкруг дома, они вламываются в спальню настоящего-сына, выходящую окнами на зады, — как раз вовремя, чтобы увидеть, как Дик выворачивает с подъездной дорожки на шоссе, а на спине у него топырится нелепый горб из уложенных в мешок десяти бутылок пива.

Кричать поздно. Что не мешает отцу, высунувши голову в окошко (под которым, заваленные всякими школьными причиндалами, отсвечивают четыре голубые тетради), выкрикнуть отчаянным, срывающимся голосом: «Ди-и-и-к!» Его лицо, даже тогда, когда крик замирает в воздухе, остается сведенной в судороге маской. Он искренне уверен в том, что Дик уезжает навсегда. Но у меня другое мнение. Я готов его утешить. У меня едва не срывается с губ, мол, Дик — в силу причин, которые слишком сложно будет вкратце изложить, — едет, наверное, к Стоттовой дрене.

Однако с нашего наблюдательного пункта у открытого окошка видна та точка, где от шоссе на Гилдси отходит проселок на Стоттову дрену;

и Дик проскакивает мимо. Его скрюченная над рулем, горбатая фигурка становится все меньше и меньше.

Я вижу его, я вижу его и сейчас, на прямой как стрела дороге, под непрозрачным небом, на фоне унылых свекольных полей. Мой… Мчится, мчится, забросив за спину право первородства, забросив за спину наследие семейства Аткинсон… На минуту кажется, что он едет, что он уже въехал в некое зыбкое, на забвении замешенное Никогда, составленное раз и навсегда из прямой дороги, плоских полей, уныния, неизменности и затихающего в отдалении треска мотоциклетного мотора. А потом я говорю отцу — чья голова уже упала на подоконник: «По-моему, он поехал на землечерпалку».

47
ДОБРОЙ НОЧИ

Она не поднимает головы, когда я ухожу. Она позволяет осторожно обнять себя и поцеловать, без ответа, но и без сопротивления, так что прикосновение губ к ее виску, к безропотной макушке, больше всего похоже на — как поцеловать ребенка на ночь. Она сидит у чужой кровати. Она не поднимает ни руки, ни взгляда, когда я в последний раз оборачиваюсь посмотреть на нее сквозь армированное проволокой стекло больничной двери. Она не смотрит на меня с потерянным видом из-за решеток, когда я иду к воротам по мокрому больничному асфальту.

Ощущение бесконечного расставания. Чувство, будто на самом деле это не я уезжаю, а она удаляется в смутную и невозвратную даль, а я стою раскинув руки, скрадывается собственным моим движением, ее пассивностью. Видимой функциональностью моего визита (навестить жену, застывшую в ожидании каких-то психотерапевтических процедур, и привезти ей кое-какие личные вещи). Скрадывается жизне-

утверждающим прогнозом сестры-сиделки (да, конечно, никаких ограничений — в любое время с двух до семи, в разумных пределах… и не беспокойтесь вы, мистер Крик, вашу жену скоро выпишут…). Отблесками бледного солнечного света (пронзительно-голубые дыры меж несущихся по мартовскому небу облаков) на мокром, парящем потихоньку асфальте.

Вначале была история — ее рассказывали нам родители, на ночь. Потом она становится реальностью, превращается в Здесь и Сейчас. Потом — опять историей. Второе детство. Поцелуй и доброй ночи…

Мой уход — не предмет для скорби. Она скорбит о ребенке. О своем ребенке. О ребенке, которого у нее отняли и не хотят отдавать. О ребенке, которого — все об этом знают — послал ей Бог. Который нас всех спасет.

Вначале нет ничего; потом есть то, что случилось. А после того, что случилось, есть только рассказы о том, что случилось. Но иногда то, что случилось, не желает уходить и превращаться в воспоминание. Так что она до сих пор в самой гуще событий (приключение в супермаркете, что-то у нее в руках, зал суда, где она призывает Бога в свидетели), которые длятся и длятся. От-

чего ей никак нельзя выйти из игры. Отчего ей никак нельзя выбраться наконец на безопасный, по эту сторону безумия берег оглядки на пережитое и отвечать на вопросы одетых в белые халаты врачей: «Ну а теперь расскажите нам, миссис Крик. Вы спокойно можете все нам рассказать…»

Он идет по мокрому асфальту с чемоданом в руке, как будто собрался в путешествие. Вот только в чемодане пусто, потому что одежда жены и несколько необходимых мелочей остались в больнице (в правилах строго-настрого указано: ни единого предмета, при помощи которого можно было бы причинить ущерб как другим пациентам и медицинскому персоналу, так и собственному здоровью пациента). Он так тщательно все собрал. А ей даже и неинтересно.

Набор жизненно необходимых — или необходимых для спасения жизни — воспоминаний. Черепаховый гребень (этим можно воспользоваться для нанесения ущерба?), купленный — помнишь? — в Гилдси, в мелочной лавке, морозной зимой. Кожаный бювар. Маленькая перламутровая шкатулка (но это уже ее выбор, эту она сама достала будто бы из ниоткуда — может, прятала где-нибудь с той самой жестокой зимы), а в ней серебряное распятье на цепочке.

На подкладке с тыльной стороны крышки до сих пор сохранилась дарственная надпись, педантичным почерком Харольда Меткафа: «На твою Конфирмацию, Со Всей Любовью к Моей Милой Мэри, 10 мая 1941…»

Он идет к воротам. Наметанный глаз историка выхватывает на заросшем травой островке посреди асфальта каменную статую не то основателя, не то благотворителя (львиные черты лица, рука на лацкане фрака); и отмечает, на розовой гранитной плите, под датой и благодарственной надписью, словцо, которого современность, предпочитающая именовать такого рода заведения простым словом «больница» или, чуть менее вежливо, «психиатрическая лечебница», не в состоянии, в дань уважения его светлой памяти, стереть: «…приют».

Он проходит через ворота, сквозь них (поскольку никаких ограничений) ему еще ходить и ходить, чтоб навестить жену, которая пока еще даже и не вспомнила, что она ему жена; с которой в укромных уголках приютского — то есть больничного — подворья ему предстоит играть в печальную игру «а помнишь?». А помнишь поезд: из Хоквелла в Гилдси, из Гилдси в Хоквелл? А помнишь свекловичные поля? Тополя? Прогулку

вдоль замерзшей Узы? Избегая в этих тряских заездах в общие (общие?) воспоминания то и дело попадающихся на пути запретных зон (видите, чуть до дела, ваш учитель истории и шагу в простоте не ступит на минное поле прошлого).

Пока он раскладывает перед ней свой товар, свою на шепоте и на увертках замешенную ностальгию, она глядит в окно палаты.

А может, амнезия, она и к лучшему…

Освобожденная на основании смягчающих вину обстоятельств (добровольное возвращение ребенка матери) и неполной вменяемости (но мы-то знаем об этих умниках-трюкачах, об этих мы-тебя-вытащим-безо-всякого-труда психиатрах) от обвинения в киднепинге и тем самым избежавшая возможного тюремного заключения, она сидит, в этой другой тюрьме, и все еще пытается доказать своим одетым в белые халаты стражам и распорядителям, что Бог…

В иную эпоху, в былые времена, ее, может быть, признали бы святой (или сожгли на костре как ведьму). Тот, кто слышит голос… Тот, к кому обращается… Может, они и снабдили бы ее всем необходимым для полного расцвета мании: уединенным скитом, положенными аскету свободами от писаных и неписаных законов, видениями и

навязчивыми состояниями… Теперь ее сдают на поруки психиатрам.

Она смотрит прямо перед собой, сквозь высокое больничное окно. Она всегда сидит в одном и том же углу палаты: на том стоим и стоять будем. В палате пахнет сумасшедшими старухами. За окошком в погожие дни, надев пальто, прогуливаются по асфальту другие пациенты.

Она смотрит, с видом внимательным и себе-на-уме (обычный фокус здешних постояльцев: это они все сошли с ума, а не я), на этих хилых, копошащихся в песочнице детишек.

Ее глаза светлы. И моргают. Она руками обнимает ничто… Ему не спится по ночам. Его кровать пуста и затерялась в темном море. Он боится темноты. А когда он засыпает — какие ему снятся сны! Он один в этом большом, на смертный склеп похожем доме, где книжные полки расползаются из комнат в коридоры, где стильные безделки (ты и твое бегство в эпоху Регентства — ты и твои исторические костыли). Один, не считая собаки, которая отскакивает от него, потом осторожно подходит, снова отскакивает — наложенный ветеринаром проволочный лубок сняли с нижней челюсти буквально пару дней назад. Раненый ретривер, с которым еще предстоит налаживать

дружеские отношения, медленно, терпеливо, а былого все равно не вернешь.

«Не бойся, Падди. Не бойся».

Он просиживает ночи напролет. Читает. Курит. В бутылке с виски понемногу убывает. Проверяет сочинения и конспекты (последний урожай за тридцать два года). Пьяные каракули, красными чернилами: аккуратнее. Придется поработать. Хорошо. Удовлетворительно. Плохо. Чтобы окончательно не впасть в тоску, он сам себе рассказывает истории. Повторяет те, что рассказывал в классе. Ох уж этот контраст между гулкими ночами и крикливым месивом дней: разговорчики в классе, бедлам на игровой площадке… Но теперь уже недолго ждать, когда они…

По выходным с утра — после обеда ехать в больницу — ветрено, Великий пост, он ходит в Гринвич-парк. Со своей зашуганной собакой. Вулф стоит на страже. Свежий солнечный свет на вечном великолепии. Старое доброе место, старая добрая Военно-морская коллегия. Зеленая трава и белые камни. Такие древние и девственно-чистые. Так любовно охраняемые (и в силу закона, и стараниями общественности). Хотя, если верить Прайсу…

Мы все бредем спиной к реальности, и всякий

ищет свой приют.

Мартовский ветер рвет на части бегущие под всеми парусами облака. Синее небо сияет над нулевой долготой.

Лу-любовь. Лу-любовь.

48
И ADIEU

«И наконец, я должен исполнить свой печальный долг и попрощаться с мистером Криком, который…»

Долг! Долг! Неплохо придумано, стратегическое, так сказать, словечко. Вызывает в памяти судью, свято блюдущего букву закона, или несгибаемого стража порядка. И нам всем доподлинно известно, разве не так, что мистер Крик не справился со своим долгом.

«…который на протяжении четырнадцати лет был Одним из столпов нашей школы…»

Столп!

«…покидает нас после Пасхи — по личным обстоятельствам…»

Стоящий на краю помоста, вцепившийся руками в одинокий бушприт кафедры — младшему преподавательскому составу так и кажется, что он взлетает и падает, принимая на грудь норовистое (слегка штормящее) детское море.

«Стоит ли говорить, что четырнадцать лет — срок немалый. И это не считая тех восьми, в

течение которых мистер Крик преподавал в другой школе, которая была здесь до нашей. Мистеру Крику многих из вас довелось повидать — как вы приходите и как уходите. Не исключено, что кое-кто из ваших родителей также числил себя среди его учеников. Так давайте же не будем заострять внимание на самом факте его ухода, хоть это и большая потеря для всей школы…»

Потеря!

«…а вместо этого — как сделал бы на нашем месте, вне всякого сомнения, и сам мистер Крик, глава нашего исторического отделения, — заглянем в прошлое и воздадим хвалу его долгим и неоценимым трудам. И зададимся мыслью…»

Он хочет сделать из этого публичную проповедь, воскресную службу. В задней части зала поднимается ропот. Он хочет полить свою жертву (которая этаким приготовленным к публичной жарке цыпленком сидит в задней части помоста) постным соусом риторики.

«…как сделал бы на нашем месте и сам мистер Крик — о том, как проходит время…»

Элегическая нота. Ах, как мы стареем. (Невидимый для детского моря, невидимый и для самого Льюиса, но привычный для наблюдательного педагогического состава образ несгибаемого шефа:

розовый овал понемногу расползающейся лысины — в окружении витой мелким бесом седины — подпрыгивает перед кафедрой, как поплавок.)

«…об этих школьных годах, которые кажутся вам бесконечными, но которые, поверьте мне, очень скоро пройдут. Они драгоценны. Они — основа жизни. Так не тратьте их даром, не транжирьте их. Пусть они станут тем краеугольным камнем…»

Однако, судя по всему, это море — или, по крайней мере, самая буйная, самая неспокойная его часть — не желает, чтобы его загоняли в стойло созидательного труда.

Потому что откуда-то из самых глубин — и только теперь, остановившись для того, чтоб перевести дыхание, Льюис вынужден обратить внимание на уже давно нарастающий ропот — идет настоящий шквал. Шум накатывается волна за волной, резонирует в гулком воздухе актового зала и понемногу обретает настойчивый пульсирующий ритм:

«Здравствуй, страх! Здравствуй, страх!» Льюис упорствует.

«Заложите их в основу. Используйте их на все сто. Пусть не придет для вас такой день, а ждать его осталось, может статься, не так уж и долго,

когда вы скажете: если бы я только…» «Стрррах! Стррра-ах!»

«Потому что, поверьте мне на слово, то, что вы заложите сейчас, станет гарантией вашей безопасности в будущем…» «Стрррааах!»

Но он не сдастся. Он непотопляем. Горстка бузотеров на задворках зала не препятствие для Льюиса. Он и в самом деле вырастает, подняв над кафедрой остерегающую длань.

«Вы сами видите — внимание, — что есть среди вас такие элементы — я прекрасно знаю каждого из них, и разговор с ними будет особый, — такие проповедники обреченности — кто хотел бы подорвать тот жизнеутверждающий и конструктивный процесс, о коем идет речь. Кто хочет заразить нас всех неуверенностью и тревогой. Но я не дам себя запугать — и вам не советую — подобного рода детскими, да, детскими выходками…»

«Здравствуй, страх! Здравствуй…»

Речитатив набирает ход. За спиной директора его учительский арьергард обменивается смущенными взглядами.

«И я не намерен терпеть подобных выходящих за всякие рамки безобразий в ту самую минуту, когда мы хотим воздать должное одному из на-

ших старейших…»

Должное!

«Я обращаюсь к большей части зала, не слушайте эту чушь. Не дайте себя одурачить. Не бойтесь. Нам нечего бояться!»

Так и кажется, что он, вцепившись в кафедру, то с головой уходит в очередную волну, то вновь выныривает на поверхность, наш неустрашимый Кнут.

Картинка: Льюис на том же неустойчивом помосте. Особое — по тревоге — общее собрание. Снаружи заливаются сирены, но его руки подняты, он внушает чувство уверенности и спокойствия. Все в порядке. Льюис вас всех спасет. Следуйте за мной — в наш специальный бункер. Школа как убежище. Школа как избавление. Следуйте за мной, все малые и слабые, и вы обретете спасение…

«Не будьте… Не будьте…»

Но вот буря стихает, переводя дыхание. Так, значит, они его боятся больше?

«И я обращаюсь к мистеру Крику, — может быть, мы все помолчим, хотя бы из уважения к мистеру Крику? Я всех вас знаю, и вы будете наказаны. Я обращаюсь к мистеру Крику, который хочет сам попрощаться с вами. Мистер Крик.

Мистер Крик!»

Мистер Крик поднимается на ноги и осторожно идет на край помоста. Он ничего подобного не ожидал. Он думал, его наскоро зажарят, и все дела, публичная казнь на скорую руку. Льюис поворачивается к нему. Он весь в поту. И вид у него напуганный. (Твоих рук дело, а, Том? Ты…) Но в глазах — торжествующий огонек, он выстоял, он им всем показал. Видишь, они со мной считаются. Я их пережал. Видишь, я имею на них влияние.

Да, бунтарских голосов не слышно. Тишину для мистера Крика. Но что это? Из самого центра недавней пертурбации, на фоне общего молчания, доносится внезапный одинокий крик, неожиданно властный и требовательный, безо всякой школярской дерзости: «Руки прочь от Крика!»

Прайс.

Крик не знает, что сказать. Он прочищает горло.

«Дети…»

49
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИМПЕРИЙ

Которые наследуют мир…

Когда дети Французской революции сбросили своего отца-тирана по имени Людовик XVI и злую мачеху Марию Антуанетту (которые, на поверку, оказались чем-то вроде марионеток в кукольном театре, им можно было просто-напросто поотк-ручивать головы, и все дела), им показалось, что они свободны. Но прошло совсем немного времени, и до них дошло, что они осиротели, и мир вокруг, который, как поначалу казалось, отныне принадлежит им, на самом деле холоден и гол. И они тут же ринулись в объятия приемного отца, Наполеона Бонапарта, который ждал их возле старого кукольного театра; и пригрезил им новую драму, контаминацию из старых тем, и обещал Империю, Предначертание — Будущее.

Дети, есть такая вещь, называется цивилиза-ция. В ее основе — надежды и грезы. Она — всего лишь идея. Не реальность. Ее придумали. Никто никогда и не говорил, что она настоящая. Она неестественна. Никто никогда и не говорил, что

она от природы. В ее основе процесс научения; метод проб и ошибок. Она легко ломается. А никто никогда и не говорил, что она не может вдруг рассыпаться на кусочки. Никто не говорил, что она вечна.

Давным-давно люди верили в конец света. Загляните в старые книги: видите, сколько раз и под каким количеством самых разных предлогов предрекали и предвидели, вычисляли и выдумывали этот самый конец света. Но это, конечно же, было суеверие. Мир рос и взрослел. Ом не хотел умирать. Люди отбросили суеверия, как старое тряпье, как родителей. Они сказали: не верьте в эту древнюю ворожбу. Вы можете изменить этот мир, вы можете его сделать лучше. Небеса не рухнут. И они были правы. На какое-то время — это началось не так давно, всего-то несколько поколений тому назад — мир вступил в эпоху революций, в эпоху прогресса; и мир уверовал, что прогрессу не будет конца, что будет все лучше и лучше. Но тут вернулся конец света, и не в качестве идеи или суеверия — мир сам его себе соорудил, тихой сапой, пока взрослел.

Отсюда умозаключаем: если бы не существовало конца света, его бы следовало выдумать.

Есть такая вещь, и называется она прогресс.

Но прогресс не прогрессирует, он никуда не движется. Потому что, пока прогресс прогрессирует, мир может ускользнуть, уйти не попрощавшись. Если вы сможете остановить мир в дверях — это уже прогресс. Моя скромная модель прогресса — рекламация земель. Когда понемногу, раз за разом, бесконечно восстанавливаешь то, что ускользает из-под ног. Работа, которая требует упорства и бдительности. Работа скучная, но полезная. Трудная и не стяжающая славы. И не стоит по привычке путать рекламацию земель со строительством империй.

50
ВСЯ ЭТА ИСТОРИЯ

Он открывает глаза, и глаза говорят ему, что он не в привычной комнате (пожелтевшие обои, платяной красного дерева шкаф) в доме у шлюза Аткинсон, где каждое утро (каждое утро за вычетом нескольких из ряда вон выходящих) он привык просыпаться на заре — то есть если он не окончательно променял постель на темный край шлюза и на сигарету-за-сигаретой-за-сигаретой — и где, даже раньше чем он успеет встать, по-заговорщицки многозначительное сочетание примет, шорох ветра под карнизом, мягкий или, напротив, требовательный перестук дождя, даже особая, к перемене погоды, скороговорка кур, сказали бы ему, что сегодня тот самый день, когда хороший смотритель уж никак не забудет о своей заслонке.

Он открывает глаза, и глаза, или скорее уж руки-ноги и ощущение, что под тобой чужой матрас, говорят ему, что он лежит не в двуспальной, с медной рамой, кровати (купленной в 1922 году в магазине «Братья Торн», Гилдси), которая много

лет тому назад — десять, если быть точным, — превратилась в односпальную: такая пустая, такая холодная, и как ни трудно в ней уснуть, так и не спать в ней невозможно. Он не на той большой, уютной или, наоборот, лишенной всякого намека на уют кровати, потому что (теперь к нему возвращается память) та кровать и сейчас стоит — или безо всякой надежды на успех пытается плавать — в коварной речной воде глубиной не меньше полуфатома. [55] А поскольку спальня находится на втором этаже, отсюда делаем вывод, что большая часть дома оккупирована жидким и незваным гостем и что все относимое к ней движимое и не слишком движимое имущество либо утонуло, либо всплыло, либо в силу труднообъяснимого стечения обстоятельств — обратите внимание на пристройку, которой нет; на курятник, коего не существует; на растворившийся в небытии огород (с цветником) Хенри Крика — ушло по течению или занесено грязью. Что, проще говоря, дом при шлюзе Аткинсон превратился в залитую водой развалину. Что шлюза Аткинсон вместе с положенной по штату заслонкой, построенного в 1815 году Томасом

---

[55] Примечания: 55
91,5 см.

Аткинсоном и восстановленного Артуром Аткинсоном после наводнения в 1974-м, больше нет.

И он никогда не будет отстроен. Поскольку — что произошло в этом осененном тенью войн, свихнувшемся на нефти двадцатом столетии с некогда процветавшим речным сообщением между Гилдси и Кесслингом? (Спросите Хенри Крика.) Пройдет еще какое-то время, и речка Лим, хотя в настоящий момент она более всего напоминает внутреннее море, превратится в задушенную водяной травой, забитую илом канаву, судоходную не далее Хоквеллского железнодорожного моста, а в верхней части будет низведена до уровня водосброса для прилегающих к ней дрен.

Он открывает глаза. Это не его кровать. Это не супружеское ложе Хенри и Хелен Крик (и не смертный одр последней), а супружеское ложе его недавно оженившегося сына и невестки; которое они уступили ему, а сами ютятся как могут в соседней комнате и по очереди спят на полу. И это не спальня в его старом доме, а спальня в

узком, две-внизу, две-наверху доме-террасе [56] на Черч-лейн в Гилдси (выглянешь в окошко, видна над городскими крышами колокольня Св. Гуннхильды), купленном для молодой четы впавшим в купечество отцом невесты. И еще одного обстоятельства нельзя не учесть, особенно сейчас — а именно, что дом стоит в старейшем городском квартале, на холме, неподалеку от церкви (по сию пору известном, неофициально, зато исторически верно, как Остров); потому что значительная часть Гилдси так же, как и дом при шлюзе затоплена; и Водная улица в очередной раз стала водной улицей.

Он вспоминает, где он. Он видит незнакомую занавеску, наполовину закрывшую незнакомый вид за окном; он видит тумбочку у кровати,

---

[56] Примечания: 56

Типичный английский способ массовой застройки, особенно популярный после Второй мировой войны. Новые улицы (так называемые террасы, термин часто сохраняется и в названии улицы) застраиваются по обе стороны сплошными рядами узких домов, в каждом из которых на первом этаже находятся кухня и так называемая жилая комната (аналог отечественного «зала» — гибрид гостиной, столовой и т.д.), а наверху — две неотапливаемые спальни. На первом этаже, под лестницей, помещается также чулан или клозет, а мимо лестницы идет сквозной коридор с выходом в крошечный — но свой — задний дворик. В Советском Союзе аналогичную проблему начали ликвидировать посредством «хрущевок» — английский вариант (при том, что отношение к «домам-террасам» сейчас примерно такое же, как у нас к «хрущевкам») в большей степени учитывает потребность человека в каком-никаком, но собственном доме и в том, чтобы этот дом стоял пусть на клочке земли, но на земле. Хотя, конечно, всякое подобное

сопоставление не может не хромать — нельзя не учитывать разницы в масштабах проблемы, соотношения среднего уровня жизни и массы прочих местных особенностей.

которая служит теперь импровизированной аптечкой (микстуры от кашля, пузырьки, полотенца, чайник — только это все уже в прошлом; болезнь вступила в стадию сонливости и бреда). Он все это видит. Но, может статься, его внутреннее «я», которое в последнее время сделалось на диво живым и буйным, сейчас не в спальне сына и даже не в собственной спальне, а все там же, на черепичной крыше старого дома, куда он выбрался через чердачное оконце и смотрит, как вода поднимается и плещет уже под кровельными желобами, смотрит, как всякая всячина — калитка в пять досок, цельное ивовое дерево — крутится вокруг дома, смотрит на речной порог, там, где были когда-то шлюз и заслонка… Смотрит на мир, который исчез без следа, как будто кто-то вытащил из неведомой бочки огромную затычку.

Он сидит верхом на коньке крыши, где он, кстати, просидел всю ночь и большую часть дня, среди бушующей непогоды, и никак не может отделаться от ощущения (что, и эта койка тоже качается, движется?), что крыша вместе с домом в любой момент дрогнет, с натугою отлепится от твердой почвы, снимется с якоря, и поплывет он, что твой Ной, в неведомые дали. Он все так же прячется от ветра за каминной трубой, одетый в

старую армейскую шинель (хоть она и промокла насквозь, а зубы у него выбивают чечетку), которая пришла вместе с ним, как то и должно шинели, с так называемой Великой войны. Так что прибывшим к нему в конце концов на выручку в тяжело идущей моторке спасателям (среди которых, кстати, тоже есть солдаты), он предстает в облике осажденного со всех сторон часового, этакой вжавшейся в осклизлый бруствер кляксой цвета хаки, или, хотя здесь была бы уместна несколько иная форма, моряком, который решил пойти на дно вместе с судном.

Моторка подходит ближе. В ней сержант инженерных войск и два сапера. В ней спасательные буи, веревки, всяческая снасть, мешки с песком, пакеты первой помощи, термос с горячим супом, бочонок рома. В ней целая пробиваемая мелкой дрожью под грудой одеял семья из четырех человек, которую сняли с крыши фермы к востоку от Ньюхайта за компанию с полуутонувшим спаниелем. А еще в ней — спасатель-доброволец по имени Том Крик. Который (а лодка то пляшет, то встает на дыбы, и со скулы дождем лупит водяная пыль) никак не может смириться с тем, что в отсутствие привычных ориентиров толку от него, как от лоцмана, ни на грош, и не верит своим

глазам, когда они подходят ближе, что перед ним его старый дом, а эта вот гротескная горгулья на крыше, которая — теперь, когда помощь вот она, под рукой, — наотрез отказывается сдвинуться с места, и есть его родной отец.

«Да они чуть не все такие, — говорит сержант, который всего за сорок восемь часов, за два безумных мартовских дня и две безумные бессонные мартовские ночи, приобрел, судя по всему, такой опыт работ по спасению жертв наводнения, как будто всю жизнь только этим и занимался, — им и хочется, чтобы вы их спасли, и вроде не хочется. Попытайтесь уговорить его спуститься вниз, а, сэр».

И сын — бывший солдат, которого до сих пор берет оторопь, когда сержант обращается к нему «сэр», — кричит, приставив ко рту сложенные рупором ладони, туда, где на крыше то ли клякса, то ли мешок тряпья:

«Пап, это я! Пап, слезай. Это я!» И когда мешок тряпья не отвечает: «Ты уже ничего тут не сможешь сделать, пап. Ничего…»

И мешок тряпья на крыше (и в кровати, которую лихорадка раскачивает из стороны в сторону) видит, как моторка выполняет головокружительную операцию по стыковке с причалом, там,

где когда-то лепили гнезда ласточки, и как десантное подразделение в составе двух раздутых спасжилетами, то и дело оскальзывающихся солдат начинает карабкаться в его сторону с целью отнять у него последнюю не сданную врагу пядь суши.

На дворе 18 марта 1947 года. Война окончена. Чего не скажешь о трудностях военного времени, Талонная книжка все там же, на каминной полке. И, будьте добры, продемонстрируйте нам плоды победы. Дядя Сэм выделит нам кредит. Ганди хочет, чтоб мы вернули ему его Индию. Взгляните-ка на все на это глазами сорокавосьмилетнего мужчины, который родился в царствование королевы Виктории, был ранен под Ипром и которому суждено умереть в 1947 году от бронхопневмонии. Что сталось с небылицей, которую сплели для нас деды?

А теперь, в довершение всех бед, наступает жуткая зима, а за ней следом идет одно из самых разрушительных наводнений за всю историю края.

Она была права: половодье ужасное. Советы-Комитеты опростоволосились: 60 000 акров земли затоплено, 15 000 человек осталось без крова, 20 000 тонн картофеля… Но нам и прежде доводи-

лось такое видеть. Например, в 1874-м…

И шлюза не стало, и дома при шлюзе. И черный сундук с буквами Э. Р. А. унесло в море…

Это его вина. («Его вина в том, что не смылся отсюда, пока было можно», — хмурится сержант.) Если бы он был поосмотрительней, если бы он лучше делал свое дело. Он мог бы спасти заслонку. Он мог бы спасти мир.

Или если бы рядом был Дик. Сильный безмозглый Дик.

Он открывает глаза. Над ним склонилось женское лицо. Дымчато-голубые глаза; выбилась прядка каштановых волос. Женская рука ложится ему на лоб. Он видит лицо сиделки. Сиделка. Брюнетка. Значит, он не на подтопленной со всех сторон крыше. Он не там, где мир… Он спасся, он в безопасности. Среди прочих раненых солдат. Она нагибается ниже, что-то говорит. Она такая хорошенькая; это чудо. Она пытается заставить его рассказать…

Но вместо слов из него выходит лающий рваный кашель. Дыхание пресекается; губы синеют. Он выплевывает в подставленную плошку большой и словно бы в ржавых пятнах сгусток.

«Молчите… вам нельзя говорить».

Она подставляет плошку, а свободной рукой

поддерживает его ходящие ходуном плечи. Когда кашель сходит на нет, она возвращает плошку на столик у изголовья и помогает ему лечь обратно на подушки. Вытирает потеки слюны возле рта. Берет его за руку.

Она ухаживает за ним уже шесть дней. Она обрела в больном тесте нечто вроде призвания, чувство цели (и — кто знает — истинное искупление); так что ее муж, который сидит сейчас в изножье кровати, опустив бесполезные руки между колен, чувствует себя ненужным и выведенным за скобки, нелепым соглядатаем в болезненной и сугубо интимной сцене.

Она не тешит себя иллюзиями. Это реальность: всякая вещь находит свой предел, Ничто вгрызается в хрупкие островки жизни. Ей доводилось хаживать по этой дорожке. Молитвы не помогут. Чудес не бывает. Она станет человеком практичным, плотью от плоти жестокой реальности. Она и слова не скажет о том времени, когда… В один прекрасный день она найдет себе работу в попечительской службе. И будет ухаживать за стариками чуть ли не до самой их смерти. Она переедет вместе с мужем в большой город, но в глубине души навсегда останется жить в плоских Фенах. Они возьмут с собой супружеское ложе,

которое успеет послужить и ложем смерти; и из них двоих она всегда будет самой сильной, самой надежной…

«Молчите… вам нельзя говорить».

Но он хочет говорить…

Да, да, конечно, это правда, он не хотел говорить, тогда, он ничего не хотел рассказывать. И знать тоже ничего не хотел. После всей этой истории с Томом и Мэри. И Диком. После того, как Дик…

Она опять его затопила, вернула себе. Старая, всем Крикам свойственная флегма. Она сочилась, поднималась все выше и выше с тех самых пор, как… Но теперь она совсем прибрала его к рукам, залив даже старый добрый огонек желания рассказывать сказки. И он не хотел ничего рассказывать. Не верил в истории. А Том — ага, он все знал — припрятал тетрадки. Том просиживал над ними чертову уйму времени, и что-то у него внутри свербело, он хотел знать больше, он ездил в Гилдси и в Кесслингский госпиталь. А он даже и дотрагиваться не хотел до этих переплетенных в синее страниц.

Флегма берет свое. Речная гладь, уныние бечевника. Можно стоять, стоять на плоскости, и ум твой занемеет. Отец и сын жили вдвоем, но не

вместе, а рядом. Он говорил с курами, Том грыз историю. Покуда Том не получил повестки (история призвала его). Так же, как отец тридцать лет назад. Как она ходит кругами…

Но сыну судьба уцелеть; война закончилась (никаких шестинедельных курсов и вперед марш-марш прямой дорогой в ад), а Хенри Крик перестал вслушиваться в шестичасовые сводки, в шумы большого мира.

Итак, он остался один, вдвоем с немой рекой; и — до тех пор, пока однажды к нему не зашел Харольд Меткаф с историей, которая потребовала продолжения, — его поглотила флегма…

А теперь она его душит, заполняет полости легких, набухает в горле. Он спасся от потопа, но теперь он тонет…

Он хватает ртом воздух. Лицо наливается кровью. Раздуваются ноздри.

«Молчите…»

За окном колокола Св. Гуннхильды бьют полчаса. (Но один только сын, будущий историк, отмечает точное время: половина пятого, 25 марта 1947 года.) Этот звон, этот чертов звон, он отдается, он разносится эхом в пустых погребах его бреда. Но не следует ругать церковные колокола, Хенри Крик. На смертном-то одре. (Потому

что именно так и обстоят дела.) Вспомни о Боге твоем на пороге смерти. Помолись Богу твоему на пороге смерти. И воздай ему хвалу, что ты живешь не в Средние века, когда в дни наводнений колокола звонили круглосуточно…

Колокола звонят. Значит, он не на осклизлой крыше. И он не… Он в доме на Черч-лейн, Гилдси, который Том и… А ему на какую-то долю секунды показалось, что он тонет. И на какую-то долю секунды ему показалось, что склонившееся над ним лицо…

Это было всего лишь видение, Хенри Крик, это был всего лишь отблеск волшебной сказки, которую нужно наконец рассказать, которая рвется наружу сквозь бьющееся в спазмах горло. Потому что, да-да, так и есть, когда тонешь, перед тобой проносится вся твоя жизнь. И теперь самое время, и другого времени не будет рассказать всю эту…

Он слабеющей рукой подзывает сына, из дальней дали, от самого конца кровати. Но сын, встревоженный промелькнувшим в отцовских глазах выражением, уже и сам придвинулся ближе; и эта славная девочка (да это же Мэри, а это, должно быть, их супружеское ложе, господи, как оно все повто…) уже схватила, неожиданно твердой и сильной хваткой, не только его

собственную руку, руку умирающего, но и руку крошки Тома.

Его губы дрожат, складываясь в неровный кружок.

Однажды, давным-давно…

51
О ФЛЕГМЕ

Называемой также слизью. Или мокротой. Весьма двусмысленная субстанция. Не жидкая и не твердая: сплошная тягучая зыбкость. Благодатная (смазывает, очищает, смягчает, защищает) и в то же время неприятная (универсальный знак отвращения: плевок). Она следит за воспалительными процессами: сохраняет и распределяет жидкость. Когда в человеческом теле (или в душе) возгорается пламя, на помощь спешит флегма. Она старается уладить непорядки. А когда все тихо, занята повседневным трудом по дренажу и откачке.

В силу своих сырых и вялых, свойств она враждебна всяческому возбуждению и вдохновению. Сангвиник и холерик ей антипатичны, она наклонна к меланхолии. Преобладание флегмы может способствовать следующим чертам характера: уравновешенность; трезвость; терпение; хладнокровие; спокойствие. А также выпестовать их сестер-двойняшек: вялость; тупость; фатализм; безразличие; ступор.

Весьма противоречивые особенности темперамента, свойственные, как принято считать, замкнутым и наклонным к заболеваниям дыхательных путей англичанам. Старики имеют к ней наклонность; она вступает в сговор с жизненным опытом. Больным и горячечным она несет весьма двусмысленное утешение. Облегчает страдания и мешает лечить; помогает и всегда готова подставить ножку. В соответствии с древней традицией, предрасположенность к флегме, либо, иными словами, к водянистой вялости должно излечивать при помощи разного рода укрепляющих напитков. И особого рода средство на все случаи жизни (хотя с точностью рассчитать дозировку и предсказать последствия фактически невозможно): употребление спиртных напитков.

52
О «РОЗЕ II»

Итак, мы прыгаем на велосипеды и едем на станцию, в Хоквелл. Отец впереди, я за ним. Как раз поспеваем на шесть тридцать в Кингз-Линн. Воздух там затхлый и спертый, но мы сидим в душном зале ожидания (так, чтобы никто нас не заметил — хотя ни я, ни отец не обмениваемся на этот счет ни единым намеком — из расположенного рядом наблюдательного пункта Хоквеллской сигнальной будки). Шесть тридцать как часы. Мы заталкиваем велосипеды в кондукторский вагон. Кондуктор, один из участников былой круговой поруки железнодорожных служащих, задействованных в доставке нелегальных грузов (мешки с битой птицей в одну сторону, бурбон в обратную), заводит разговор: «Да ведь это же Хенри Крик, не иначе. Тот самый, что нашел сынишку бедолаги Джека Парра…» Но у Хенри Крика нет охоты разговаривать. У Хенри Крика такой вид, будто он увидел призрак, Мы едем три остановки до Даунхем-маркет, выгружаемся и едем вверх, около мили, до Стейтовой переправы

на восточном берегу Узы, в окрестностях которой, как мы склонны предполагать, стоит на якоре — а она и в самом деле там стоит, с четверть мили, или около того, вверх по течению приливного канала, — «Роза II».

Землечерпалка. Грязеотсос. Извлекатель ила. Побитая, ржавая шестидесятифутовая посудина — там, где на большинстве судов надстройки нисходят к палубе более или менее плавно, более или менее грациозно, — чудовищное уродство: грязный, замызганный транспортер с ковшами и таким же грязным и замызганным подъемным механизмом.

Почему же сей нелепый монстр получил столь звучное имя? Зачем благоуханная эмблема такому зловонному делу? Роза. Роза? Да кому только в голову пришло этакое имечко? Роза. «Роза II». Даже самое скромное судно наделено хоть отдаленным отзвуком романтики. Паровички, пыхтя, заходят в экзотические гавани, корветы мчатся по своим рискованным маршрутам (потому что на дворе у нас, опять же, лето сорок третьего). Но землечерпалка, землечерпалка.

И кто же выберет работу на землечерпалке в качестве жизненного призвания? Кто подпишется на бесконечную, не сходя с места войну с

грязью? Земле-черпание-зрябултыхание, дерьмокопание-дураковаляние. Здесь отмокнет самый твердый дух. И самая яркая душа покроется тусклой патиной.

Но кто-то должен делать грязную работу. Потому что от грязи никуда не денешься. Она накапливается, застывает наносами, и ей нет дела до того, что там творится в суетном внешнем мире. Потому что ил, как мы прекрасно помним, он и строитель, он и разрушитель земель, захватчик рек, ярый враг дренажа. Здесь нет простых решений. Нам приходится черпать, черпать, черпать из глубин безжалостную тяжесть, которую оставляет за собой время.

Вот и представьте себе положение Стэнли Бута, Капитана землечерпалки, владельца «Розы II», которому осенью 1941 года приходится подыскивать себе хорошего помощника. Кого-то, кто смог бы разделить с ним его капитанскую ношу, кто снял бы с его плеч груз двадцати пяти лет сплошной очистки узского дна (потому что в Стэнли Буте не осталось любви к своему труду), кто ослабил бы тенета приржавевшей, пожизненной верности «Розе II». Помощники капитана приходят — если уж на то пошло, Стэн Бут их нанял больше двадцати человек. Но они и ухо-

дят — теперь уже без оглядки — на войну, где у противника по крайней мере человеческое лицо. Они не станут всю жизнь торчать в грязи.

Он дает объявление — в который раз — в «Гилдси игземинер». И получает предложение от мистера Х. Крика об устройстве на работу его сына — юного, но, судя по всему, отнюдь не многообещающего соискателя, поскольку армия им не заинтересовалась и даже письмо самостоятельно написать он и то не в состоянии. Молодой человек и впрямь оказывается полудурком. Говорит он как дерьмо лопатит (но, с другой стороны, Стэн Бут и сам не то чтоб краснобай), и в арифметике, мягко говоря, не силен. И при том, к удивлению Стэна Бута, он ловок и силен, надежен и не склонен перечить старшим; и, что самое главное, у него на землечерпальную работу словно бы природный нюх.

Стэн Бут не скупится на жалованье новому работнику. И не только на жалованье: поскольку это счастливое приобретение никуда уходить не собирается, он готов даже ссудить ему определенную сумму в счет будущих заработков, так, чтобы его новый помощник смог купить подержанный мотоцикл, на котором ездить на работу будет не в пример сподручнее, нежели попервоначалу

установившимся способом (на молоковозе до Ньюхайта, а оттуда на автобусе, первым рейсом, до Стейтовой переправы). И если начистоту, новый помощник — он ранняя пташка и всегда может сам запустить грязеподъемник в те дни (а таковые выпадают все чаще), когда у капитана не лежит душа к излишней пунктуальности.

Стэн Бут счастлив. Его юный подмастерье счастлив. Так точно, счастлив. Ибо как еще объяснить (возможно ли, чтобы новому помощнику, такому исполнительному и надежному, и в самом деле нравилась его работа?) эти странные песни, это не в склад не в лад, но весьма довольное урчание, которое доносится иногда сквозь грохот подъемника и шлеп-шлеп-шлепанье вынутого ила? (Кто и когда, скажите на милость, слышал о веселом дерьмокопе?)

Стоит ли удивляться, что Стэн Бут то и дело где-то ближе к полудню дает себе волю оставить «Розу» со всей ее надсадно лязгающей машинерией под столь надежным и внимательным присмотром и, сев в положенный по штату на землечерпалке ялик (и тем самым бросив на произвол судьбы своего доверчивого напарника), направить путь свой в сторону ближайшего прибрежного паба.

Потому что Стэн Бут, он тоже человек пьющий…

Скорей, скорей по кочковатому, зачерствевшему за лето берегу Узы. Мимо неоконченных канав, дренажного оборудования, праздностоящего бульдозера, не говоря уже о паре наспех сляпанных в 1940 году бетонных дотов, до которых, согласно давно устоявшемуся общему мнению, дело, судя по всему, не дойдет. Потом остановка и — мигом вон из седел.

Потому, что не мы одни притормозили напротив «Розы II»: потому, что у воды под дамбой стоит — без седока, но прямо — мотоцикл марки «Velosette», каковой мотоцикл, честно говоря, можно было бы узнать издалека, не подъезжая вплотную.

Итак, предчувствие меня не обмануло. Никто, однако, не спешит с поздравлениями. У отца, несмотря на раскрасневшееся от быстрой езды лицо, по-прежнему вид человека, столкнувшегося нос к носу с призраком. Мы заглядываем с дамбы вниз и обмениваемся понимающими взглядами. Мотоцикл стоит на страже у объекта, который не может быть ничем иным, кроме как импровизированным причалом: в берег вогнаны два столбика из стальных уголков, и с каждого

свисает чалка. Вне всякого сомнения, придумка немногочисленной — на две души — команды «Розы», чтоб не грести, когда позволяет прилив, всю дорогу до причала на Стейтовой переправе. А прилив как раз позволяет. Потому что вода высокая, и позеленевшие от сырости концы чалок лениво змеятся по этой самой воде, которая никак не решит, в какую сторону ей течь. Нетрудно догадаться, что ялик, притулившийся у корпуса землечерпалки со стороны стоящей рядом баржи-дерьмовозки, тот самый, который чуть времени назад был зачален за столб на берегу.

На землечерпалке ни единого признака жизни. С того времени, как Дик умчался по дороге на Гилдси, забросив за спину мешок, прошло больше часа. Три большие морские чайки уселись на неподвижном подъемнике. Не тратя времени даром, отец набирает полную грудь воздуха, прикладывает ладони ко рту и издает тот же крик, что звучал из окна моей спальни. «Ди-и-и-и-ик!» На сей раз добротный и вполне профессиональный крик человека, привыкшего окликать лихтеры на затянутом туманом Лиме, и ясное дело, что в тихий ленивый летний вечер не услышать его даже и на том берегу никак нельзя. Но Дик не выходит. Крик резонирует, как будто в

большой пустой комнате.

Он кричит опять, немного выждав, как будто заранее, на крайний случай, расписал между криками десятисекундные интервалы. Чаячье трио, не отрываясь от подъемника, небрежно расправляет крылья; потом вдруг с клекотом срывается в полет. И тут мы его замечаем. То есть мы видим некую фигуру — и это Дик, ошибки быть не может, — которая воздвигается из корабельных недр и плетется, как разбуженный от зимней спячки, но не успевший продрать глаза зверь, к ближайшему поручню.

Лица мы не видим, как и выражения лица (у Дика — выражение лица?). Но гадать о том, почему его заносит на ходу и почему так странно шатается у него на плечах голова, когда он смотрит на нас через реку, не приходится. Он подносит ко рту предмет, который может быть только бутылкой, и делает — напоказ — смачный затяжной глоток.

«Ди-ик! Ди-ик — бога ради, мальчик мой, вернись!»

Но Дик следует иным, воистину отеческим указаниям. В случае крайней необходимости…

Он швыряет пустую бутылку через плечо и ныряет обратно в корабельное нутро, словно бы для

того, чтобы вынуть из укромного местечка еще одну. Чайки падают вниз, закладывают вираж и возвращаются на свой нашест. Землечерпалка, плавучее дерьмо, задравши в нерабочую позицию подъемник, дарит нас кособокой, ржавые зубы наружу, ухмылкой.

Отец поворачивается ко мне. «Твоя очередь».

Он стоит, переводя дыхание, и глядит на мои собственные упражнения в глоткодерстве с видом сержанта-инструктора, который оценивает способности новобранца.

Мои вопли (ты слышал их, Дик?) тают в воздухе.

«Никакого толку. Давай обратно на переправу. Возьмем лодку и сами за ним съездим».

Мы подбираем велосипеды. Садимся и едем вдоль берега, на сей раз Уза слева.

На Стейтовой переправе переправа давно уже не действует. Новый трехопорный мост, выстроенный в середине тридцатых к северу от деревни, оставил от прежнего, столетиями проверенного способа перебраться на тот берег одни воспоминания. Остались несколько домишек, судоремонтная мастерская, пристань и, бок о бок со старым паромным причалом, бревенчато-кирпичная « Переправа-Инн».

Засыпанный окалиной дворик «Переправы» почти пуст, но время самое то, и припаркованный под залихватским углом серый «форд» с закрытым кузовом и парой американских пилоток на заднем сиденье есть явственный симптом присутствия буйной банды наших американских союзников. Мы оставляем велосипеды у выбеленной стены Инна — где на эмалированной, в пятнах ржавчины табличке все еще можно разобрать призрачные цены на перевоз — и идем к двери в бар. Но едва мы трогаемся с места, откуда ни возьмись, обваливается страшный грохот, растирая в порошок вечернюю ленивую тишь, и мы застываем на месте.

Сверху по течению несется гвалт и скрежет, как будто раз за разом рвет, выворачивает наизнанку неведомого механического монстра. А потом из этого хаоса, под аккомпанемент разнообразных пронзительно-сиплых звуков, вырастает настойчивый ритмичный лязг: чунг-ха-чунг-ха-чунг-ха! Завелась землечерпалка. Дик запустил землечерпалку.

Пару секунд мы стоим во дворике, под вросшей в стену вывеской заведения, будто приморожденные тем, что услышали. И снова, с удвоенным рвением, поворачиваем к двери. Но открывать

ее нам нужды нет. Потому что — кто в сей же самый момент вываливается нам навстречу, преследуемый по пятам двумя стриженными под ежик и одетыми в летнюю парадно-выходную (короткий рукав) бойцами ВВС США, как не Стэн Бут, капитан «Розы II», с туманом во взоре и с перегаром в выхлопе.

Он пялится сквозь нас — на источник звука, который сумел привести в действие даже его набрякшие кабацким виски чувства, — и только после того, как увиденное им за нашими спинами совпадает с услышанным (подъемник опущен и вертится; над земле черпалкой рассасываются в воздухе облачка маслянистого дыма), он замечает нас, как две прорехи на пейзаже.

«Какого?..»

Но — погодите минутку — разве он раньше не встречал этого человека? Это ведь Хенри Крик, так? Тот, который от лица сына… Искра понимания в тандеме с легкой рябью облегчения пробегают по лицу капитана землечерпалки.

«Мистер Крик, я знаю, что ваш парень слегка… — (там, где должно быть ключевое слово, он постукивает себя толстым пальцем по виску), — но он, что, воскресенья от будней отличить не в состоянии?»

Он осекается на полуслове, внезапно утратив уверенность, и оглядывается на собравшуюся компанию.

«С'одня ж воскресенье, так?»

Мы соглашаемся. Спору нет, сегодня воскресенье.

«И эт' он там на борту, так?»

Есть в выражении наших лиц нечто такое, отчего его собственное никак не может расплыться в безмятежности.

Мы снова соглашаемся.

«Так какого же?..»

На пороге «Переправы» (лицензией на содержание обладает, как гласит надпись на дверной перемычке, Дж. М. Тодд) отец пытается совладать с неподъемной задачей — объяснить, что к чему. Пытается. Сдается. Гримасничая и заикаясь, выталкивает вперед меня (отдавая тем самым должное моей школярской изобретательности, умению доходчиво прикинуть хвост к носу).

«Объясни ему, Том, объясни ты ему ради бога».

Я открываю рот. Пробегаю про себя дюжину возможных отправных точек; я предвижу замешательство и неверие; я осознаю полную невозможность втиснуть в несколько фраз действительные причины того, почему мой брат

(мой — чей?) оказался августовским вечером на борту «Розы II». Я останавливаюсь на самом кратком варианте лжи.

«У него чердак съехал».

(Прости меня, Дик.)

«Съехал чердак. Надрался, на мотоцикл, и сюда. Мы и п-понятия не имеем — (ага, наконец-то хоть слово правды), что он там может натворить».

Стэн Бут темнеет лицом, хмурится. За его спиной пара чистеньких мальчиков из ВВС США задумалась, судя по всему, над странной английской фразой насчет чердака.

Тем временем, со мной бок о бок, отец бьется в едва заметных миру, но оттого не менее страшных конвульсиях. Оказавшись вдруг лицом к лицу с этим моим заявлением — с одной стороны, конечно, чудо находчивости, а с другой — еще одна попытка уклониться, уйти в сторону, точь-в-точь его собственная неспособность, чуть дело доходит до дела (зыбкие прогулки по бечевнику) сказать хоть единое слово, и он не выдерживает. Туго натянутые покровы молчания и скрытности ползут по швам. Его прорвало. (И тут же рвется — и не получится ее наладить, починить, пока Том Крик не женится на Мэри Меткаф, — гармония между отцом и сыном.)

Только что не упав на окалину, на колени, во прах и пепел покаяния, под похожей на виселицу вывеской инна, он лепечет:

«И это он убил Фредди Парра. Ну, того Фредди Парра, который утоп. Убил его. Совершил убийство. И он мне не сын. То есть он мой сын. То есть. О Господи! О Господи-Иисусе-Христе, помоги мне!»

На глазах у него слезы. От залетевшего невесть откуда сквознячка единократно скрипит вывеска и встает дыбом прядка отцовских волос.

Стэн Бут медленно переводит дыхание. На лицах у летунов (которых, как выяснится позже, зовут Нэт и Джо) оторопелость; они, похоже, перелистывают про себя соответствующие страницы в инструкции для американских военнослужащих, где рекомендовано не забывать, что жители сельских районов Англии — народ сдержанный и невозмутимый.

Никто не бежит звать полицию. Никто ему не верит. Истина — штука куда более сложная, чем…

На ветровом стекле стоящего рядом «форда» маленькая круглая эмблема. Кроваво-красный силуэт гигантского кактуса на оранжевом фоне. И бирюзовая надпись: «Аризона: Королева Пу-

стыни».

Учуяв явственный душок скандала, во двор высыпают все прочие, кто только был в «Переправе». Хозяин, в зубах непременная трубка — Дж. М. Тодд собственной персоной. Два сморщенных аборигена, по виду завсегдатаи.

И все то время, пока эта живая картина собирается воедино, землечерпалка бьет, что твой набат. Звук, с которым обитатели Стейтовой переправы должны были настолько сродниться в будние дни, что и внимания-то на него не обращают — звук-гарантия, звук-подтверждение: мол, все идет как надо, Узу чистят, всегда чистили и всегда будут чистить, — раздается в воскресенье, когда его быть не должно. Отсюда вывод: не все идет как надо.

Стэн Бут открывает рот.

«Твою-то мать. Твою-то в бога душу мать! Ладно, сейчас возьмем лодку и съездим».

Общее перемещение на пристань. Маленькая, на два весла плоскодонка приплясывает на высокой воде, будто нарочно нас здесь дожидалась. Стэн Бут, разводящий, первым делом достает из кармана рубашки пачку сигарет и прикуривает «Кэмел»: спасибо летунам Джо и Нэту. Он выпускает дым, оглядывает набухшую приливом реку,

взвешивая, должно быть, про себя вероятные перспективы — во-первых, скрытый маньяк, того и гляди, пустит ко дну его судно, во-вторых, ему светит из-за какой-то идиотской семейной распри потерять лучшего за всю его жизнь помощника — и отдает приказ об отплытии. Отец хочет сесть на весла. Стэн Бут оделяет его странным жалостливым взглядом и отправляет на корму. Я в курсе дела, так что меня сажают рядом с отцом. Американцы требуют, чтобы их включили в состав экспедиции — чего ни один находящийся в здравом уме и трезвой памяти лодочник ни за что бы не сделал, учитывая все сопутствующие обстоятельства и размеры плоскодонки. Стэн Бут отказывает, потом уступает. И только по сумме факторов, включающих его собственное не то чтобы трезвое состояние, благоприятную фазу прилива (вода течет в нужную сторону), назойливость летчиков («Может вам, это, помощь понадобится, если ваш парень, он того, буйный»), и — наверное, с этого стоило бы начать — скрытую взятку, то бишь нежелание расстаться с будущими подношениями в виде пачек «Кэмела» и стопочек дармового виски, от причала в итоге отваливает лодка, рассчитанная на троих, а на борту у нее пять человек.

Прежде чем сесть в лодку, один из летунов бежит обратно к припаркованному «форду». И возвращается с полевым биноклем. Черный бакелит. На вооружении ВВС США. «Хей, парни, а вдруг пригодится». Он вешает бинокль на шею, на кожаном ремешке, и становится похож на вооружившегося фотокамерой туриста перед экскурсией по бухте. Забравшись в лодку, он улыбается нам с отцом — на все тридцать два — и делает ручкой. «Привет, я Нэт Таккер, а это Джо Шульберг. Мы из Таксона. Таксон, Аризона». Он тоже вынимает пачку «Кэмела». Стэн Бут плюет в ладони. Отец отдает фалинь. Мы отчаливаем.

Это совсем не похоже на старый маленький Лим. Это похоже на море. Это Большая Уза, и она впадает в Уош. Которая сливалась когда-то с Рейном. У нее солоноватая, без привкуса стоячей воды отдушка. Из маленькой выгребающей на фарватер лодки ее берега кажутся далекими, как миниатюрные прибрежья чужих стран.

Мы правим на землечерпалку, подгоняемые в равной степени энергией прилива и усердными гребками Стэна Бута. Солнечный свет, сочившийся весь день сквозь дымку легких летних облаков, начинает понемногу меркнуть. Хотя напрягать зрение пока не приходится. Потому что

— спросите у любого лодочника — свет дольше всего держится у воды. И тени на суше набухают гораздо быстрей. Да и смотреть нам особо не на что: надвигается темная масса землечерпалки (из маленькой лодки она выглядит еще более громоздкой и уродливой, чем с твердой земли), уменьшаются в размерах оставшиеся за спиной «Переправа» и проезжий мост; по обе стороны пустые и загадочные бастионы берегов, обрезающие горизонт так, словно пытаются скрыть общеизвестную тайну: что за ними ничего нет.

Мир низинный и текучий, мир на грани развоплощения. Такой непохожий (даже и в такой момент, блуждающий огонек любопытства…) на дикие сьерры, ковбойские утесы и каньоны Аризоны…

Летун с биноклем (Нэт? Джо?) наставляет окуляры на землечерпалку.

«В'ще ничего не вижу». Мордашка свежая и весьма довольная собой.

Он перехватывает мой взгляд.

«Эй, пацан, хочешь глянуть?»

Он протягивает бинокль поверх ритмично вздымающейся спины Стэна Бута, как будто предлагает извечную американскую жвачку-шоколадку. Ухмылки. «Давай». Как будто я

какой-нибудь пучеглазый абориген, в жизни не видавший подобного чуда техники прекрасного нового мира.

Пройдет два года, и я тоже надену форму.

Стэн Бут говорит: «Да сядь ты!» И налегает на весла.

Поверх ритмического грохота землечерпалки — «поверх» в буквальном смысле слова, ибо приходит он с затянутого облаками неба, — раздается иной звук, ревущий, гулкий, агрессивный и слишком хорошо знакомый — или слишком далекий от здесь и сейчас, — чтобы заставить отца, или меня, или потеющего на веслах Стэна Бута поднять глаза. И только летчики, по своей собственной воле, но теперь уже безо всякой надежды повернуть назад (до землечерпалки осталось не так уж далеко), ввязавшиеся в приключение на водах, считают своим долгом выказать причастность к делам большого мира и засвидетельствовать верность, и без того представленную летной формой, небесам.

«О, наши пошли!» (Джо? Нэт?)

«Ййи-хуу! Поджарьте их как следует, ребята!» (Второй.)

Погодные условия благоприятные, несмотря на низкую облачность над северо-восточным

побережьем. Должно быть, с континента проталкивается к нам антициклон, уже расчистив небо над Германией. Прежде чем ночь сойдет на нет, звезды.

Кроме того, эта война не замирает по воскресеньям. Не дает отгула, чтобы сходить в церковь или набраться сил на свежем воздухе (или даже по поводу единичного и вполне заурядного дела об убийстве). Никаких выходных для жителей Гамбурга и Берлина, которых в ознаменование дня Господа нашего как следует поджарят.

Они с ревом проносятся мимо, скрытые стыдливой ширмой облаков. И опять вступает мерный лязг землечерпалки. Чунг-ха-чунг-ха! Только теперь он звучит громче, потому что мы совсем рядом — осталось меньше ста ярдов.

А вместе со звуком приходит и запах. Пахнет чем-то извлеченным из первородных глубин. Тот же запах, что у Дика в спальне.

Он здесь. Он знает свое место. Он знает, на что годен. Он следит, чтобы подъемник шел и чтоб ковши выходили полными. Грохот пенящего воду механизма заглушает мимолетный — на воздусях — гул всемирной схватки. Он не видит бомбардировщиков, он не слышит бомбардировщиков. И запах ила — это запах святилища, запах

беспамятства. Он здесь, он сейчас. Не там, не тогда. Ни прошлого, ни будущего. Он помощником на «Розе II».

И он — Спаситель Мира…

Пятьдесят, сорок ярдов. Вода кипит, клокочет. Под днищем «Розы II» гигантское рыло подъемника впивается, вгрызается вращающейся челюстью ковшей в мягкое и беззащитное речное дно. Тридцать ярдов. Отец не в силах удержаться от очередного вопля. Он опять прикладывает сложенные рупором руки ко рту и кричит, пытаясь перекрыть лязг ковшей. «Дик, мы уже едем! Мы едем — чтобы забрать тебя домой, Дик! Домой!» Двадцать ярдов. «Дик, мы…»

И тут.

Тут.

Но разве память в силах удержать — в простоте и ясности — те, самые последние мгновения. Память даже не в силах дать гарантии, что все увиденное в тот момент не предстало предо мной на мгновение раньше, чем оно произошло на самом деле, как если бы я все это уже где-то видел — память о том, чего еще не было. Голова и плечи Дика (потому что мы теперь совсем рядом с бортом, и приходится задирать головы, чтоб посмотреть на палубу) появляются над поруч-

нями землечерпалки примерно футах в трех от равномерно блюющего илом отводного желоба. В ту же самую секунду я четко вижу то, что предстает его глазам: перегруженная плоскодонка, три знакомых лица и две невесть откуда взявшиеся (невесть откуда?) фигуры в форме. В форме. Он пробегает мимо вероятной точки соприкосновения лодки с бортом корабля, вниз по течению, за грязе-наливную баржу, так что мы промахиваемся, пропустив его на траверзе. Сквозь грохот доносится характерный звон стекла о металл.

Кто же крикнул первый, Нэт или Джо? «Эй, приятель, не суетись!» Или Стэн Бут (вывернув голову через плечо): «Дик! Дик, твою мать! Да выруби ты этот чертов подъемник!» Или это был отец, и он опередил их всех, крикнув (к вящему удивлению наших американских гостей, не говоря уже о Стэне Буте): «Дик, все в порядке! Дик! Я буду твоим отцом…»

Правда ли (но разве я могу быть уверен, надвигались сумерки, и лодку качало, и далеко), что его ресницы были абсолютно неподвижны и что его взгляд, ясный и острый, в какой-то момент оставил нас и погрузился в созерцание кипящей, взбаламученной, подернутой от вибрации корпуса мелкой рябью поверхности Узы? Что было

сначала: он двинулся или я крикнул? И — на самом ли деле я крикнул, или нужные слова только лишь звякнули у меня в голове (чтоб отдаваться эхом всю оставшуюся жизнь)?

«Дик — не делай этого!» …

Но все мы видели, и все согласились — пьяные в дым или трезвые — в том, что было дальше.

Он поворачивается. Он бежит на бак, на самый нос «Розы» (каковой, в отличие от множества других корабельных носов, лишен остроты и изящества линий и не создан для того, чтоб разрезать и распугивать волны; он вздернут, закруглен и зазубрен, и он увенчан дерриком — чтобы натягивать тросы подъемника). Дик взбирается на поручни; встает, босой, на обе ноги, даже на долю секунды не оперевшись о ближайшую опору деррика. Выпрямляется в полный рост.

Несколько мгновений он стоит, он пробует опору, он медлит, покачиваясь на месте, на тусклом фоне западного горизонта. А потом совершает прыжок. По высокой, долгой, захватывающей дух дуге. Достаточно высокой и долгой, чтобы свести на нет возникшую впоследствии теорию, что будто бы он запутался не то в якорной цепи, не то в тросах; достаточно долгой и захватывающей дух, чтобы мы успели увидеть, как его тело, скользя

сквозь воздух, превращается в единый, упругий и вроде как лишенный человеческих членов континуум, и, случись меж нами эксперт по прыжкам в воду, он подтвердил бы: вот где природный талант, вот уж, воистину, человек-рыба.

И пробивает поверхность воды, почти без всплеска.

Пропал. Стэн Бут табанит, разворачивая лодку. Мы смотрим, мы ждем, когда же над водой покажется голова. Мы смотрим и потихоньку перестаем верить своим глазам. Смотрим и дрейфуем по течению (ага, начинается отлив, и Уза потекла); следуя вдоль воображаемой линии, идущей от носа «Розы II».

Кричим в водянистую мглу (даже летуны из дальней Аризоны выдают вдруг длинную серию до странности обеспокоенных «Дик!»-ов, как будто потеряли старого приятеля). Кричим; опять кричим. Кричим все, за исключением шестнадцатилетнего мальчика, который, скорчившись рядом с отцом на корме плоскодонки, впадает вдруг в непроницаемое молчание. Потому что знает (хоть и не скажет; никогда не скажет; эту тайну они вдвоем с Мэри сохранят навсегда): не будет никакой головы. Не будет ответного, захлебывающегося, помогите-крика. Он уже в

пути. Повинуясь инстинкту. Возвращения. Уза течет в море. Отец отбирает весла у вымотанного Стэна Бута. Землечерпалка, оставшись без экипажа, по-прежнему черпает землю. Мы рыщем, мы прочесываем воду (позже, на заре, пустые берега, осклизлые опоры проезжего моста). Мы выгребаем против течения, причаливаем к «Розе» и забираемся на борт. Нас не встречает на палубе мокрый, дрожащий Дик (наша последняя, призрачная надежда), который всех нас обманул и, проплыв кругом судна, взобрался по другому борту. Стэн Бут вырубает наконец мотор подъемника. Внезапная, капающая по каплям тишина ударяет, как гонг. «Может, кто-нибудь мне все-таки объяснит». Мы спотыкаемся о пустые бутылки. Вглядываемся в никуда. Прядки тумана. Мутная зыбкость. Сгущается мгла, самое время для блуждающих огоньков, и в этой мгле, на берегу, стоит покинутый, но всегда-начеку мотоцикл.